АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1984

СОДЕРЖАНИЕ

Информационное сообщение о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза I
Речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко III
Речь члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР товарища Н. А. Тихонова X
Выступление члена Политбюро ЦК КПСС, Секретаря ЦК КПСС товарища М. С. Горбачева XII
Константин Устинович Черненко XIII
Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР к Коммунистической партии, к советскому народу XV

Алексеев М. П. Русский язык в мировом культурном обиходе . . . 3
Трубачев О. Н. (Москва). Языкознание и этногенез славян 15
Солнцев В. М. (Москва). Вариативность как общее свойство языковой системы 31

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Шанидзе А. Г. (Тбилиси). Грамматические заметки 43
Гаджиева Н. З. (Москва). Проблемы ареальной лингвистики (на материале языков народов СССР) 47
Цветков Н. В. (Москва). К методологии компонентного анализа . . . 61
Агрикола Э. (Лейпциг). Микро-, медио- и макроструктуры как содержательная основа словаря 72
Откупщиков Ю. В. (Ленинград). Закон Лахмана в свете индоевропейских данных. 83

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Лаптева О. А. (Москва). Типология вариативных синтаксических рядов в аспекте функционирования литературного языка 91
Абдуллаев А. А. (Махачкала). Развитие лакско-русского двуязычия 103
Никулеску Р. И. (Бухарест). От безвидового языка к видовому . . . 115
Черныше ва М. И. (Москва). Эквиваленты, заимствования и кальки в первых славяно-русских переводах с греческого языка 122

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Михайловская Н. Г. (Москва). *Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В.* Функциональные типы русской речи 130
Бородина М. А. (Ленинград), Рахматулаева Т. Г. (Орджоникидзе). *Walter H.* Enquête phonologique et variétés régionales du français 132
Нерознак В. П. (Москва). *Цыхун Г. А.* Типологические проблемы балканославянского языкового ареала 134
Зекох У. С. (Майкоп). *Кумахов М. А.* Сравнительно-историческая фонетика адыгских (черкесских) языков 137

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки. 141

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. И. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1984 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

АЛЕКСЕЕВ М. П.

РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ ОБИХОДЕ[1]

Печатается по рукописи, сохранившейся в архиве М. П. Алексеева, датируемой 1953 г. Эта тема занимала М. П. Алексеева на протяжении 30 лет. Впервые М. П. Алексеев прочитал этот доклад на заседании Отделения литературы и языка АН СССР 20 октября 1953 г. Затем 25 ноября 1957 г. на научной сессии в Ленинградском государственном университете, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции, он прочитал доклад «Русский язык в мировом культурном обиходе после Великой Октябрьской социалистической революции». 6 мая 1966 г. М. П. Алексеев посвятил свою лекцию на философском факультете в г. Нови Сад (Югославия) теме «Русский язык в мировом культурном обиходе». Наконец, в более широком плане, 22 июня 1971 г. состоялся доклад М. П. Алексеева под названием «Русский язык в мировом культурном обиходе между XI и XX веками» на первом заседании Международного симпозиума (см. брошюру: «Международный симпозиум. Страноведение и преподавание русского языка как иностранного: Тезисы докладов и выступлений». М., 1971, с. 6—7). Настоящая работа не была своевременно напечатана потому, что М. П. Алексеев предполагал написать большую книгу на эту тему. Об этом свидетельствует автограф черновой записи на отдельном листке: «Русский язык в мировом культурном обиходе на протяжении веков. Книга представляет собой первую попытку объединить данные о знакомстве с русским языком за рубежом, по преимуществу в странах Западной Европы между XI—XX веками...» В архиве М. П. Алексеева сохранились пять больших папок с материалами и заготовками для осуществления этой книги (наброски отдельных глав, выписки, заметки, библиографические справки).

Алексеева Н. В.

1

Положение о том, что отдельные языки в известные периоды своей истории могут получать распространение за пределами своей родины, захватывая территории новых народностей или новых культурных зон, что они могут усваиваться здесь более или менее широкими слоями населения, говорящими на другом языке, на то или иное время, находить ценителей и знатоков, выполнять здесь самые разнообразные функции,— иллюстрируется в языкознании огромным количеством работ, освещающих историю усвоения ряда языков мирового значения в различных уголках земного шара. Достаточно напомнить весьма многочисленные исследования, посвященные истории распространения в пространстве и времени языков французского, английского, испанского, итальянского и др., не говоря уже о языках античного мира или некоторых восточных (например, арабского).

Хотя в применении к истории некоторых из упомянутых языков довольно хорошо изучены различные и многообразные факторы, способствовавшие их распространению в чужеземной национальной или государственной среде, установлены пути их распространения и условия, при которых оно происходило, но совокупность этих факторов столь сложна, эти пути столь различны, эти условия столь непохожи друг на друга, что выяснение некоторых о б щ и х з а к о н о м е р н о с т е й процесса распространения любого языка в чужой для него среде наталкивается на особые трудности и нелегко поддается строго научной формулировке. Это общее наблюдение справедливо и для тех случаев, когда речь идет, например, о наиболее хорошо изученных процессах международного распространения сравнительно узкого круга важнейших запад-

[1] Настоящую статью подготовила к печати и предоставила нашему журналу жена академика М. П. Алексеева — Нина Владимировна Алексеева (*Ред.*).

ноевропейских языков, т. е. о тех случаях, когда распространяющиеся языки не представляли собою чего-либо совсем нового или необычного в усваивавшей их языковой среде. В самом деле, какие факторы способствовали такому распространению в особо сильной степени, являлись важнейшими, основными, решающими? Заложены ли они в некоторых свойствах самого языка или, наоборот, их следует искать прежде всего в особенностях той среды, которая их усваивала? Зарубежная лингвистика во всяком случае оставляет эти вопросы совершенно неясными или решает их произвольно и противоречиво.

В своих попытках объяснить, что именно обеспечивало рост влияния или международной популярности того или иного языка, зарубежная лингвистика нередко прибегала (да зачастую делает это и поныне) к очень условному понятию о «ценности» того или иного языка, понятию, в котором чаще всего немалую роль играют столь же произвольно определяемые «эстетические свойства» данного языка. Последнее, т. е. «эстетическая ценность» какого-либо языка, представляет собой, как известно, весьма относительную и трудно уловимую категорию, ощутительно меняющую свои очертания в зависимости от изменений воспринимающей данный язык среды. «Чужой» язык для всех говорящих на другом языке всегда является более или менее «странным» и потому более или менее непривлекательным, как всякое непривычное явление, недостаточно еще усвоенное сознанием. Поэтому и в XIX в., да и в XX в. были еще возможны и нередко наблюдались случаи субъективно-отрицательного отношения к отдельным языкам, внушенного то шовинистической настроенностью, то заложенными еще глубже неуменьем отказаться от обычных речевых навыков или полной к этому неспособностью. Даже широкое развитие языкознания в XIX в. не сумело обеспечить в полной мере во всех странах Западной Европы спокойного, делового, разумного отношения к иноязычию, способности отдать должное действительной ценности тех или иных «чужих» языков, стать на точку зрения иного речевого сознания и опыта. Эмоциональное же восприятие языка как системы определенных звукосочетаний всегда отличалось крайней субъективностью.

«Эстетическая ценность» какого угодно языка, иначе говоря — сумма вызываемых им эстетических эмоций, едва ли может иметь сколько-нибудь существенное значение при в о з н и к н о в е н и и более или менее широкого интереса к данному языку в иноязычной среде и в особенности как его основание, первопричина. Немыслимо представить себе такую языковую среду или такое историческое положение, при которых интерес к усвоению иностранного языка в ы з ы в а л с я бы его «музыкальностью», своеобразием его фонетической системы, присущим ему ритмом или какими-либо иными качествами. Случаи своего рода эстетического пленения, художественной заинтересованности тем или иным иностранным языком были, разумеется, возможны, и такая заинтересованность могла сопутствовать их усвоению (вспомним хотя бы судьбу итальянского языка как языка вокальной музыкальной культуры), но она никогда не являлась первоначальной причиной или поводом ни для изучения, ни тем более для массового распространения данных языков. Подтверждающие данное положение примеры в изобилии могут дать истории увлечения итальянским языком во Франции, Испании или в Англии в XVI в., испанским — во Франции в первой половине XVII в., французским — в Германии XVIII в. и т. д. Суждение об «эстетической» ценности какого-либо языка как о мериле, определяющем его потенциальные возможности распространяться или усваиваться на чужих территориях, до тех пор будут вполне субъективными и произвольными, пока они не станут областью специального научного лингвистико-психологического эксперимента. До того времени они всегда будут напоминать известное рассуждение В. Гюго о французском языке, включенное в его книгу «Постскриптум моей жизни», могущее служить образцом необязательности и крайней субъективности такого рода эстетических оценок: «Солнце производит гласные, точно так же, как оно производит цветы; север изобилует согласными, как льдинами и скалами,— писал В. Гюго.— Равно-

весие между согласными и гласными устанавливается в языках промежуточных, порожденных умеренным климатом. Северный язык (немецкий) не мог бы сделаться всеобщим: в нем очень много согласных, которых не разжевать мягким ртом южан. Южный язык (итальянский) также не привился бы ко всем нациям; его многочисленные гласные, едва выдерживаемые внутри слов, проглатывались бы в грубом произношении северян. Французский же язык, опираясь на согласные и не будучи чрезмерно смягчен гласными, создан так, что он может приспособиться ко всякому человеческому органу речи» [V. Hugo. Post-scriptum de ma vie (1863—64); русск. изд. «Post-scriptum моей жизни», СПб., 1902]. Относительно последнего утверждения В. Гюго следует иметь в виду, что очень многие немцы или англичане в XIX в. придерживались совершенно иных точек зрения. Достаточно напомнить здесь не менее известный отзыв о французском языке немецкого современника В. Гюго — Шопенгауэра. По мнению Шопенгауэра,— столь же, разумеется, произвольному,— французский язык, «с его отвратительными конечными слогами и носовыми звуками является самым убогим романским жаргоном, ужаснейшим увечьем латинских слов, самым жалким языком» (Parerga und Paralipomena, Bd. II). Естественно, что с такой точки зрения именно французский язык не приспособлен был к сколько-нибудь широкому распространению. Но и В. Гюго мог знать, что, вопреки присущей французскому языку, по его представлениям,— «гармонии» гласных и согласных, этот язык мог быть вытеснен, например, в Египте или Канаде — английским, который, с точки зрения того же Гюго, вовсе не обладал «гармонией» установленного им рода. Очевидно, распространение языков на чужих территориях не в сильной степени определяется их благозвучием или способностями вызывать эстетические эмоции. Очевидно также, что некоторые французские писатели, выяснявшие причины «универсальности» французского языка задолго до Гюго, в XVIII в. (например, Ривароль), стояли на более трезвых позициях, чем Гюго или те современные нам зарубежные лингвисты, которые кладут в основу своих рассуждений о распространенности тех или иных языков (например, английского) — субъективно-идеалистическое их восприятие, основанное на необязательных эстетических предпосылках.

Следует, правда, иметь в виду, что зарубежное языкознание вовсе не в обязательном порядке прибегает к понятию эстетической ценности языка, выясняя причины, вызвавшие распространение того или иного языка или могущие обеспечить его в дальнейшем; рассуждения этого рода в бóльшей степени являются уделом поэтов или же расчетливых политиков, прикрывающих представлениями об «очевидной» красоте языка далеко не привлекательные, а иногда и сугубо корыстные цели. В западноевропейской лингвистике представление об эстетической ценности языка нередко входит как часть в более общее понятие «исторически сложившейся ценности» языка, допускающее, в свою очередь, очень зыбкие и неотчетливые истолкования, в особенности применительно к интересующей нас цели.

Если, например, в такое понятие вкладывать один из составляющих его признаков, придавая ему значение господствующего,— например, представление о простоте грамматической структуры того или иного языка, или о его лексическом богатстве, или, например, о разработанности и устойчивости его стилистических применений и т. д., то это также мало что объяснит нам в процессе, который привел данный язык на том или ином этапе его истории к более широкой, международной распространенности. Можем ли мы утверждать, что в числе наиболее «культурных» языков, т. е. достигших высокой степени своего развития, с наибольшей легкостью за пределами своих естественных границ распространяются те из них, которые отличаются наибольшим богатством своего словаря или простотой своих грамматических правил? Едва ли. Английский язык, например, за пределами своей родины, на большей части завоеванных им территорий, прокладывал себе дорогу огнем и мечом, и его экспансия в бóльшей мере является следствием военно-колониальных пред-

приятий английской государственности, чем пресловутая простота его грамматики. С другой стороны, относительная «трудность» грамматического строя французского языка не препятствовала его широкому распространению далеко за пределами романского мира, а язык немецкий долго удерживал за собой важные в международном смысле места как язык научной литературы по преимуществу, вопреки специфическим трудностям своего словообразования или синтаксиса. Дело, таким образом, очевидно заключается не только в тех или иных действительно исторически сложившихся особенностях того или иного языка, а в чем-то другом. Отсюда, между прочим, следует, что всякая попытка искусственного упрощения языка в целях популяризации его усвоения, искусственного уродования языка ради придания ему своего рода «центробежных» сил, заранее обречена на неудачу. Больше того, действительные или мнимые преимущества строя того или иного языка, взятые сами по себе, в отвлечении от факторов исторического порядка, никогда не могут служить обоснованием ни возможностей его распространения, ни его притязаний на это. Можно считать вполне установленным, что относительная легкость усвоения языка той же семьи или группы также никогда не служила п е р в о п р и ч и н о й, ближайшим поводом для его распространения в родственной ему языковой зоне. Близость отдельных языков друг другу, наоборот, нередко служила причиной их вражды или соперничества. Родство славянских языков, например, могло в одних исторических условиях обеспечивать легкость их усвоения и взаимное их распространение и, в других условиях,— обеспечивать полное к ним равнодушие или даже стремление к максимальному обособлению. Справедливо, по-видимому, и обратное положение, по которому полное несходство языков разных систем никогда не могло служить причиной, останавливающей распространение того или иного языка в пределах вовсе чуждой ему речи. Для в о з м о ж н о с т е й распространения какого-либо языка в пространственном отношении поистине не может быть тех или иных границ, безразлично, понимаются ли они в территориальном, государственном, политическом или национальном смыслах. Что же касается необходимых у с л о в и й, способствующих такому распространению, то следует сказать, что особо действенное значение имеют здесь факторы п р и н у ж д е н и я или д о б р о в о л ь н о с т и, которые, однако, нельзя понимать в абстрактном социально-этическом смысле, так как они прежде всего обусловлены исторически.

Понятие «исторически сложившаяся ценность языка» есть прежде всего понятие историческое, которое нельзя отрывать от развития общества, от истории народа,— творца и носителя этого языка. Выясняя причины, вызвавшие или содействовавшие распространенности тех или иных языков, мы также, естественно, не можем рассматривать их в отрыве от истории тех народов, которые являются создателями этих языков, или вне истории тех общественных образований, в которых они получили свое распространение.

Одним из решающих факторов, обеспечивших тому или иному языку широкую распространенность, было не то, что он имел те или иные преимущества перед другими, — звуковые или грамматические, — а то, что он являлся орудием мысли и передовой культуры. Только те языки достигли в свое время действительно мирового значения и получили универсальную распространенность, которые могли служить и служили рупором передовой культуры, инструментом, с помощью которого изучавшие его или владевшие им люди приобщались к этой культуре, черпали из ее духовных богатств. Итальянский язык потому и получил столь широкую распространенность за пределами Италии в XV—XVI вв., что он был орудием передовой в то время гуманистической культуры и художественной мысли, для которой рамки возрожденного прежде всего в той стране латинского языка оказались слишком стеснительными. Французский язык получил популярность во всех странах Европы в XVIII в. вовсе не потому, что он был языком великосветских салонов, а прежде всего потому, что это был язык передовой в то время просветительской культу-

ры, подготовившей революцию 1789 года. Золотая пора относительно короткой популярности испанского языка в других странах Европы пришлась не на ту пору истории Испании, когда она завоевывала новые территории в разных странах мира, а на ту, когда поставленная в центре мировой жизни испанская культура сама могла сказать новое слово. И неудивительно, что популярность испанской речи стала очевидной в то время (в конце XVI и первой половине XVII в.), когда испанские печатники, экспортировавшие произведения испанской художественной литературы и отчасти науки, были известны также на всем протяжении Европы от Италии и до Нидерландов. Языки же, получившие свое распространение по принуждению, силою меча, т. е. становившиеся орудием притеснения, усваивались в силу необходимости, неполно в отношении своего словарного объема и ущербно в отношении своих грамматических правил, вскоре же вырождаясь в некие искусственные и уродливые новообразования, служившие сугубо деловым целям и уже тем самым обреченные на прозябание в самых узких территориальных границах. Примером могут служить многочисленные и своеобразные колониальные диалекты английского языка или тех же французского, испанского, наконец, голландского языков. Такие гибридные новообразования, разумеется, не могли служить орудиями приобщения к соответствующей культуре, да и приравнивавшиеся таким образом языки вовсе не претендовали в данных случаях на такую посредническую роль.

Естественно, что действительная, а не призрачная или воображаемая исторически сложившаяся ценность того или иного языка могла иметь немалое значение в приобретении им популярности за пределами его родины, но лишь при условии действительного, а не принудительного к нему интереса; свое значение в такой заинтересованности могли иметь также и эстетические свойства данного языка (если, например, усвоение его говорящими на другом языке не вступало в полное противоречие с артикуляционными особенностями их привычной речи); язык, так сказать, «некрасивый» с точки зрения большинства говорящих или «неудобный» для усвоения в тех или иных отношениях, никогда и не мог бы получить широкой популярности вообще. Но все это только вторичные явления, сопутствовавшие его восприятию, но не определявшие его. Совершенно очевидно при этом, что язык, получивший широкое распространение, т. е. служивший распространению высокоразвитой и передовой культуры, никогда и не мог быть языком «недоразвившимся», не выработавшим в в себе своих особых преимуществ, не достигшим уровня той культуры, выразителем и орудием которой он служил. Но и распространение свое он мог получить прежде всего в тех странах и в той общественной среде, которые заинтересованы были в восприятии и усвоении этой культуры.

2

Примером, иллюстрирующим убеждение, что международное значение приобретает язык передовой культуры, может служить история распространения русского языка. К сожалению, такая история еще не написана; изучается она еще также недостаточно. Весьма привлекательной и важной задачей было бы рассказать подробную историю постепенного распространения русского языка по всему миру на отдельных этапах его развития, медленного вначале, но постепенно все более убыстрявшегося роста его влияния и популярности в различных странах. Такая история, когда она будет написана, думается, всецело подтвердит, что рост этого влияния был не случайным, а исторически закономерным, что он увеличивался по мере того, как русская культура, культура создавшего его великого русского народа, со всеми отчетливыми признаками своего национального своеобразия приобретала все больше историческое и международное значение, пока, наконец, гигантский исторический сдвиг, именуемый Великой Октябрьской социалистической революцией, имевший поистине мировое значение, не сделал русский язык действительно мировым языком передовой социалистической культуры, изучение которого на всех

концах мира ведется в настоящее время в самых широких масштабах миллионами людей самых различных народностей и, безусловно, будет в дальнейшем еще возрастать.

В узких рамках доклада такая история русского языка, разумеется, не может быть изложена сколько-нибудь подробно. Я могу претендовать, в лучшем случае, лишь на то, чтобы наметить отдельные ее вехи, сообщить некоторые более или менее случайные примеры, из множества других, требующих, однако, своего обособленного и тщательного изучения.

Историю знакомства с русским языком стоило бы начать с древнейшей поры его развития, доступной исследованию, так как не подлежит сомнению, что на заре русской государственности древнерусский язык не жил обособленной, замкнутой жизнью. Он был доступен языковым воздействиям со стороны и сам мог уже тогда оказывать воздействие на языки не только ближайших своих соседей. К сожалению, эти вопросы не принадлежат к числу сколько-нибудь подробно разработанных в языкознании. Попытки указать заимствования из древнерусского языка в языках печенегов, половцев-куманов и других тюркских народностей, с которыми восточные славяне имели взаимоотношения с древнейших времен, были немногочисленны и затруднены тем, что наши сведения об этих языках очень ограниченны [1]. Однако столь же случайными и еще менее бесспорными были попытки определить некоторые возможные заимствования из древнерусского в гораздо лучше известных нам языках средневековья, например, в средне-греческом языке византийцев [2] [2], в языке испанских арабов, в языках различных народностей романо-германского мира. Что такого рода заимствования,— хотя и преимущественно в сравнительно узкой лексической области товарной номенклатуры,— могли иметь место и что древнерусский язык мог иметь некоторое распространение за пределами своей территории в домонгольскую эпоху, подтверждают, с одной стороны, раскрывающиеся все полнее и ярче широкие, оживленные, длительные торговые связи древней Руси с самыми отдаленными центрами средневекового мира, с другой стороны,— письменные свидетельства XI—XIII вв. Напомним, что в «Слове о полку Игореве» говорится о древнем Киеве: «Ту немци и венедици... поют славу Святославлю» и что Иларион в «Слове о законе и благодати», конечно, с полным правом мог писать о князе Владимире, что он «не в неведомой земле владычествоваше, но в русской, яже ведома и слышима всеми концы земли».

Впрочем, языковая обособленность феодального общества как следствие замкнутости хозяйственного уклада создавала неблагоприятные условия для усвоения иноземной речи. Дальность путей, ведших из городов Западной Европы в Киев или Новгород, многие различия в быту, а затем и религиозная рознь — «греческая схизма» — способствовали значительному отчуждению латинского средневековья от крупнейших культурных центров древней Руси. Тем не менее никогда это отчуждение не было полным. Отсутствие достаточных данных о языковых заимствованиях западноевропейскими языками из древнерусского объясняется, в первую очередь, тем, что до нас почти не дошли письменные памятники такого рода, в которых они могли быть обнаружены с наибольшей очевидностью — торговые записи, счетные книги и т. д. Подобные документы более позднего периода XIV—XVI вв. (например, Ганзейского Союза) до нас дошли и содержат в себе как раз большое количество заимствованных слов из русского языка. По аналогии можно заключить, что подобные же заимствования производились и в более раннее время. К подтверждающим это косвенным обстоятельствам мы относим, например, данные, которые можно извлечь из героического и куртуазного эпоса средневековья, как французского, так и немецкого.

Известно, что памятники этого рода не часто упоминают о различиях тех языков, на которых должны были говорить между собой их герои, и обнаруживают невнимание к несходствам речи разных народностей.

[2] «Русские» слова, в частности — формулы приветствия, обнаруженные в записи византийского ученого середины XII в. Иоанна Цеца в его «Теогонии», объяснены еще недостаточно [см. 3, с. 71—72] (со ссылкой на статью Ю. Моравчика [4]).

Поэтому все иноязычные данные в эпических произведениях должны были быть затушеваны, стерты, ассимилированы. И тем не менее, в этих памятниках обнаружены были следы заимствований из славянских языков, в том числе и непосредственно из древнерусского. Как свидетельствуют недавние исследования, французский национальный эпос может служить одним из источников для русской истории [5, с. 95—127]. О Руси в этом эпосе говорится во многих местах, как о богатой и могущественной стране; знает этот эпос даже «угличей» (eugles), упоминаемых и в немецких источниках [5, с. 106]; возможно, что под загадочными bruns, замещающими «россов» (ros) в некоторых рукописях «Песни о Роланде», следует разуметь «бродников», русскую вольницу, упоминаемую в летописи с 1147 г., которая была знакома своими набегами «дунайским паломникам, франко-норманнским наемникам Византии и крестоносцам. Папа Григорий IX в 1227 году посылал, как известно, миссионеров проповедовать in Cumania et Brodnik, terra vicina» [5, с. 106]. «Во французском рыцарском эпосе,— пишет исследователь,— отразились экономические, политические и культурные связи Руси с далеким Западом. В нем, возможно, приоткрывается завеса над участием выходцев из Руси при Анне Русской и ее сыне Филиппе I в феодальной политической жизни Франции и соседней Фландрии и, быть может, отражены боевые соприкосновения руссо-варягов на службе Византии с франко-норманнами в южной Италии» [5, с. 127]. Неудивительно поэтому, что памятники средневекового эпоса сохранили не только племенные названия, имена народностей и общественных образований Восточной Европы. «В средневековый французский язык, главным образом эпический, и в рыцарскую геральдику перешло для обозначения особенно ценившегося соболя, обитателя Восточной Европы, слово *sable*, наряду со словом *zibeline* (более распространенным) также славянского происхождения» [5, с. 100]. В одном из памятников («Антиохия», конец XII — нач. XIII в.) прямо упоминаются «русские соболя» (sables de Roussie), а в «Песне о Роланде» — мантии из собольего меха (mantel sabelin), как упоминаются они, наряду с другими мехами, на другом конце Европы, в скандинавских сагах (safara в «Эдмундовой саге») [5, с. 100]. В одной из поздних рукописей «Песни о Роланде» отмечено было загадочное слово *luissart*, объясняемое, по-видимому, лишь из русского «лиса» [6]; древнерусские парадные корзна — «теплые княжеские мантии с застежками» также фигурируют в средневековых латинских памятниках под именем *crusina*, *crusna* (позднее *selavina*) и в немецких под именем *Kürsen* [5, с. 107].

В документах более позднего времени, в XIV—XV вв., особенно немецких ганзейского периода, торговая номенклатура полна заимствований из русского языка; это относится в первую очередь к названиям мехов. Такие обозначения, как, например, «schevenissen» и «troinissen», долгое время считались немецкими исследователями загадочными [7], пока не было разъяснено, что «schevenissen» — это русское «шевня», связка беличьих шкурок, а «troinissen» — русское же «тройницы» [8, 9], «wimeteken» — русское «выметка», т. е. мех низшего достоинства, «выборки», а «smaschi» и «merlici» русские же «смушки» и «мерлушки» [10, 11][3].

Что все эти названия прочно забывались — естественно и понятно; они имели хождение в узком профессиональном кругу, служили преимущественно коммерческим целям; любопытно, однако, другое — что в тех же самых купеческих корпорациях уже в раннее время отчетливо наметилась тенденция не допустить в западных землях широкого знакомства с русским языком, препятствовать этому, прежде всего, разумеется, в целях монополизации своей торговли с Русью, устранения конкурентов. Еще А. Х. Лерберг указывал на то, что уже в XIII—XIV вв. ганзейцы получили особое право отдавать своих детей в новгородскую область для обучения русскому языку и впоследствии строго следили за тем, чтобы никто кроме них не воспользовался этим правом, «даже под тяжким наказанием запрещая обучать русскому языку всякого, не принадлежавшего к его союзу» [13]. Когда же они заметили, что к такому же изучению

[3] В недавнее время к этому вопросу вернулся М. П. Лесников [12].

стремятся и голландцы, то в 1423 г. ганзейские города поспешили обнародовать специальное постановление, чтобы всяческими средствами препятствовать голландским купцам изучению этого языка [14].

Осуществить это постановление, однако, оказалось ганзейцам не под силу. Знание русского языка не только высоко ценилось, но оно становилось все более необходимым. И мы имеем ряд свидетельств о знакомстве с этим языком, приобретенном вопреки тем преградам, которые пытались было поставить этому купеческие конторы. Среди всех этих свидетельств особняком стоит признание тирольского рыцаря и поэта Освальда фон Волькенштейна (конец XIV в.), который наряду с многими языками романо-германского мира, ставшими ему известными во время многолетних скитаний по Европе и Востоку, знал будто бы также и язык «русский» (reuschisch). Это свидетельство необычно прежде всего потому, что речь идет в данном случае не о присяжном переводчике торговой компании, а об одном из видных немецких поэтов времени заката миннезанга. В многочисленных стихотворениях Освальда, обращенных к Маргарите фон Швангау, действительно попадаются интригующие славянские строки; правда, признать в них наличие слов именно русского происхождения несколько затруднительно [15]. Столетие спустя такой факт — приобретение навыков русской речи лицом, не имевшим прямого отношения к торговой деятельности, показался бы менее исключительным. Но что такие люди находились в Италии, и во Фландрии, и в Испании и, тем более, в немецких землях, не подлежит никакому сомнению. Особенно много появилось их в те столетия, когда под властью Москвы сплачивалось крепкое русское централизованное государство.

Свидетельства о хорошем или удовлетворительном знакомстве с русским языком иностранцев между XV—XVII столетиями становятся столь изобильными, что их было бы здесь трудно перечислить со всей полнотой. В этот период продолжается, притом очень интенсивно, в Новгороде, Пскове, в северных приморских городах, а затем и в Москве, профессиональная подготовка иноземных переводчиков с русского языка, посылаемых туда торговыми фирмами разнообразных государств. Из русских городов они возвращались к себе на родину, хорошо владея навыками не только устной, но и письменной русской речи. Большое количество документальных свидетельств этого рода растягивается, примерно, на три века. Ганзейские документы XIV—XV столетий приводят даже многие имена подобных толмачей, прошедших специальную подготовку; имели их и прусские меченосцы, так как грабительский характер военно-колониальных предприятий тевтонского ордена прямо принуждал их к этому [16] [4].

В 1492 г. в Москву приехал некий Михаил Снупс; в письмах, привезенных им от императора Максимилиана и австрийского эрцгерцога Сигизмунда, объяснялось, что приехал он-де в Московское государство потому, что «разных людей языков», а более всего русского «учитися желает для своей охоты» [18]; остается неизвестным, был ли это благовидный предлог, скрывавший совершенно иные цели, или Снупс действительно обладал лингвистической или вообще научной любознательностью. Один из документов 1516 г. свидетельствует об обучении у нас русскому языку датских «робят» [19]; из других документов, более позднего времени, видно, что эта практика не прекращалась долго: еще в 1592 г. копенгагенский бургомистр отправил шестнадцатилетнего мальчика-датчанина в Колу, к купцу Василию, для изучения русского языка [20, с. 145, 185—186, 201]; датский подданный голштинец Люткен привез с собою в Колу из Гамбурга своего сына и другого мальчика, тоже голштинца, которых затем, с согласия властей, отправил в Холмогоры — учиться русскому языку [20, с. 136]. Сохранилось много данных о голландских юношах, привозившихся в различные русские города для той же цели.

Еще в 1519 г. находившийся в Москве посол магистра прусского ордена просил о разрешении подданному магистра Вулфысангу (Вулкану Поггe) в течение года или двух поучиться русскому языку в Новгороде или в Пскове, и это разрешение было ему дано [см. 17].

В 1600 г. в Москве русский язык изучали «францовский немчин» (т. е. француз) «Жан Паркет, лет в 18, да англичанин Ульян Колер, лет в 15, робята молоди» [21, 22] и т. д. Наряду с молодежью русскому языку обучались также и взрослые люди, голландцы [23], шведы [24], особенно англичане, а некоторые из них учились ему здесь просто в школе жизни, подолгу оставаясь в Московском государстве и усваивая русский язык в долголетней живой практике.

Из приведенных данных с несомненностью вытекает, что в отдельных странах, особенно в таких, которые вели интенсивную торговлю с Московским государством, в XVI в. русский язык пользовался известностью. В специальной работе я уже стремился показать, насколько широко его знали в это время в Англии, где отдельные русские слова, и не только заимствованные из торгового словаря, попадали даже в художественную литературу: мы встречаем их и в поэтических произведениях, и в полемических сочинениях, и в драматургии шекспировской поры, столь остро реагировавшей на всякую злобу дня. Так, например, драматург Томас Гейвуд в своих пьесах «Похищение Лукреции» и «Вызов красоте» упоминает о русском напитке «квасе» (quass) и о том, что русские украшают свои головные уборы «соболями» (sables). Упоминается «квас» также в стихотворных эпитетах поэта конца XVI в. Джорджа Тербервиля, наряду с такими словами, как «мед» (mead) или «однорядка» (odnoriadka). Томас Нэш, писатель той же эпохи, подхватил где-то в Лондоне русское местоимение «наш», и оно запомнилось ему благодаря случайному созвучию с его именем: в своем памфлете против Гарвея 1596 г. он прибегает к основанному на этом сходстве каламбуру, говоря, что он до тех пор будет преследовать своих врагов, пока они не станут перед ним на колени и не закричат: «Помилуй Нэш» (Pomiloi Nash) [25] [5].

Мы отчетливо представляем себе широкую практическую заинтересованность в изучении русского языка прежде всего торговых слоев различных западноевропейских народов начала XVI в., поэтому вполне закономерным отмечается появление именно в этом столетии большого количества практических руководств для его изучения — словарей, разговорных справочников и т. д. «Книга русского языка» Томаса Шрове, известная по рукописи 1546 г., но составленная для немецких купцов, по-видимому, еще в конце XV в., является одним из древнейших дошедших до нас руководств для изучения русского языка иностранцами [27]; но известны и другие немецкие руководства такого же характера, относящиеся к XVI и к XVII вв. [28, 29] [6]. В рукописях конца XVI в. известен французский словарь русского языка, составленный около 1586 года по материалам, привезенным французскими моряками из Архангельска [31, 32]. В 1596 г. голландский купец Ян Фердус, в письме из того же Архангельска, дал характеристику русского языка, объяснил азбуку, способ писания с титлами и т. д. [33]. Особенно интересные данные заключают в себе английские руководства по русскому языку того же времени, к сожалению, большей частью неизданные; таковы хранящиеся ныне в Оксфорде два русско-английских словаря, один из них с азбукой и краткой грамматикой начала XVII в. из библиотеки архиепископа В. Лода 30-х годов XVII века [25, с. 82], «русские прописи» [25, с. 82] и т. д. Русско-английский словарь Ричарда Джеймса 1618 г. представляет собою несомненно выдающийся для своего времени лексикологический труд [3, 34; см. 35, 36].

На распространенность русского языка (языка «московитов»), на родство его с другими славянскими языками и на практическую важность знакомства с ним еще в середине XVII в. указывал Джеймс Хоуэлл в любопытной книге наставлений своим соотечественникам, отправляющимся за границу [37].

---

[5] См. также [26].

[6] К более поздним руководствам относятся хранящийся в Вене словарь и разговорник, частично изданный И. В. Ягичем [30], и неопубликованный словарь XVII в., хранящийся в Киеве в библиотеке АН УССР.

Теоретическая европейская лингвистическая мысль в своем интересе к русскому языку, правда, несколько отставала от широко развивавшейся практики его изучения; в большинстве западноевропейских сочинений о различии языков XVI и начала XVII вв. сведения о языке московитов, его происхождении и ближайших родичах еще отличаются сбивчивостью и противоречивостью. Таковы, например, изданный в 1955 г. в Цюрихе трактат Конрада Гесснера «Митридат» («Mithridates»), в своей русской части основанный еще на ранних и недостоверных известиях путешественников [38, 39], к которому немного существенного прибавили его продолжатель Каспар Вазерус (1610), обширный труд француза Клода Дюре [40] и некоторые другие.

Научное изучение русского языка продвинулось вперед на Западе лишь во второй половине XVII столетия. Одним из первых европейских славистов следует считать шведа Иоганна Габриэля Спарвенфельда (1655—1727) [41, 42]. Много путешествовавший по Европе и обладавший незаурядными филологическими способностями, Спарвенфельд был отправлен в Россию в качестве шведского посла и за три года, проведенных в Москве (1683—1686), настолько хорошо освоился с русским языком, что мог даже писать русские вирши; одно из таких русских стихотворений Спарвенфельда найдено в его бумагах, хранящихся в Упсальском университете; оно начинается следующими стихами:

Прежде неже что и речеши кому,
Расудити тò должно ти самому...

Известно и другое русское стихотворение Спарвенфельда; оно было даже напечатано — латинскими литерами: это произведение особенно любопытно потому, что оно написано правильными тоническими стихами:

Что же есть дружба, мирская заплата?
Что нам вельможного ясна палата?
Одна бессмертна себе добродетель
Самой заплата есть и благодетель...

Очевидно, в 80-е годы XVII века внимание иностранцев, изучавших русский язык, стала привлекать к себе уже русская поэзия, русское словесное искусство, а не простое лишь умение объясняться по-русски [43, 44]. Рядом со Спарвенфельдом может быть назван другой славист-дилетант, в те годы овладевший искусством русского стихосложения, датчанин Гильдебранд фон Горн (1655—1686); он трижды приезжал в Россию с датским посольством (в 1676—1678 гг., а затем в 1681 и 1682 гг. в качестве посла короля Христиана V). О том, что Горн мог писать русские стихи, стало известно и в московских придворных кругах; в одном из своих донесений из Москвы, в декабре 1681 г., Горн, между прочим, рассказывает, что русский государь, узнав о его «большом уважении» (eine grosse estime) к русскому языку, велел наградить его двенадцатью русскими книгами в красивых переплетах, «чтобы я при этом не только вспоминал об его царской милости, но также и для того, чтобы я мог усовершенствоваться в русском языке» [45] [7]. Досадно, что Горн не упоминает в своем донесении, что́ это были за книги, полученные им в подарок от московского царя, но очень возможно, что среди них были и книги светского содержания [46].

Спарвенфельд также очень интересовался русской письменностью: он вывез с собой из Москвы ряд русских книг и серьезно занимался лексикографией; среди оставшихся от него рукописей нашлось несколько славяно-латинских словарей (четыре тома), кроме того, копия словаря Епифания Славинецкого и один латино-славянский. Хотя эти словари не были изданы, о чем долго велись переговоры и переписка между учеными разных стран, они все же в известной мере заложили основы запад-

[7] В русской историографии Горн известен, между прочим, как заказчик «Повествования о Сибири» Ю. Крижанича (1680).

ноевропейской славистики: по следам Спарвенфельда и, частично, с помощью собранных им материалов, славистикой и особенно русским языком занимались Метьюрин Лакроз [47; 29, с. 410—411], Генрих Лудольф, Лейбниц [48]. Жизнеописания всех указанных лиц свидетельствуют, что изучение русского языка интенсивно велось тогда во всех европейских странах. Ранние биографы Генриха Вильгельма Лудольфа (1655—1712), саксонского выходца, натурализовавшегося в Англии, утверждают, что он «приобрел уже некоторое знание русского языка» именно в Лондоне, прежде чем ему удалось совершить поездку в Россию в начале 90-х годов XVII века. Через несколько лет после своего возвращения в Англию Лудольф издал на латинском языке оригинальную и ценную грамматику русского языка (Grammatica Russica, Oxford, 1696), снабженную диалогами и некоторыми сведениями о России (между прочим, о русских писателях и ученых). Лудольф предполагал, что его труд должен был принести пользу купцам и путешественникам, так как он представляет собою введение в изучение языка, на котором говорят «в стране от Архангельска до Астрахани и от Ингерманландии до Китая» [49, с. 47], и, действительно, не ошибся в своих расчетах; «Русская грамматика» не только ответила указанным целям; ею очень заинтересовался весь западноевропейский ученый мир. Изданная в Оксфорде на латинском языке, она частично переведена была на английский, французский и немецкий языки и пользовалась популярностью в течение нескольких десятилетий [50], хотя в начале XVIII века в Западной Европе появились уже и другие ученые знатоки русского языка.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Якубинский Л. П.* История древнерусского языка. М., 1953, с. 350.
2. *Кулаковский Ю.* Славянское слово «плот» в записи византийцев.— Византийский временник, 1900, № 1—2.
3. *Ларин Б. А.* О записях иностранцев как источнике по истории русского языка.— Тр. юбилейной научной сессии ЛГУ, секц. филол. наук. Л., 1946.
4. *Moravcsik J.* Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes.— In: Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, 1930, Bd. VII, Hf. 3—4, S. 356.
5. *Дробинский А. И.* Русь и Восточная Европа во французском средневековом эпосе.— Исторические записки. Т. 26. М., 1948.
6. *Losinsky G.* La Russie dans la littérature française au moyen âge.— RÉSl, 1929, fasc. 4, p. 264.
7. *Koppman K.* Schevenissen und troinissen.— In: Hansische Geschichtsblätter, 1893, Bd. VII, S. 63, 64.
8. *Stieda W.* Revaler Zollbücher und Quittungen des 14. Jahrhunderts. Halle, 1887, S. CXXXVI.
9. *Stieda W.* Über die Namen der Pelzthiere und die Bezeichungen der Pelzwerkorten zu Hansa-Zeit.— In: Altpreussische Monatsschrift, 1887, Bd. XXIV, S. 617.
10. Заседания IX Археологического съезда в Вильне.— Археологические известия и заметки, 1893, № 10—11, с. 313.
11. *Штида Л. Х.* О различных именах сортов меха в ганзейское время.— Тр. IX Археологического съезда в Вильне. Т. II. М., 1897, с. 50.
12. *Лесников М. П.* Ганзейская торговля пушниной в начале XV в.— Уч. зап. Московского пед. ин-та им. В. П. Потемкина, кафедра средних веков, 1948, вып. 1.
13. *Лерберг А. Х.* Исследования, служащие к объяснению древнерусской истории. СПб., 1819, с. 196—197.
14. *Stieda W.* Zur Sprachkenntnis der Hanseaten.— In: Hansische Geschichtsblätter, 1884, Bd. V.
15. *Алексеев М. П.* «Русский» язык у немецкого поэта XIV века.— Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934.
16. *Forstreuter K.* Russische Schreiber beim Deutschen Orden in Preussen.— ZfSlPh, 1931, Bd. VIII.
17. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Немецким орденом в Пруссии 1516—1520 г.— Сб. русского исторического об-ва. Т. 53. СПб., 1887, с. 100, 107, 152.
18. Приезд в Россию в 1492 году Михаила Снупса...— В кн.: Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. I, СПб., 1851.
19. Русская историческая библиотека. Т. VII. СПб., 1882, с. 16.
20. *Щербачев Ю. Н.* Датский архив. М., 1893, с. 145, 185—186, 201.
21. *Цветаев Д. В.* Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразования. М., 1890, с. 701 (примеч.).

22. *Платонов С. Ф.* Москва и Запад в XVI—XVII вв. Л., 1925, с. 39.
23. *Кордт В. А.* Очерк сношений Московского государства с республикою Соединенных Нидерландов.— Сб. Русского исторического об-ва. Т. 116. СПб., 1902, с. XXXII.
24. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными.— Сб. Русского исторического об-ва. Т. 129. СПб., 1910, с. 252.
25. *Алексеев М. П.* Английский язык в России и русский язык в Англии.— Уч. зап. ЛГУ, 1944, сер. филол. наук, вып. 9, с. 80—81.
26. *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи. XVIII век — первая половина XIX века (Гл. I. Первые литературные встречи). М. 1982 (Лит. наследство, т. 91).
27. *Алексеев М. П.* «Книга русского языка» Т. Шрове 1646 г. и ее автор.— В кн.: Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944). Сб. статей. [Л.], 1951.
28. *Строев С.* Описание памятников славяно-русской литературы, хранящихся в Публичных библиотеках Германии и Франции. М., 1841.
29. *Яцимирский А. И.* Описание южно-славянских и русских рукописей заграничных библиотек. Т. I.— Сб. ОРЯС, 1921, т. XCVIII.
30. *Ягич И. В.* Заметка об одном рукописном словаре немецко-русском XVII столетия.— Изв. ОРЯС, 1897, т. II, кн. 2.
31. *Ларин Б. А.* Парижский словарь русского языка 1586 г.— В кн.: Советское языкознание. Т. II. Л., 1936.
32. *Ларин Б. А.* Парижский словарь московитов. Рига, 1948.
33. *Ловягин А. М.* Из голландских библиотек и архивов.— В кн.: Памяти Л. Н. Майкова. СПб., 1901.
34. *Ларин Б. А.* Три иностранных источника по истории русского языка. XVI — XVII вв.— Докл. и сообщ. Ин-та русского языка. Вып. I. М., 1948.
35. *Алексеев М. П.* Западноевропейские словарные материалы в древнерусских азбуковниках XVI—XVII вв.— В кн.: Академику Виктору Владимировичу Виноградову к шестидесятилетию. Сб. статей. М., 1956.
36. *Алексеев М. П.* Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века. Л., 1968.
37. *Howell J.* Instructions and directions for forren travell. London, 1650, p. 82.
38. *Сухомлинов М. И.* Исследования по древнерусской литературе. СПб., 1908, с. 357—358.
39. «Allgemeine Deutsche Biographie». Bd. IX. Leipzig, 1879.
40. *Duret C.* Thrésor de l'histoire des langues de cest univers. Yverdon, 1619, p. 850—851, 835, 854.
41. *Jensen A.* Die Anfänge der schwedischen Slavistik.— AfslPh, 1909, XXXIII, S. 148.
42. *Jacobowsky C. U. V.* J. G. Sparwenfeld. Bidrag till en biografi. Stockholm, 1932.
43. *Петровский Н. М.* Analecta metrica. III—IV (окончание). РФВ, 1914, № 2, с. 534—538.
44. *Берков П. Н.* Из истории русской поэзии первой трети XVIII в.— В кн.: XVIII век. Вып. I. М.— Л., 1935, с. 67—69.
45. Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimarchiv, Bd. VI, Hf. 4, Kjøbenhavn, 1879, S. 198.
46. *Куфаев М. Н.* Из истории книжного строения второй половины XVII в.— Хроника Ленинградского об-ва библиофилов. Л., 1931.
47. *Кеппен П.* Материалы для истории просвещения в России. Т. I. СПб., 1819, с. 13, 19, 22.
48. *Пекарский П.* Переписка Лейбница с разными лицами о славянских наречиях и древностях.— Зап. имп. Академии наук, 1863, т. IV.
49. *Ларин Б. А.* Русская грамматика Лудольфа 1696 года. Л., 1937.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

ТРУБАЧЕВ О. Н.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН
(Продолжение)

Нет ничего удивительного в том, что исследование особо сложной проблемы, вынесенной нами в заглавие, в наше время синтеза наук протекает в духе острой дискуссии и пересмотра очень многого из того, что сделано предшественниками. Тем выше наша благодарность классикам славяноведения — именно тем из них, с которыми пришлось коренным образом разойтись по основным положениям, потому что, перечитывая их труды, мы встречаем мысли, покоряющие нас глубиной и верностью видения именно в современных аспектах науки: «...не существует народа, происхождение и генезис которого удалось бы в достаточной степени выяснить на основании непосредственно сохранившихся исторических источников» [1, с. 5]. «...Этнографические факты констатируют, что уже в „первобытных" условиях жизни и даже при очень редкой заселенности взаимное перекрещивание культурных влияний было очень сильным либо благодаря интенсивному обмену культурными ценностями посредством примитивной, но порой удивительно интенсивной меновой торговли, либо благодаря постоянным войнам, приводившим к обмену женщинами...» [2, с. 13].

Этими высказываниями польских зачинателей науки об этногенезе славян я хотел бы продолжить свое рассмотрение проблемы, начатое в журнале «Вопросы языкознания» [3, 4]. Со времени написания опубликованной работы прошли два года, которые принесли новую литературу и новую пищу для размышлений. Состоялся IX Международный съезд славистов в Киеве (сентябрь 1983 г.). Думаю, будет естественно, если в нижеследующем изложении я попытаюсь отразить некоторые доклады к этому съезду, дискуссионный обмен мнениями на самом съезде, в частности — на круглом столе по этногенезу славян, и даже — наиболее интересные места из переписки с друзьями. Но сначала напомню очень кратко положения этой своей предыдущей работы. В ней обращалось внимание на бесспорное древнее знакомство славян с (Средним) Дунаем, на методологическую уязвимость традиционных разысканий о прародине славян, под которой в них неоправданно понималось первоначально ограниченное стабильное пространство, будто бы обязательно свободное от других этносов, первоначально бездиалектное; самоограничение исследователей внутренней реконструкцией приводило к воссозданию «непротиворечивой» модели праязыка, по-видимому, весьма отдаленной от реального, некогда живого праславянского языка с внутренним диалектным членением и собственными индоевропейскими истоками, что весьма затемнялось разнообразными балто-славянскими теориями, в том числе крайней из них, по которой праславянская языковая модель производна от балтийской. Широкое понимание сложного пути праславянского не совместимо с этой концепцией, и, кажется, только оно обеспечивает адекватное рассмотрение динамичных, самобытных судеб древних носителей славянских, балтийских, а также других индоевропейских диалектов, что и было изложено нами кратко, но на конкретных данных этимологий, изоглосс (балто-фракийских, славяно-италийских, славяно-иллирийских, славяно-кельтских, лигурийско-балтийских, славяно-балтийских). В проблему праславянского ареала и лингвоэтногенеза нами намеренно был включен вопрос о праиндоевропейском ареале с характерной для послед-

него древней гидронимией. Речь шла о Центральной Европе и бассейне Среднего Дуная и в одном, и в другом случае. Размытые границы и сильные ранние иррадиации в сторону периферий признавались нами как характерные особенности древнего языкового и этнического ареала славян в Европе.

Индоевропейские истоки праславянского языка и этногенеза

В нынешней части работы из всего этого комплекса достаточно актуальных вопросов я намерен выделить наиболее общий и актуальный. Таким является (в чем, я думаю, со мной согласятся) вопрос об индоевропейских истоках праславянского языка и славянского этногенеза. Речь идет, таким образом, об истории языка и — через его посредство — об истории носителей языка. Известно, что применительно к дальним эпохам в этом вопросе основная «тяжесть доказательства» возлагается на языкознание; это признается не только лингвистами и, между прочим, не только относительно дальних эпох, так, например, замеченная диспропорция между реконструируемой развитой праславянской терминологией (и, без сомнения, стоявшей за ней сложной социальной организацией и культурой) и примитивными представлениями письменной истории времен конца античности и раннего средневековья заставляет также современных историков решительно отдать предпочтение косвенным (реконструированным) данным языкознания перед прямыми, но скудными или даже превратными, пристрастными данными из исторических источников [5].

Свидетельства археологии

Такая глубинно историческая дисциплина, как археология, тоже далеко не всегда дает однозначные ответы. Ср. тот факт, что общей, единой индоевропейской археологической культуры не существовало [6; 7, с. 87]. По мнению ряда археологов, не существует, оказывается, и единой достоверно славянской материальной культуры, которая была бы древнее VI в. н. э., когда появляются памятники так называемого пражского типа [8; 9]. Пессимистично заключение археологии относительно непрерывной культурной преемственности, вернее — ее отсутствия в Карпатско-Дунайской котловине, поскольку, оказывается, уже для VIII—IX вв. не могут назвать в этой области ни одной культуры, которая бы уходила корнями в римскую эпоху [10]. Есть и противоречивые суждения, исходящие, к тому же, от авторитетов. Так, сторонников теории балто-славянского единства (которых, правда, сейчас осталось не так много) должно огорчать заявление такого археолога, как Костшевский, что «с археологической точки зрения нахождение такой культуры, которая могла бы представлять еще не разделенных предков балтов и славян, до сих пор невозможно, и, если бы достаточно было опереться только на исторические данные, то нужно бы было признать, что настоящей эпохи балто-славянской языковой общности никогда не существовало» [цит. по 11]. Впрочем, приверженцев этой теории может утешить противоположное мнение другого археолога — В. Хенселя, который выступил на I Международном съезде по славянской археологии с докладом «Балто-славянская культурная археологическая общность», где он прямо утверждает, что «...археологические источники не противоречат возможности балто-славянской общности», и даже датирует эту общность временем с 1800 по 1200 гг. до н. э., видя в ней часть ареала шнуровой керамики [12].

Очевидно, не следует спешить с общими выводами на базе археологических свидетельств, во всяком случае не стоит толковать их прямолинейно, и это пожелание мы просили бы расценивать как проявление нашей оппозиции против всякой прямолинейности в целом (ср. об этом также ниже). Археология добилась огромных успехов, и несправедливо говорить, что

ее материалы немы; напротив, они слишком многозначны. Обычно говорят, что археология превосходит лингвистику точностью датировок, но это верно далеко не всегда, и сами археологи признают, что основой их датировок все-таки служит не столько стратиграфия (залегание объекта в определенных слоях, куда он мог попасть в принципе и случайно), а типология формы и материала, т. е. та же относительная хронология, что и в лингвистике. Абсолютно точных дат ждут от радиоуглеродного анализа, но и их абсолютность также признается нередко спорной. Наконец, знамением современной науки является и то, что в археологии тоже практически заговорили о «диалектологии» в смысле неоднородности древних культур, и как раз в этом последнем пункте сказывается наиболее плодотворно обмен идеями между современным языкознанием и современной археологией.

«Когда появился праславянский язык?»

Именно поэтому, например, вопрос «когда появился праславянский язык?» следует признать некорректным, на него никогда не сможет точно и однозначно ответить наша наука, как бы ни утончались ее методы (неслучайно, и на киевском съезде славистов — в докладе В. К. Журавлева — вновь говорилось о нелингвистическом характере абсолютной хронологии, а прогресс лингвистических знаний связывался с относительной хронологией как отражающей внутренние взаимосвязи). Не буду говорить об этом подробно, но всякие утверждения об обособлении праславянского с точностью до века или до года (например, с 500 г. до н. э.), с моей точки зрения, представляются беспредметными. Подобной «точности» ответа, в сущности — мнимой, не надо требовать от нашей науки. Ссылки на опыт археологов в указанном выше смысле тоже не вполне правомерны. Археологи, как уже сказано, сами оперируют *типологической* классификацией и хронологией, а их абсолютная хронология производна от типологии. Правда, когда я высказал это мнение на уже упоминавшемся круглом столе по этногенезу славян (Киев, 12 сент. 1983 г.), выступивший затем археолог В. В. Седов возразил, что археологические датировки достигают большой степени точности и бесспорности; для примера он сослался на абсолютные датировки зарубинецкой культуры, и все же думается, что значительное количество археологических датировок, подаваемых как абсолютные, сохраняет спорность. Попутно замечу, что не обоснованы упования на лексикостатистику Сводеша и его продолжателей, оперирующую куцым списком из 200 или 100 основных слов и совершенно не доказанным тезисом *о равномерности* их убывания во всех языках, на чем построены вычисления лексикостатистикой дат «распада» праязыков. Языки и их лексика развиваются неравномерно, в этом их самобытность и прелесть. И все же жадный интерес — особенно молодых — читателей и слушателей (как на минувшем съезде), которые уверены, что «начало праславянского языка будет найдено», вынуждает нас возвращаться к рассмотрению вопроса «когда появился праславянский язык?».

С другой стороны, я заметил, что всякое принципиальное углубление славянской языковой хронологии, акцентирование индоевропейских истоков праславянского конфузит и опытных, и молодых лингвистов, привыкших думать иначе. К сожалению, умами многих исследователей еще владеет психология привычки поздно датировать все собственно славянское в языке и культуре. Этой психологии отдают дань и некоторые участники киевского съезда славистов. Например, словацкие археологи Б. Хроповский и П. Шальковский явно не сочувствуют попыткам «искать славян в глубокой древности» [13]. Для югославского лингвиста Д. Брозовича праславянский «моложе других праязыков» [14]. В дискуссионном выступлении В. Н. Чекмана был выдвинут тезис о праславянском как новом, недавно родившемся языке; в письменном сообщении Г. Лиминга (Великобритания) «Некоторые проблемы сравнительной славянской лек-

сикологии» праславянский тоже фигурирует «не как прямой наследник (индоевропейского.— *Т. О.*), а как совершенно новое целое» [15].

Ф. Копечный, ознакомившись с моим «Языкознанием и этногенезом славян» [3, 4], писал мне уже трижды; я позволю себе процитировать отдельные места из его письма от 10 июля 1983 г. Он называет это чтение волнующим, однако делится со мной своими несогласиями: «Вряд ли можно говорить в III тысячелетии до н. э. или даже еще раньше о славянах, германцах, балтах и т. п.; но я знаю, что Вы под этими названиями понимаете их предков. Для меня славяне и праславянский начинается монофтонгизацией дифтонгов, т. е.— скажем — началом VII ст. н. э.». Ясно, что мы с уважаемым Францем Францевичем видим по-разному некоторые вещи, причем устами Ф. Копечного говорит лингвист starej daty, как сказали бы поляки. Я вообще не считаю возможным ставить вопрос о появлении славянского в зависимость от такой фонетической особенности, как монофтонгизация, хотя сам тоже занимаюсь реконструкцией праславянского языка эпохи проведенной монофтонгизации дифтонгов в нашем Этимологическом словаре славянских языков. Однако для меня это лишь удобная форма, наиболее близкая к ранней письменной фиксации, но не точка отсчета. Иначе, рассуждая логично, мы, пожалуй, должны будем снова перестать называть чешский язык славянским с того момента, как в нем «опять» дифтонгизировались монофтонги в определенных условиях. Этот пример показывает нам относительность якобы строгих фонетических критериев, помогает понять, что методика, преувеличенно опирающаяся на эти критерии, может оказаться недостаточно тонкой в вопросах лингво- и этногенеза, для которых требуются более широкие и гибкие категории и допущения (последнее касается в немалой степени и терминологического содержания этнонимов, традиционно употребляемых в этногенетических исследованиях). Когда я огласил в устном докладе на съезде в Киеве слова Ф. Копечного и свои мысли по этому поводу, то во время обсуждения мне возразили, что Ф. Копечный «наверное, так не думал», впрочем, едва ли я понял Ф. Копечного менее точно, чем выступавший дискутант (Г. А. Хабургаев), который в своем выступлении явно преувеличил возможности «стадиальной» концепции вхождения разных этнических компонентов, прежде якобы не бывших, а затем ставших праславянами.

Имеет место определенная недооценка также славянской культурной хронологии. Возвращаясь к славистическому съезду, приведу еще один пример. Ш. Ондруш (ЧССР), выступая на обсуждении докладов, говорил о большом славянском влиянии на балтов в терминологии торговли, ср. литов. *tuřgus* «базар» < слав. **tъrgъ*. В ответ на это Вяч. В. Иванов счел возможным высказать сомнения в существовании торговли в праславянскую эпоху вообще. Неверие в возможность древнего обмена, конечно, неоправданно и противоречит данным истории древней культуры, о которых на этот счет хорошо сказано в нашей вводной цитате из крупнейшего славянского этнолога К. Мошинского [2, с. 13].

Углубляя, удревняя внешнюю и внутреннюю историю праславянского, мы пересматриваем разные аспекты славянско-неславянских отношений, понимаем необходимость разрабатывать их стратиграфию. При этом не все отношения оказываются релевантными в плане этногенеза славян. Так, мы говорим в этом плане положительно о славянско-италийских отношениях (см. о них кратко в предыдущих частях работы), тогда как, скажем, славянско-восточнороманские отношения можно обозначить как постэтногенетические. Определить в этих терминах балто-славянские отношения, т. е. решить, релевантны ли они для славянского этногенеза или, скорее, постэтногенетичны или, возможно, параэтногенетичны (в смысле независимого параллельного развития языков и этносов) — в этом суть балто-славянской проблемы, одной из центральных также на IX Международном съезде славистов. Теорию балто-славянского единства на съезде продолжал отстаивать Ф. Славский. Однако эта теория явно не выдерживает напора фактов, говорящих о самобытности славянского языкового развития. В дискуссиях со всей серьезностью указывалось, что

палатализация согласных, столь характерная для славянского, протекает в балтийском иначе или отсутствует там совсем (З. Зинкявичюс), эволюция долгих гласных осуществлялась в балтийском и славянском в противоположных направлениях (Э. Станкевич, США). Как я уже говорил в другом месте, несходным путем шла в них сатемизация индоевропейских палатальных согласных. А. Ванагас в своем докладе показал, что со стороны гидронимического анализа нет оснований для сохранения положения о балто-славянском языковом единстве [16].

Из числа сторонников известной теории развития славянского из балтийских диалектов упомяну В. Мажюлиса, который в выступлении на круглом столе по этногенезу сказал, что «праславянский резко повернул по небалтийскому эволюционному пути», но сама идея «поворота» и имплицируемая ею предшествующая эволюция будто бы по балтийскому пути представляются нам недоказанными. Весьма оживленным и интересным был обмен мнениями на съезде и в предсъездовских публикациях между В. В. Мартыновым и Ю. В. Откупщиковым. Если оставить в стороне чисто полемическое утверждение Ю. В. Откупщикова в дискуссии, что «славянский относится к группе балтийских языков», то нужно отметить его серьезную критику теории ингредиентов (праславянский = протобалтийский + италийский) в докладе В. В. Мартынова [17]. Ю. В. Откупщиков объективно констатирует большое количество славянско-индоевропейских изоглосс, не известных балтийскому и заставляющих признать праславянский самобытным индоевропейским языком [18].

В целом съезд славистов в Киеве продемонстрировал взлет (В. Хенсель, выступление на круглом столе по этногенезу: «renesans») научных интересов к вопросам о времени и месте формирования славянского языка и этноса, он дал новые перспективы взаимообогащения и с б л и ж е н и я традиционно разных концепций. Например, В. В. Мартынов в своих устных выступлениях отметил актуальность нынешних поисков южных границ праславянского ареала, допуская их паннонскую (придунайскую) локализацию, в частности — славяно-кельтские контакты именно на этой территории. Это не мешало, правда, другим ученым остаться при привычных убеждениях (В. Маньчак, выступление на круглом столе: «...мне трудно поверить в придунайскую прародину славян»...). Споры касались всего комплекса вопросов древней истории славянского. Мои собственные поиски, в частности — в дифференцированных индоарийском и иранском аспектах, получили интересную поддержку (если опять-таки отнестись при этом cum grano salis к абсолютной хронологии), как мне кажется, в выступлении антрополога В. Д. Дяченко на круглом столе по этногенезу: отмечу здесь выделяемый им иллиро-фракийский и индоиранский период I тыс. до н. э.— середины I тыс. н. э. с вхождением в состав древних славян балканско-центральноевропейского компонента (карпатский и понтийский антропологические типы), а также степных — древнеиндийского (индо-днепровского длинноголового мезогнатного типа) и перекрывшего его иранского компонента.

Мифы сравнительного языкознания и истории культуры

Однако для того, чтобы полнее использовать свои преимущества в деле исторической и этнической реконструкции, языкознанию необходимо еще много работать над совершенствованием своих методов и над преодолением ряда своих постулатов, которые стали привычными (порою — по причине ассоциации с методами, одно время считавшимися передовыми в науке), оставаясь недоказуемыми. Речь идет о мифах сравнительного и общего языкознания, впрочем, как и о мифах истории культуры. Наука остро нуждается в их демифологизации, т. е. в преодолении традиционных прямолинейных заключений в исследованиях. Здесь затронуты, бесспорно, интересы целого круга дисциплин, изучающих историю культуры, поэтому обмен опытом должен быть обоюдным (примеры — ниже), вместе с тем серьезный методологический урок негативного влияния идеи изоморфизма разных уровней (языка) должен исходить от языкознания. На-

помню такие мифы сравнительного языкознания, как (1) «додиалектное» единство каждого праязыка, (2) «небольшая прародина» («Keimzelle»), (3) одновременность появления этноса и этнонима, (4) балто-славянские отношения (любые) как terminus post quem для славянской языковой эволюции. Сюда же, далее, надо отнести порожденный современными направлениями языкознания миф о существовании «совершенных систем». Против последнего уже раздаются голоса критики с разных сторон, причем указывалось, что и структурализм, и генеративизм повинны в конструировании «совершенных систем», которые по самой своей природе «не подлежат сравнению» (are noncomparable), тогда как именно сравнимость — пробный камень всякого исторического анализа [19]. Это, конечно, верно, но еще важнее то, что конструируемые «совершенные системы» (пример: «непротиворечивые модели» праславянского или праиндоевропейского языка) противоречат главному мотиву языковой эволюции, каковым является асимметрия.

Против прямолинейных заключений

Потребность проверки и преодоления прямолинейных заключений в историческом языкознании ощущается в настоящее время, хотя, возможно, далеко не всеми и не во всех случаях, где в этом назрела необходимость. К тому же, это отнюдь не простое дело, поскольку преодолевать при этом приходится иногда эффектные построения авторитетных исследователей. Например, Семереньи удалось показать неверность одного такого эффектного положения Мейе (1912 г.) об исключительно ускоренном (быстрее романского) развитии и упадке среднеиранского языка в условиях его крайнего распространения в мировой державе ахеменидов. Критически проверив реальные данные, Семереньи получил фактически иную картину: интенсивное развитие вплоть до упадка языка имело место в сердце тогдашнего иранского пространства — на территории современного Ирана, а на периферии Севера и Востока был отмечен характерный консерватизм [20]. Запомним этот пример, который лишний раз показывает, что политическая и территориальная экспансия этноса не синонимична ускоренному развитию в языковом плане. По крайней мере столь же неоправданным является очень живучее убеждение, что — vice versa — оседлость и малая территориальная подвижность этноса находит выражение в неразвитости, архаичности его языка. Эту концепцию может оправдать только все еще недостаточное развитие этнолингвистики и социолингвистики, особенно применительно к ранним периодам эволюции этносов и языков. Так, по нашему мнению, в указанном выше смысле неоправданной прямолинейности уязвимо заключение авторов теории ближневосточной прародины индоевропейцев: «Смещение общеанатолийского по отношению к первоначальному ареалу распространения общеиндоевропейского языка было сравнительно небольшим. Этим и объясняется исключительная архаичность анатолийских языков...» [21]. Для нас совершенно очевидно, что из этой же самой посылки — а р х а и ч н о с т ь хеттского и других анатолийских языков — может быть с гораздо большим основанием сделан вывод о дальней миграции, приведшей эти языки на п е р и ф е р и ю некоего ареала...

Некоторые методологические предостережения сходного характера можно почерпнуть и из опыта смежных наук исторического цикла. Так, например, в очевидную для всех связь, которая существует между строительством укреплений и военным временем, чешские археологи Шимек и Неуступный внесли существенную поправку: «строительство укрепленных поселений производилось не во времена битв, а наоборот — в период спокойствия и стабилизации» [22]. Другой пример: европейская карта бронзового века обычно представляется археологу расчерченной миграциями и походами, которые как будто документируются этнически характерной керамической посудой. Не зная подлинных имен этих *этносов*, археолог привычно обозначает их Schnurkeramiker, sznurowcy, носители культуры шнуровой керамики и т. д. Шнуровая керамика встречается

от Северного Причерноморья до Скандинавии, но для того, чтобы совершать такие дальние походы и миграции, надо отличаться особой воинственностью и подвижностью, короче говоря, надо вести кочевую жизнь, а нам указывают, с другой стороны, что кочевой образ жизни и производство керамики плохо совместимы по причине хрупкости глиняной посуды! [23]. Поэтому время от времени раздаются голоса, рекомендующие видеть в распространении изделий именно распространение изделий (через торговлю, заимствование, культурное влияние, моду и т. д.), а не делать поспешных выводов о распространении людей [24, 25]. К сожалению, и сейчас авторы этих здравых суждений остаются пока в меньшинстве, и до сих пор говорят больше о нашествии носителей лужицкой культуры на балтийскую территорию с Запада [1, с. 98; 26], чем о лужицком культурном влиянии [27, с. 48]. Таким образом, культурные влияния, культурный обмен, столь важный для человечества во все времена, скорее преуменьшаются, отчего картина древних этнических отношений невольно подвергается искажению. Предубеждения коснулись и ассортимента предметов культурного обмена, того, что в специальной литературе именуется «импортами». Недооценка ведет к излишней категоричности суждений, которые оказываются рискованными, как, например, утверждение М. Гимбутас: «Burial practices are not loaned» [28, с. 293]. Однако всесильная мода и культурные течения не обходят стороной и погребальный ритуал, который также может заимствоваться от этноса к этносу [29].

Статичность популярных концепций социальной и этнической истории индоевропейцев

Определенной критики заслуживают некоторые влиятельные концепции, стройность которых достигается ценой их собственной статичности. Известно, например, каким *широким признанием* пользуется теория трехчастной социальной организации и соответствующей ей идеологии у индоевропейцев (Дюмезиль). Можно сказать, что эта трехчастность, трехклассовость (жрецы, воины, скотоводы) имплицируется названным учением уже у ранних индоевропейцев, хотя в такой общей и абстрактной форме это сомнительно и обращает на себя внимание отсутствием идеи эволюции. Хотя теория Дюмезиля не нова и насчитывает не один десяток лет, современная критика ее, можно сказать, только еще делает первые осторожные шаги. Ср. сомнения, высказанные Поломе по поводу реальности существования упомянутой четкой социальной дифференциации уже у ранних индоевропейцев IV—III тыс. до н. э., если известно даже о древних германцах по письменным источникам, т. е. около начала н. э., что они жили преимущественно бесклассовым обществом, далее — что у них имелись не жрецы, а жрицы, что само развитие общественных отношений могло быть неравномерным у германцев и прочих индоевропейцев, ср. сюда же полное отсутствие трехфункциональной социальной модели у анатолийских индоевропейцев. Наконец, и это важно как самый серьезный исторический корректив к трехчастной социальной теории — для ряда индоевропейских культур необходимо считаться с наличием четвертого класса — ремесленников [30]. О ранней специализации ремесленников по обработке дерева, камня, глины, стекла, янтаря и металла у индоевропейцев бронзового века см. [31, с. 9—10], впрочем, о выделении ремесленников говорят как о феномене неолита, во всяком случае — с неолитической революции, ознаменовавшейся зарождением производящей экономики [32, с. 17—18]. Совершенно очевидно, что вопрос о «диалектологии» индоевропейской социальной организации и культуры еще только предстоит поставить в полный рост. Думается, что со временем крайняя неразработанность хронологии в этой области будет более определенно оценена как неудовлетворительная. Так, неучет хронологии феномена дает повод для ложной этнической атрибуции; например, трудно вместе с Гимбутас [33, с. 7] противопоставлять социально нерасчлененное население «Древней Европы» V тыс. до н. э. (по Гимбутас — неиндоевропейское) социально якобы *дифференцированным пришлым* индоевропейцам,

потому что для столь раннего времени (V тыс. до н. э.!) трудно поверить в факт социальной дифференциации последних на фоне постулируемой автором бесклассовости более цивилизованной «доиндоевропейской» Древней Европы, а также в свете того, что известно о реликтах бесклассовости и социального синкретизма у самих индоевропейцев даже в несравненно более поздние эпохи, по данным письменной истории (выше). Имеет место и негативное давление индоевропейской трехчастной схемы, проявляющееся в готовности некоторых исследователей перекодировать в терминах этой теории весьма различные этнические отношения, особенно если в последних фигурируют т р и племени или т р и части этноса, как, например, делается в одном недавнем опыте с тремя русскими центрами — Куяба, Славана, Артания — в арабской традиции X в.

Еще один яркий пример статичной концепции, парадоксальный ввиду внешней динамичности самой концепции,— это теория вторжения в Европу извне (с Востока) индоевропейской курганной культуры. Американский археолог литовского происхождения, Мария Гимбутас, в ряде своих публикаций 60—80-х гг. выдвинула теорию, согласно которой Европа не является прародиной носителей индоевропейских языков, которые, будучи всадниками и скотоводами, вселились сюда в результате ряда вторжений («волн») со второй половины V до начала III тыс. до н. э. Индоевропейцы были степными скотоводами с характерным к у р г а н н ы м погребальным обрядом, патриархальной организацией, воинственностью и даже «безразличием к искусству» (indifferent to art). Их культура представляется Гимбутас противоположной культуре неиндоевропейских обитателей «Древней Европы» (термин в этом употреблении также принадлежит Гимбутас) с их оседлым бытом, матриархатом, миролюбием, высоким уровнем ремесла, искусства и всей цивилизации, хотя, при всем этом высоком уровне развития и проистекающего от него богатства среднего класса (a rich middle class), доиндоевропейцы будто бы не имели антагонистических классов. Их культура легла субстратом в основание культуры позднейших индоевропейских завоевателей [34, 28, 33, passim]. Последователи Гимбутас называют индоевропейское расселение как «1600 лет курганной экспансии» [7, с. 102]. Одна из «курганных волн» (II, конец IV тыс. до н. э.) якобы достигла Восточного Средиземноморья [35]. Концепция Гимбутас получила широкое распространение, причем среди языковедов — не меньше, чем среди археологов [36, с. 122]. Сама исследовательница настроена очень решительно и не видит иной альтернативы для решения индоевропейской проблемы: «Если курганная традиция не тождественна с индоевропейской прародиной, чего тогда мы можем ожидать от археологии в решении вопроса пространственной и временно́й базы праиндоевропейского?» [28, с. 294]. Однако невозможность иных серьезных точек зрения явно преувеличена у Гимбутас. Курганная традиция IV тыс. до н. э. тянется в Сибири до верхнего Енисея [28, с. 295], что зарождает сомнения в ее тождестве с индоевропейской традицией, больше того — вызывает резко критическую реакцию со стороны некоторых археологов, например, Килиана [27, с. 28], который прямо говорит, что выведение индоевропейских племен из-за Нижней Волги и из Казахстана элементарно противоречит европеоидной антропологической характеристике. Отождествление индоевропейцев и поздненеолитической курганной культуры встретило отрицательное отношение и у других археологов, которые считают, что все дело — в точности абсолютных датировок и что якобы производные культуры в Европе практически оказываются одновременными с южнорусскими ямными погребениями, а не более поздними и не производными от последних [31, с. 6, 7]. Далее английские археологи Коулз и Хардинг высказывают также свои сомнения в правомерности чрезмерного обобщения одной культурной черты — типа погребений и использования ее как показателя расового родства; они допускают, что погребальный курган — это своеобразная мода эпохи, а не признак какого-то «курганного народа», тем более, что курганные погребения широко известны «во времени и пространстве». В целом концепция смены населения и прибытия народа курганной культуры обязательно с Восто-

ка представляется этим авторам «квази-исторической интерпретацией» [31, с. 102]. Они располагают и конкретным материалом, свидетельствующим, что как раз Восток в существенных моментах сохранял значение архаической периферии, а не источника культурной инновации; так, в то время, когда на территории Западной Украины уже встречается культура курганных погребений в сочетании с культурой шаровидных амфор и шнуровой керамики, на Нижнем Днепре и в задонских степях все еще функционирует культура ямных погребений [31, с. 117]. Но наиболее серьезный критический анализ концепции М. Гимбутас с отрицательным результатом дал немецкий археолог А. Хойслер (ГДР), который пришел к выводу, что погребальные курганы архаических культур Греции не связаны с курганами Северного Причерноморья и допускают локальное объяснение, что подтверждается также косвенно [37]. Так же обстоятельно разбирает и затем отвергает он «курганизацию» извне других районов, показывая, вслед за другими исследователями, автохтонность курганной культуры в Восточной Европе, ее вырастание из культур местных охотников и рыболовов; шнуровая керамика, известная в Центральной Европе и Скандинавии, возникла отнюдь не в ходе экспансии скотоводов ямной культуры с Востока, а тем более — целого ряда миграций (вариант: трех волн), что не находит и антропологических подтверждений для разбираемых М. Гимбутас неолитических культур (например, на территории Венгрии), во время чего Гимбутас прибегает к явно произвольным социальным интерпретациям (проверка не обнаруживает там признаков социального расслоения и господствующего положения воинов и вообще не находит связи этих культур с севернопричерноморскими). Наблюдаемые в европейских культурах изменения домостроительства, положения мужчин представляют собой «чисто стадиальное явление, итог определенных социально-экономических перемен, которые объяснимы и без нашествий из восточных степей» [36, с. 126]. Хойслер акцентирует возможную эндемичность культур и культурных явлений; он выступает против воззрений на одомашнивание лошади, шнуровую керамику и культуру боевых топоров как обязательный индоевропейский культурный набор. Выводы Хойслера немаловажны для решения индоевропейской проблемы: он считает, что его анализ показал отсутствие оснований для выведения неолитических или раннебронзовых культур Центральной и Северной Европы из Восточной Европы (а также из Западной Сибири или Средней Азии); в Европе имело место непрерывное развитие культуры и населения («eine kontinuierliche Entwicklung der Kultur und Bevölkerung») вплоть до исторически засвидетельствованных индоевропейских культур и языков [36, с. 139]. К сожалению, среди лингвистов не удалось заметить особого желания детально критически разобраться в теории Гимбутас, отдельные краткие критические реплики [38] фигурируют на фоне преимущественно положительного приема. Но, в конце концов, критика этой теории изнутри археологии, пожалуй, для нас не менее важна, поэтому мы изложили выше аргументы Хойслера и других археологов. Все говорит о том, что в концепции Гимбутас имеет место феноменальная недооценка внутренних стадиальных потенций (см. выше о статичной сущности этой концепции).

Непрерывная эволюция индоевропейской Европы

Альтернатива теории вторичной «курганизации» — индоевропеизации Европы существует; она представлена теориями, утверждающими на основе различных данных возможность непрерывной эволюции индоевропейских этносов и их языков в Европе. Из числа сторонников этой концепции может быть назван испанский археолог, каталонец по происхождению, П. Бош-Жимпера, работавший в Мексике. Он указывал на возможность возводить зачатки индоевропейского этноса, при всех мыслимых оговорках, к мезолитическим группам населения Европы; о начальных группах индоевропейцев можно более уверенно говорить для неолита, конкретно — V тыс. до н. э. Ареалом (одним из ареалов) этого раннеин-

доевропейского группообразования Боск-Жимпера считал территорию Чехословакии и примыкающие районы, иными словами — район дунайской культуры [39, passim]. Эти выводы звучат довольно обобщенно, но следует согласиться с их главной идеей. Неслучайно среднедунайские районы привлекли и наше внимание. Вряд ли можно считать, что при этом смешиваются собственно индоевропейские древности и доиндоевропейские культурно-этнические субстраты, как их понимает, например, Гимбутас. Наблюдаемая ниже известная концентричность культурных и лингвистических ареалов разных эпох в Центральной Европе говорит скорее о том, что здесь действовал механизм преемственного развития с устоявшимся центром и собственными периферияими. Всего этого, пожалуй, не было бы при наслоении чужих пришельцев на чуждый субстрат, когда складываются случайные по своему характеру отношения, если принимать хотя бы постулируемую Гимбутас противоположность укладов (мирные оседлые жители — воинственные завоеватели-кочевники), при которой, как мы знаем из аналогий разных времен, должны бы были преобладать ограбление и уничтожение покоренной культуры, а не нормально функционирующая преемственность, к тому же обнаруживающая свой древний ареал с центром и периферией.

Отмеченный выше как недостаток статизм концепции (или концепций), неразработанность представлений о собственной внутренней стадиальности эволюции и ее временно́й глубине толкают исследователей на поиски внешних импульсов, примером чего может послужить вопрос о зарождении культурного коневодства. Не рассматривая его здесь подробно, отметим лишь, что некоторые авторы допускают и для него разумную альтернативу своеобразного параллельного полицентризма возникновения, причем не в одних только степных районах (Хойслер), а другие настаивают на однозначном решении и причем обязательно на импорте извне, ср. предположение о заимствовании колесной повозки с Востока на Запад в связи с тем, что одним из очагов распространения колесных повозок была протоиндская культура III тыс. до н. э. [40]. Но в древнеевропейском культурном ареале, на Балканах (Караново) известны неолитические глиняные модели колеса V тыс. до н. э. [33, с. 7], и нет серьезных оснований отрицать здесь наличие своего древнего очага домашнего коневодства и строительства колесных повозок, а также вероятную причастность к этому индоевропейцев, ср. [41]. Для нас знаменательно указание о заселении индоевропейцами, уже имевшими при себе лошадей, Анатолии, не знакомой прежде с этим животным, причем заселение шло с Запада, очевидно, из районов древнего домашнего освоения лошади, каковыми считаются не только причерноморские степи, но и неолитическая езеровская культура в Болгарии с IV тыс. до н. э. [42]. И все же не последний штрих в картину древней культуры и истории вносит также здесь язык, который заставляет задуматься над степенью адекватности того стереотипного образа раннего индоевропейца — всадника и скотовода, который, кажется, основательно уже поселился на страницах многих научных исследований. Конь помогает этому реконструированному индоевропейцу преодолевать замечательные расстояния на картах миграций, приложенных к этим исследованиям (некоторые сомнения по поводу реальности всех этих миграций см. отчасти выше). Культ коня, как и солнечного неба, кажется ученым неотделимым от духовного мира индоевропейца. Однако, если в греческих личных собственных именах классической эпохи (Гомер) насчитывают около 230 сложных имен, включающих ἵππος «лошадь, конь», при 19 именах с компонентом βοῦς «бык» и только двух — с αἴξ «коза», то в более древней — раннегреческой микенской антропонимии перед нами предстает обратная картина: чаще всего (6 раз) встречаются имена с *Aigi-* «коза», одно имя — на g^{u}*ow-* (XV в. до н. э.), и нет ни одного имени, которое наверняка включало бы название лошади [43]. Понятно, что микенский (II тыс. до н. э.) ближе к праиндоевропейскому, и это отчасти наводит на подозрение, что упомянутая выше стереотипная культурная реконструкция содержит некоторые преувеличения. По этому случаю я нахожу нужным процитировать слова из своей книги 1960 г.: «Что каса-

ется великих миграций III тысячелетия до н. э., то основной тягловой силой в их осуществлении были быки, а не лошади, хотя, может быть, в глазах отдельных ученых это и наносит ущерб блистательности индоевропейской экспансии» [44].

К вопросу об индоевропейском консонантизме

Касаясь некоторых особых тем с вынужденной краткостью, я не стану специально разбирать теорию переднеазиатской индоевропейской прародины Гамкрелидзе—Иванова, спор о которой развертывается в литературе, полагая, что сообщаемые мной наблюдения и материалы могут быть использованы в дискуссии. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. В. Иванов предприняли также полную ревизию праиндоевропейского консонантизма, где на месте традиционных чистых звонких согласных фигурируют глоттализованные и в целом отношения и состав согласных напоминают языки с передвижением согласных (германский, армянский). Можно сказать, что именно эта глава праиндоевропейской реконструкции Гамкрелидзе—Иванова приобрела наибольшую популярность, ср. [45]. И этот вопрос как бы остается в стороне от избранного здесь аспекта праславянского и предславянского индоевропейского, что обязывает нас к краткости, хотя вероятность компенсирующего отношения между состояниями консонантизма и вокализма (см. у нас далее о последнем) и потенциальная важность учета очень многого из праиндоевропейского для лучшего понимания собственно славянской эволюции не позволяют полностью обойти этот вопрос. Авторы ревизии индоевропейского консонантизма в значительной мере основываются на сопоставительной типологии, в том числе неиндоевропейской. Нельзя не отметить при этом, что не кто иной, как П. Хоппер, пришедший к аналогичному пересмотру индоевропейского консонантизма независимо от наших авторов, питает до последнего времени сомнения как раз в типологической стороне этой концепции, поскольку смена глоттальных обычными звонкими смычными на всей индоевропейской территории типологически уникальна; ожидалось бы (Гринберг) glottalized → unvoiced [46]. Правда, американский ученый все-таки отыскивает такой случай в северо-западном кавказском — кабардинском, вернее, отдельных его диалектах, где глоттальные смычные могут переходить в звонкие, но малость этой типологической базы обращает на себя наше внимание. Попытки найти эти повсюду утраченные глоттальные в индоевропейском дали пока небольшие результаты: обнаруженные в индоарийском языке синдхи, эти глоттальные, оказывается, не отличаются индийской графикой от чистых звонких и, возможно, имеют поздний фонематический характер [47, 18]. Поэтому осторожные исследователи по-прежнему избегают включать глоттализованные согласные в число известных индоевропейских фонологических особенностей и, кроме того, принимают во внимание крайнюю лабильность именно германского и армянского консонантизма (—языков, в которых традиционно предполагается передвижение согласных), делающую проблематичным сохранение первоначального состояния именно в этих языках [48, passim]. Симптоматично, например, мнение специалистов, что «в Скандинавии, и прежде всего — в Дании, и сейчас происходит передвижение согласных» [49]. Такой поныне синхронно наблюдаемый и живой статус передвижения согласных в германских языках серьезно ущемляет концепцию индоевропейской архаичности этого явления. Недавно было также высказано мнение, что праиндоевропейско-пракартвельские контакты уже отражают наличие праиндоевропейского звонкого ряда *b*, *d*, g^{w}, *ǵ* [50].

Семитское влияние на индоиранский вокализм?

Сосредоточившись на консонантизме, Гамкрелидзе и Иванов касаются индоевропейского вокализма только в одном важном случае — слиянии и.-е. *e* — *o* — *a* в одном гласном *a* индоиранских языков. Здесь их ближ-

невосточной теории импонирует гипотеза Семереньи о перестройке индоиранского вокализма из классического индоевропейского под семитским влиянием после 2000 г. до н. э. на Ближнем Востоке [21, с. 19; 45, passim; 52]. С семитским происхождением унифицированного индоиранского вокализма решительно нельзя согласиться. По версии Семереньи, этому влиянию индоиранцы подвергались порознь — сначала митаннийские индоарийцы, позднее — иранцы, что само по себе делает мысль методологически уязвимой: вместо сложного и сомнительного предположения, что и те, и другие, прибывавшие, очевидно, разными и разновременными потоками в Переднюю Азию с Севера, проходили точно одну и ту же обработку вокализма, уже априори проще и убедительнее считать, что ввиду единообразия этой перестройки индоарийский и иранский у ж е п р о в е л и е е прежде, чем появиться в Передней Азии. Ни лингвогеографически, ни хронологически, ни, как увидим далее, типологически, гипотеза Семереньи не выдерживает критики. Особенно важны здесь севернопричерноморские свидетельства: кроме иранских — скифских примеров слияния *е — о — а → а*, которые легко почерпнуть в «Словаре скифских слов» В. И. Абаева (никто ведь не станет всерьез утверждать, что скифы принесли с собой этот феномен как семитское влияние, вернувшись из своего двадцативосьмилетнего похода в Азию), не менее красноречив индоарийский материал к северу от Черного моря. Допуская, что он все еще не очень широко известен в науке, назову по крайней мере несколько примеров из своей картотеки северопонтийских indoarica, выбирая по возможности такие случаи, где, не прибегая к реконструкции, по одной только античной письменной передаче севернопричерноморских indoarica, а также их звуковому соответствию древнеиндийским именам и апеллативам можно документировать наличие *а ← е — о — а* без какой бы то ни было связи с семитской Передней Азией: *Asandi* ~ др.-инд. *āsandī*; Βουτουναιος ~др.-инд. *bhūtanātha-*; Δανδάκη ~др.-инд. *Daṇḍaka-*; Καδουίδας ~др.-инд. *kovida-*; Κορκονδάμη др.-инд. *dhāman*; Μαγαδαυα ~др. -инд. *mahā-deva*; 'Ανάχαρσις ~др.-инд. *maha-*; *ṛṣi-*; Πάλακος ~др.-инд. *Pālaka-*; Σάσας ~др.-инд. *śaśa-*; Σουαρνοί ~др.-инд. *suvárṇa-*; Τάξακις ~др.-инд. *takṣaká-*; Τιργαταώ ~индоар. (Алалах) *Tirgutawiya-*. Даже при несовершенстве античной письменной фиксации бросается в глаза значительная частотность гласного *а* в этих примерах, где есть продолжения и.-е. *е* (**dhē-*, **meĝh-*, **teĥs-*), не говоря об и.-е. *о*. Есть и индоарийская изоглосса, охватывающая Северное Причерноморье (Τιργαταώ) и митаннийский индоарийский (*Tirgutawiya-*, из Алалаха), но допускающая только интерпретацию как занесенная с Севера в готовом виде, с отражением отглагольного прилагательного форманта и.-е. *-teu-* как индоар. *-tav-*. Еще менее правомочна здесь семитская версия генезиса индоир. *а ← е — о — а* у Гамкрелидзе — Иванова, поскольку иначе пришлось бы принимать это явление южнее Кавказа, в арийских диалектах, предположительно обитавших в искомой там индоевропейской прародине в IV—III тыс. до н. э. [21, с. 21], откуда они затем мигрировали в Северное Причерноморье с другими индоевропейскими диалектами, вокализм которых почему-то не испытал названного семитского влияния и продолжал сохраняться в виде *е — о — а* или *е — а*.

Весьма перспективна в этом отношении проблема влияния индоарийских диалектов на севернокавказские языки. Вероятность индоарийских лексических заимствований в этих языках после работ Трубачева допускает Г. А. Климов [53, с. 172]. Так, например, адыг. *шы* «лошадь», абх.-абаз. *а-чъы/чъы*, убых. *чы* «то же» правомерно связывать с др.-инд. *aśva-* «то же», ср. [54, с. 88; иначе ср. 55, т. II, с. 141], при этом существенно не только наличие *е* > *а*, как в обеих индоиранских ветвях, но и индоарийский шипящий рефлекс и.-е. *ḱ* в **eḱuo-*, в отличие от иран. *asva-*, *aspa-*, *assa-*. Аналогичную дифференциальную характеристику можно увидеть в адыг. *ажэ/ачъэ* «козел-производитель», объяснявшемся и ранее как заимствование из индоевропейского, ср. др.-инд. *ajá-*, пехл. *azak*

«коза», см., вслед за Дюмезилем, [49, т. I, с. 58], но мы здесь отметим, кроме индоиран. *a*, специфически индоарийский (*ǰ*), а не иранский (*z*) консонантизм.

О русском аканье

Упрощение вокализма *e* — *o* — *a* → *a*, несомненно, совершилось в Европе и — главное — без затруднений может быть объяснено за счет внутренних средств индоевропейских диалектов. Семереньи заблуждался, полагая, вслед за Хаммерихом, что переход *e* > *a* уникален, лишен аналогии в индоевропейском и что внутренние, структурные аргументы исчерпаны [51, с. 15]. Наука давно располагает данными, позволяющими точно локализовать этот переход как эндемичный в Центральной и Восточной Европе. При этом достаточно сослаться на наличие фонологически тождественных случаев открытого (краткого) *e* = *ä* (коррелирующего с закрытым — долгим — *ē*) в таких разных языках, как литовский и близкий для Семереньи венгерский язык. Далее, сюда имеет самое прямое отношение феномен русского яканья, т. е. *e* = *'a* в безударном положении. Поскольку понятна органическая связь последнего явления с феноменом аканья, т. е. *o* = *a* в безударной позиции (русский, белорусский), реальность и органичность перехода *e* > *a* станут ясными без дальнейших доказательств и без внешнего импульса вроде семитского. Если взвесить, к тому же, серьезное вероятие, что краткое слав. *e*, как и *o*, наоборот, возможно, сменило предшествующее *a* в определенных позициях, например, по концепции Вайяна [56, с. 108 и сл.], ср. опыты записи праслав. *e* — *o* как *ä* — *a* у Мареша (правильнее, видимо, было бы *'a* — *a*), то постепенно начнет вырисовываться подлинная грандиозная картина циклической эволюции вокализма индоевропейских диалектов Восточной и Центральной Европы, эволюции, в которой переходы *e* > *a* получают смысл нормальных рецидивов (обратных переходов) всякого развития. Существенно, что славянский и его диалекты играют в этой общей картине не последнюю роль и, кажется, помогают понять не одни лишь славянские факты. Я имею в виду то, что в ряде русских (южновеликорусских) диалектов практически функционирует — в безударных позициях — вокализм «индоиранского» типа *a*/*'a* на месте *e* — *o*, но из этого ровным счетом ничего не следует ни о возможности индоиранского, ни тем более — семитского влияния, ни, разумеется, о проживании предпраносителей наших диалектов на Ближнем Востоке. Я упомянул выше о рецидивах *e* > *a* не случайно, но с желанием привлечь внимание к этим всплывающим на поверхность потока эволюции реликтам древних данностей. Точно так же мы, например, наблюдаем вторичную тенденцию передней артикуляции иран. *a* > осет. *æ*, *ä* в осет. *хитæллæг* «хмель» и в его отражении в слав. **хъmelь*, иначе было бы **хъmolь* из иран., осет. **хитал-*, см. [57]. Все это вместе говорит об исконности и эндемичности описываемого феномена для Центральной и Восточной Европы.

При обсуждении проблемы на съезде славистов в Киеве мне возражали (К. В. Горшкова), что мое сближение южновеликорусского аканья и унификации индоиранского вокализма носит панхронический характер, а также, что существуют изоглоссная, типологическая, историческая интерпретации аканья, которое, к тому же, принято считать поздним явлением. В мои задачи не входило обозрение русистской литературы по аканью, кроме того, я намеренно затронул аспекты, обычно оставляемые в русистике без внимания. Верно, что аканье фиксируется в относительно поздние века, но это еще ничего не говорит о его генезисе. Симптоматичны поэтому поиски истоков аканья в балтийском субстрате, имея в виду слияние и.-е. *o*, *a* в балт. *a*. Как бы мы ни относились к этому решению, одно это уже углубляет потенциально хронологию поисков на несколько столетий. Ясно, что нельзя смешивать случаи первой фиксации аканья на письме и возможное з а р о ж д е н и е этого явления в языке, во всяком случае называть такую интерпретацию исторической мы не вправе. История и этого явления начинается раньше его письменной истории. Не будут удовлетворительны также изоглоссная и типологическая интер-

претации, если они замыкаются в восточнославянском ареале. Недаром новые подходы славистики к проблеме аканья формулируются как «Общеславянское значение проблемы аканья», как названа известная книга В. Георгиева, В. К. Журавлева, С. Стойкова, Ф. П. Филина, вышедшая в Софии в 1968 году. Слависты указывают параллели русскому аканью на периферии славянского ареала (родопское аканье болгарского, словенских диалектов), а это подсказывает мысль, что и русское аканье есть периферийное явление (в терминах лингвистической географии), т. е., по-видимому, явление архаическое. Вообще целый ряд восточнославянских языковых (фонетических) явлений целесообразно рассматривать как периферийные для всего славянского ареала и архаические. *Нужно допустить, что истоки аканья уходят в древность*, причем нет веских причин видеть в нем действие балтийского или других субстратов. Исследование генезиса явления дописьменной эпохи требует типологического подхода, а типология вообще дает нам право на известную панхронию. В этих условиях значительная дистанция по временно́й вертикали между русским аканьем и индоиранским преобразованием вокализма должна не шокировать, а, напротив, располагать к размышлению (на реплику В. Н. Чекмана — в дискуссии круглого стола — о том, что данные об аканье еще не готовы для использования в исследованиях по этногенезу, пришлось ответить, что в принципе вряд ли наступит время, когда анализ той или иной важной проблемы будет полностью завершен, поэтому нельзя откладывать синтез до столь неопределенного будущего).

Вообще не исключено, что частотность краткого *а* в древнем индоевропейском была гораздо выше, чем обычно думают, к этому подводят некоторые новые продуктивные и смелые разработки генезиса индоевропейского вокализма [58, passim; 59, с. 36—38]. Неапофоническое и фонологически не дифференцированное *а* нам представляется реальной ипостасью древнего неопределенного гласного призвука $\wedge$, постулируемого А. С. Мельничуком до начала всякой апофонии. Разумеется, регулярная *е/о*-апофония — продукт вторичного развития, вытеснившего и.-е. *а* на вторичные (экспрессивные и т. п.) функции. Но эта эволюция никогда не была прямой и полной, она знала и знает возвраты, по которым нужно уметь читать ее прошлое. Мы здесь касаемся только наиболее архаичного — краткостного (а у восточных славян — mutatis mutandis — безударного) вокализма, оставляя в стороне долгие гласные и возможное участие в них ларингальных. В целом же рассмотрение вокалических процессов в тесной связи с консонантными было бы весьма желательно и притом — в большей степени, чем это делалось в нашей науке до сих пор.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowiń, Poznań, 1946.
2. *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław — Krakow, 1957.
3. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— ВЯ, 1982, № 4.
4. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— ВЯ, 1982, № 5.
5. *Королюк В. Д.* К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев.— В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 25.
6. *Jażdżewski K.* Etnogeneza Słowian.— In: Słownik starożytności słowiańskich. T. I. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, s. 456.
7. *Alexander S. M.* Was there an Indo-European art?— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millenia. Ed. by Polomé E. C. Ann Arbor, 1982 (со ссылкой *на Мэллори*).
8. *Кухаренко Ю. В.* Полесье и его место в процессе этногенеза славян.— In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 14—18. IX. 1965. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968, s. 245.
9. *Kurnatowska Z.* [Dyskusja] — In: Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Slawistyczną przy Oddziale PAN w Poznaniu w dniach 8—9. XII. 1978. Warszawa — Poznań, 1980.

10. *Forstinger R.* Rec.: *Győrfy Gy.*, *Hanák P.*, *Makkai L. és Móczy A.* A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. Budapest, 1979.— Zpravodaj Místopisné komise ČSAN, 1981, ročn. XXII, č. 1—2, S. 121.
11. *Топоров В. Н.* Новейшие работы в области изучения балто-славянских языковых отношений (библиографический обзор). — ВСЯ, 1958, вып. 3, с. 145—146.
12. *Hensel W.* La communauté culturelle archéologique balto-slave.— In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej, p. 81.
13. *Chropovský B.*— *Salkovský P.* Novšie archeologické poznatky k riešeniu etnogenézy Slovanov.— In: Československá slavistika, Praha, 1983, s. 152.
14. *Brozović D.* O mjestu praslavenskoga jezika u indoevropskom jezičnom svijetu.— In: Radovi [Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet — Zadar]. Razdio filoloških Znanosti. Sv. 21 (12), Zadar, 1983, c. 12.
15. *Leeming H.* Some problems in comparative Slavonic lexicology.— In: The Slavonic and East European review, 1983, v. 61, N 1, p. 38.
16. *Ванагас А. П.* Проблема древнейших балто-славянских языковых отношений в свете балтийских гидронимических лексем. Препринт. Вильнюс, 1983, с. 23—24.
17. *Мартынов В. В.* Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычных контактов. Минск, 1982, passim.
18. *Откупщиков Ю. В.* Балтийский и славянский.— В кн.: Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. К IX Международному съезду славистов. Сб. статей. Л., 1983, с. 53 и сл.
19. *Markey T. L.* Introduction.— In: On dating phonological change. A miscellany of articles. Ed. by Markey T. L. Ann Arbor, 1978, p. VIII—IX.
20. *Szemerényi O.* Sprachverfall und Sprachtod, besonders im Lichte ind germanischer Sprachen.— In: Essays in historical linguistics in memory of J. A. Kerns. Ed. by Arbeitman Y. L. and A. R. Bombard (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. IV), s. 296 и сл., особ. s. 304.
21. *Гамкрелидзе Т. В.*, *Иванов В. В.* Миграции племен — носителей индоевропейских диалектов — с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии.— ВДИ, 1981, № 2.
22. *Neustupný J.* A propos de la naissance des enceintes fortifiées des Slaves tcheques.— In: Rapports du III[e] Congrès international d'archéologie slave. Bratislava, 7—14 septembre 1975. T. 2. Bratislava, 1980, p. 313.
23. *Meyer E.* Die Indogermanenfrage.— In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968, S. 260.
24. *Labuda G.* Udział Wenetów w etnogenezie Słowian.— In: Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa — Poznań, 1980.
25. *Thomas H. L.* Archaeological evidence for the migrations of the Indo-Europeans.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia, p. 63.
26. *Мартынов В. В.* Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян.— В кн.: Балто-славянские исследования. 1980, М., 1981, с. 16.
27. *Kilian L.* Zu Herkunft und Sprache der Pruβen. Bonn, 1980.
28. *Gimbutas M.* An archaeologist's view of PIE in 1975.— The journal of Indo-European studies, 1974, 2.
29. *Winn Sh. M. M.* Burial evidence and the Kurgan culture in Eastern Anatolia c. 3000 B. C.: an interpretation.— The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 113.
30. *Polomé E. C.* Indo-European culture, with special attention to religion.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia, p. 162 и сл., 169.
31. *Coles J. M.*, *Harding A. F.* The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe c. 2.000—700 BC. London, 1979.
32. *Журавлев В. К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
33. *Gimbutas M.* Old Europe in the Fifth millennium B. C.: the European situation on the arrival of Indo-Europeans.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia.
34. *Gimbutas M.* Die Indoeuropäer: archeäologische Probleme.— In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968
35. *Zanotti D. G.* The effect of Kurgan wave two on the Eastern Mediterranean (3200—3000 B. C.) — The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 275. и сл.
36. *Häusler A.* Zu den Beziehungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, Südost- und Mitteleuropa im Neolithicum und in der frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indogermanische Problem.— Przegląd archeologiczny, 1981, 29.
37. *Häusler A.* Die Indoeuropäisierung Griechenlands nach Aussage der Grab- und Bestattungssitten.— Slovenská archeológia, 1981, XXIX, s. 61, 65.
38. *Schmitt R.* Proto-Indo-European culture and archeology: some critical remarks.— The journal of Indo-European studies, 1974, 2, p. 279 и сл.
39. *Bosch-Gimpera P.* Die Indoeuropäer. Schluβfolgerungen.—In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968 (перевод заключения к книге 1961 г.).
40. *Иванов Вяч. Вс.* К этимологии некоторых миграционных культурных терминов.— В кн.: Этимология. 1980, М., 1982, с. 166.
41. *Maringer J.* The horse in art and ideology of Indo-European peoples.—The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 177 и сл.
42. *Mellaart J.* Anatolia and the Indo-Europeans.— The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 137.
43. *Milewski T.* Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1969, c. 149—150.

44. *Трубачев О. Н.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках (этимологические исследования). М., 1960, с. 15.
45. *Bomhard A. R.* A new look at Indo-European (1).— The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 334 и сл.
46. *Hopper P. J.* Areal typology and the Early Indo-European consonant system.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia, p. 130.
47. *Kortlandt F.* Glottalic consonants in Sindhi and Proto-Indo-European.— IIj, 1981, 23, p. 15 и сл.
48. *Erhart A.* Nochmals zum indoeuropäischen Konsonantismus.— Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1981, 34.
49. *Стеблин-Каменский М. И.* Скандинавское передвижение согласных.— ВЯ, 1982, № 1, с. 48.
50. *Дьяконов И. М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов. I.— ВДИ, 1982, № 3, с. 20.
51. *Szemerényi O.* Structuralism and substratum. Indo-Europeans and Aryans in the Ancient Near East.— Lingua, 1964, 13.
52. *Szemerényi O.* Language decay — the result of imperial aggrandisement? — In: Recherches de linguistique. Hommages a M. Leroy. Bruxelles [б. г., отд. отт.], p. 214.
53. *Климов Г. А.* Несколько картвельских индоевропеизмов.— В кн.: Этимология. 1979. М., 1981.
54. *Кварчия В. Е.* Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском языке. Сухуми, 1981.
55. *Шагиров А. К.* Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков: [I] А—Н. М., 1977; [II] П—I. М., 1977.
56. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Lyon — Paris, 1950.
57. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 8. М., 1981, с. 144.
58. *Мельничук А. С.* О генезисе индоевропейского вокализма.— ВЯ, 1979, № 5—6.
59. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. М., 1981, с. 36—38.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

СОЛНЦЕВ В. М.

ВАРИАТИВНОСТЬ КАК ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ *

Вариативность, или вариантность, и связанные с этим понятием термины «вариант», «инвариант», «варьирование», а также производные от них не являются изначально лингвистическими. Это — междисциплинарные термины, с помощью которых обычно характеризуют структуру, существование и функционирование объектов, принадлежащих к различным сферам действительности. В настоящее время эти термины прочно укрепились и на лингвистической почве, хотя к ним прибегают главным образом в работах, посвященных единицам языка и их функционированию [1].

Несмотря на то, что понятие вариативности все шире проникает в исследовательский процесс в лингвистике, многие связанные с ней вопросы все еще недостаточно изучены. Так, если понятие вариантов и инвариантов после работ представителей Пражского кружка и ряда других лингвистических школ как будто прочно вошло в фонологию [2], то их использование в других сферах лингвистики пока недостаточно устоялось. Само содержание этих понятий применительно к языку нуждается в уточнении; дальнейшего исследования требует также онтологический статус языковых вариантов и инвариантов, в частности, их отношение к языку и речи и место вариантов и инвариантов в уровневой иерархии языковых систем.

Целью настоящей статьи является рассмотрение вариативности как общего свойства, заложенного в самом «устройстве» языковой системы, как способа существования и функционирования всех без исключения единиц языка, обнаруживающего специфические черты в пределах каждого уровня. По ходу изложения будет предпринята попытка уточнения содержания понятий «вариант» и «инвариант» применительно к единицам разных уровней языковой системы.

Насколько можно судить по литературе, в лингвистике понятие вариативности (вариантности) используется двояко. Во-первых, как характеристика всякой языковой изменчивости, модификации, которая может быть результатом эволюции, использования разных языковых средств для обозначения сходных или одних и тех же явлений или результатом иных причин [3]. При таком понимании отпадает необходимость в противочлене вариативности — инвариантности. В этом случае имеются только варианты, но нет инвариантов. Во-вторых, понятие вариативности исполь-

* Настоящая статья представляет собой дальнейшее развитие ряда идей, изложенных в книге [1], а также ставит ряд новых проблем, связанных с теорией вариативности.

[1] Понятие вариативности часто используется в социолингвистике, особенно в связи с понятием нормы (вариативность как отклонение от нормы) и в ряде других случаев. В настоящей статье социолингвистическое понятие вариативности и связанные с ней проблемы не рассматриваются.

[2] А. Мартине утверждал, что «противопоставление вариантов и инвариантов было установлено в плане выражения пражскими фонологами, а также Даниэлем Джоунзом и его учениками. Инварианты получили название фонем» [2]. Р. Якобсон и М. Халле полагали, что «фонемный анализ есть изучение свойств, которые при определенных преобразованиях остаются инвариантными» [3].

[3] Такое использование понятия вариативность, например, содержится в интересной статье А. М. Камчатнова, где автор изучает «множество различий в языковых средствах выражения», которые обнаруживаются «в различных списках одного и того же памятника» [4].

зуется как характеристика способа существования и функционирования единиц языка в синхронии. В этом втором случае, особенно в фонологических исследованиях, понятие варьирования выступает на фоне понятия инвариантного, неизменного. Здесь термину «вариант» сопутствует термин «инвариант». Из фонологии это второе использование понятия вариативности позднее было перенесено и на другие сферы лингвистики. «Вариантно-инвариантный» подход к изучению языковых единиц привел, как известно, к созданию двух рядов терминов — эмических и этических, которые образуют пары: морфема — морф (алломорф); фонема — фон (аллофон); лексема — лекса (аллолекса) и т. д. Первые члены пар используются для обозначения единиц-инвариантов, вторые — для единиц-вариантов, хотя содержание этих последних понятий, онтологический статус инвариантов и вариантов в языке, правомерность изоморфного рассмотрения единиц разных уровней с точки зрения вариантности — инвариантности, как уже отмечалось выше, составляет предмет дальнейших исследований.

Понятия варьирования, вариантности, вариантов в лингвистике и, видимо, в научном обиходе вообще, появились раньше понятия инварианта [4]. В общем виде под «инвариантностью» понимается «свойство величин, уравнений, законов оставаться неизменными, сохраняться при определенных преобразованиях координат и времени» [6]. Это свойство служит основанием вывода инвариантов — некоторых абстрактных сущностей, в которых отображается то общее, что на данном временном срезе характеризует какую-либо группу, или класс тех или иных объектов: «Выделяя инвариант большой группы объектов, мы приходим к абстракции — собирательному понятию, охватывающему всю группу в целом» [7].

Конкретные объекты, составляющие группу, или класс, по отношению к которым может быть выведен инвариант, являются вариантами. При таком понимании инвариантов и вариантов они предполагают друг друга и не могут существовать друг без друга. Сама идея вариативности предполагает изменчивость, модификацию чего-либо при сохранении некоторых сущностных свойств этого «чего-либо», остающегося «самим собой». Следовательно, вариативность — это не просто изменчивость, но такая изменчивость, или модификация, которая не ведет к появлению новой сущности. Вариативность, таким образом, предполагает и изменчивость, и постоянство, выступает как единство изменчивого и постоянного.

Нетрудно видеть, что и при первом понимании вариативности, когда используется вариант без понятия инвариант, имплицитно так или иначе берется некоторая «точка отсчета» для варьирования, нечто постоянное, например, какое-то понятие, получающее разное обозначение в различных списках одного и того же текста. Второе понимание вариативности, если угодно, представляет собой развитие и углубление первого понимания, введение в лингвистику общих принципов теории вариативности — инвариантности. И в этом заслуга тех направлений структурной лингвистики, которые это осуществили. Другое дело — наличие в теории лингвистической вариативности еще многих открытых вопросов, которые предстоит решать или уточнять.

Один из наиболее важных моментов в теории вариативности состоит в том, что инвариант — это всегда абстракция, понятие, в котором отображены общие свойства класса объектов, присущие этому классу в данный отрезок времени. Инвариант не существует как отдельная конкретная вещь. Это не представитель класса, не эталон. Инвариант — сокращенное название класса относительно однородных объектов.

В окружающем нас материальном мире инвариантов как таковых не существует. Существуют общие свойства у групп предметов, на основании которых объекты группируются и классифицируются и которые отображаются в понятии (значении), именуемом инвариантом.

---

[4] Любопытно в этой связи отметить, что в «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо есть статья «вариант», но нет статьи «инвариант» [5].

Объекты, составляющие класс и являющиеся вариантами по отношению к инварианту (понятию о классе в целом), несут в себе черты общего (общеклассного) и отдельного, характерного только для данного объекта. Иначе говоря, объекты объединяются в класс благодаря существенно общим чертам и различаются сравнительно маловажными деталями. В силу этого они представляют собой проявление «одной и той же» сущности (например, каждое дерево из всего класса деревьев обнаруживает сущность «древесности», в отличие от трав, обладающих другой сущностью — «травностью», и т. д.). Конкретные объекты-варианты, хотя и являются проявлением «одной и той же» сущности, имеют отдельное существование и относительно самостоятельное взаимодействие с окружающей средой. Это создает предпосылки приобретения некоторыми объектами-вариантами таких свойств, которые «отрывают» их от того класса (вариантного ряда), в который они входят, и превращают их в новые сущности. А это уже «необратимое» изменение, а не варьирование «одной и той же сущности». Тем самым в самом явлении варьирования заложена возможность изменения и развития.

Поскольку каждый вариант как член какого-либо вариантного ряда несет в себе общеклассное свойство, являет собой единство общего и отдельного, инвариантного и вариантного, то при определенных условиях возможно отвлечение от противопоставления инвариантного и вариантного. По-видимому, этим можно объяснить, почему во многих лингвистических работах обходятся без специального противопоставления инвариантов и вариантов. Во многих же случаях «алло-эмическая» терминология (два ряда терминов) избавляет исследователя от необходимости обращаться к понятиям вариантов и инвариантов.

Проблема вариативности в лингвистике встает во весь рост в следующих случаях: а) при изучении «механизма», «устройства» языка, которое можно назвать вариантно-инвариантным; б) при изучении функционирования языка и перехода от языка к речи; в) при исследовании внутриязыковых факторов изменения и развития языка (варьирование и превращение вариантов в новые сущности); г) при потребности объяснить разный облик «одних и тех же единиц» или их форм (*лиса — лисица*, *скирд — скирда*, *трактора — тракторы*), объяснить различного рода чередования под влиянием разных факторов (/ч/ и /ж/ в русск. *бегу — бежишь*, /s/ и /ʒ/ в англ. *hats* и *pens* и т. п.); д) при социолингвистическом изучении варьирования нормы и использования разных проявлений одних и тех же единиц в стилистических, экспрессивных и нормообразующих целях. Сказанное, вероятно, не исчерпывает всех случаев, когда возникает надобность прямого обращения к понятию вариативности. Но это, быть может, наиболее важные случаи.

Рассмотрим теперь более подробно ряд вопросов из числа названных выше и одновременно попытаемся бросить взгляд на проблему языковой вариативности в целом.

Вариантно-инвариантное строение языка моделирует вариантно-инвариантное строение мира. Подобно тому, как в окружающем человека мире предметы (объекты) группируются в объективные классы, или множества, на основе общности своих существенных свойств, так и основные единицы языка группируются по общности своих свойств в определенные классы, или множества. Эти объективные множества отображаются в сознании людей, познающих внешний мир, в виде понятий-абстракций: «дерево» («дерево вообще»), «лошадь» («лошадь вообще») и т. д. Языковые объекты (единицы) также отображаются в виде абстракций: «фонема» («фонема вообще»), «морфема» («морфема вообще»), «слово» («слово вообще») и т. д. Подобно тому, как конкретная лошадь есть разновидность «лошади вообще», так и в языке отдельные слова (*дом*, *книга* и т. д.) суть разновидности «слова вообще», а отдельные фонемы, например, «фонема М» суть разновидности «фонемы вообще». В соответствии с вариантно-инвариантным подходом «лошадь вообще» есть абстракция, инвариант, а каждая конкретная лошадь — вариант относительно данного инварианта. Аналогично в языке, например, «слово вообще» есть инвариант, отоб-

ражающий общее качество «словности», воплощенной в каждом слове (качество, которое, например, можно определить так: «двусторонняя единица языка, обладающая синтаксической самостоятельностью»).

Следует, однако, отметить одно важное различие сравниваемых явлений. Если конкретная лошадь или любой другой предмет существует лишь в одном экземпляре (единственном и неповторимом), то любое отдельное слово (как и любая единица языка), например, *дом*, *книга* и т. п. существует в неограниченном количестве экземпляров (каждый из нас произносит эти слова бесчисленное количество раз). При этом слово остается «тем же самым словом», хотя реально произнесенные в разное время или одновременно разными лицами слова — это «телесно» разные вещи. Речь идет о том, что в данном случае слово во всех экземплярах — это качественно «одна и та же вещь» (о «качественном» и «телесном» понимании вещи см. [8]). Кроме того, такая единица, как слово, может выступать в разных формах (*книга*, *книге*, *книгой* и т. д.), оставаясь сама собой (слово как единство своих форм, согласно концепции школы Щербы — Виноградова).

«Экземплярность» и «серийность» обнаруживаются в так называемой «рукотворной» действительности, т. е. являются результатом человеческой деятельности (экземпляры одной книги, автомашины одной марки и т. д.), при этом у разных созданных людьми объектов характер «экземплярности» различен. Так, у объектов, не имеющих семиотических свойств, разные «экземпляры» (например, автомашины одной марки) — это разные объекты, о которых нельзя сказать, что они в качественном смысле образуют «одну и ту же вещь» (если только не рассматривать их сквозь призму очень высокой степени абстракции — «автомобиль вообще»).

Что же касается объектов, обладающих семиотическими свойствами (например, книга, листовка и т. д.), то их экземпляры — это «телесно» разные объекты, но в качественном смысле представляющие собой одну и ту же вещь. Аналогично и отдельные «экземпляры» слова (*дом* [1], *дом* [2], *дом* [3] . . . и т. д.) — это телесно разные вещи, могущие одновременно существовать в разных точках пространства, хотя качественно они образуют одно и то же слово. Такого рода экземплярность единиц языка, а также существование одной и той же единицы в виде разных форм создают специфику языковой вариативности. Само бытие отдельной единицы языка есть ее варьирование, есть сосуществование множества ее вариантов. В вариантности единиц языка проявляется вариантно-инвариантное устройство всей языковой системы.

Единицы языка, например, фонема, морфема и слово (лексема) по сути дела представляют собой краткие наименования множеств реальных экземпляров, в виде которых они существуют. Сокращенно обозначая эти множества, указанные единицы (как и другие единицы) суть абстракции, а не чувственно воспринимаемые конкретные объекты. Фонему, морфему и слово как таковые еще никто никогда не слышал и не произносил. То же относится и к отдельным фонемам, морфемам и словам (ср., например, «фонема А», «морфема *красн-*», «слово *дом*»). Произносят и слышат лишь один из конкретных вариантов (экземпляров) «фонемы А», «морфемы *красн-*», «слова *дом*». Здесь мы имеем дело с положением, аналогичным описанному Ф. Энгельсом в полемике с ботаником Негели: «Это точь-в-точь как указываемое Гегелем затруднение насчет того, что мы можем, конечно, есть вишни и сливы, но мы не можем есть *плод*, потому что никто еще не ел плод как таковой» [9]. Продолжая изложенную здесь мысль, укажем, что можно есть только конкретные вишни и сливы, но не «вишню вообще» или «сливу вообще», которые в свою очередь суть абстракции по отношению к конкретным вишням и сливам, хотя и меньшей степени обобщения, чем плод как таковой.

Особенность словесных единиц (как слов обиходного языка, так и научных терминов) состоит в том, что мы одним и тем же словом можем обозначить и абстракцию (плод вообще), и чувственно воспринимаемый конкретный предмет (конкретный плод вишни, сливы, яблони и т. д.). Термин «морфема» мы можем использовать, когда говорим о членении конкретного слова на значимые части. Так, мы говорим о морфемном составе

слова *учи-тель-ниц-а*, хотя, как известно, реальное слово состоит из морфов (алломорфов). Аналогично мы говорим о фонемном составе звуковой оболочки конкретного слова, хотя она состоит из фонов (аллофонов) или из реальных звуков и т. д. При необходимости мы, конечно, можем прибегнуть и к «этической» терминологии. Возможность один и тот же объект обозначить как «эмическим», так и «этическим» термином, отражает тот факт, что вариант, или экземпляр языковой единицы, есть форма ее реального бытия. Вариант фонемы — это не что иное, как конкретная фонема, а вариант морфемы — конкретная морфема и т. д. О. С. Ахманова в свое время отмечала, что «...фонема и вариант в известном смысле представляют собой о д н о и т о ж е: один и тот же звук, видоизменяющийся в зависимости от условий его функционирования в речи» [10]. Использование слова или термина, обозначающего по своей природе абстракцию, понятие о множестве конкретных объектов для обозначения одного из конкретных объектов Ш. Балли называет актуализацией. В метаязыке лингвистики для обозначения абстракций используются, как уже указывалось, эмические термины, а для обозначения конкретных объектов, множества которых отображены в этих абстракциях, используются этические термины. В то же время метаязык лингвистики, обладая всеми свойствами человеческого языка, может, не прибегая к «алло-эмической» терминологии, актуализировать эмические термины и обозначать ими конкретные сущности, как это мы видели выше.

Во многих работах говорят не только об эмических и этических терминах, но и об эмических и этических единицах, которые распределяют по разным уровням [11]. Если понимать уровни в онтологическом смысле, а не как «уровни рассмотрения» [12], то разносить эмические и этические единицы по разным уровням неправомерно. Эмические единицы — это абстракции, представляющие собой краткое название классов конкретных экземпляров (a^1, a^2, a^3, a^4. . .), принадлежащих одному уровню и обозначаемых этическими терминами. Поэтому фонема и фон, морфема и морф и т. д. это не единицы разных уровней, а одна и та же единица, рассматриваемая то как абстрактная сущность — инвариант (сокращенное обозначение класса), то как конкретная единица — вариант (член и представитель класса).

Противопоставленность эмических и этических терминов нередко связывают с противопоставлением языка и речи. Считают, что речь состоит из этических единиц, а язык из эмических. Если перефразировать это утверждение, то можно сказать, что речь состоит из вариантов, а язык из инвариантов. В этом утверждении имеется нечто бесспорное и нечто весьма сомнительное. Бесспорно то, что речь вариантна по своей природе. Если вспомнить соссюрианский принцип линейности речи и сопоставить его с принципом экземплярного существования всех единиц языка, то становится очевидным, что одно место в речевой цепи может быть занято лишь одним экземпляром, т. е. вариантом. (Нельзя на одно место в речевой цепи одновременно поместить два разных варианта фонемы, или два разных морфа, объединяемых в одну морфему). Но верно ли считать, что язык состоит из абстракций (инвариантов), лишенных чувственной данности? Если считать язык реальным средством общения, то вряд ли можно принять, что он лишен чувственной данности. Признать, что язык состоит из абстрактных единиц можно, на мой взгляд, только в рамках понимания языка как «системы классификации» (такова, например, концепция копенгагенской школы; в советской лингвистике об этом писал В. А. Звегинцев [13]). На мой взгляд, язык есть именно средство общения, а речь — применение, использование этого средства. Речь — это язык в действии, в функционировании. Поэтому язык состоит из того же, из чего состоит речь,— из конкретных экземпляров языковых единиц, но представленных в виде множеств. Единицы языка — это классы (множества экземпляров) вполне конкретных и чувственно воспринимаемых единиц. При переходе к речи используется одна из этого множества единиц. Что касается абстрактных единиц, то они лишь наименования этих классов. Они — «меры классификации». Эти наименования необходимы при лингвистическом

воссоздании (моделировании) в описаниях языковых систем. Данностью для лингвиста является речь, т. е. функционирующий в виде речи язык. В каждом речевом акте используется, однако, лишь часть языковых средств. Для воссоздания (моделирования) объективной языковой системы, полностью представленной во всех актах речи, нужны обобщения (т. е. образование абстракций) и классификации. При этом эмические единицы играют свою организующую роль. И. А. Бодуэн де Куртенэ писал, что «лингвист не имеет перед глазами строя даже живых языков (хотя и слышит их звуки) и должен только через сопоставления и разные научные соображения составить себе о нем понятие...» [14].

Как отмечалось выше, вариативность языковых единиц не сводится к их экземплярности и не исчерпывается ею. Существует много источников и видов вариативности. Вариативность в языке тесно связана с парадигматическим строением языковой системы, с объединением единиц языка в различные парадигмы, или классы. При этом экземплярность оказывается одним из частных случаев парадигматики, образующей самые низовые, базовые парадигмы языка. Так, множество экземпляров отдельной единицы, например, фонемы /к/, образует своего рода низовую, или малую, парадигму — класс звуков, физически сходных (берутся сильные позиции) и функционально тождественных. Такой класс представляет собой отдельную фонему. Наборы отдельных фонем образуют классы фонем (например, класс согласных и класс гласных фонем). Названиями указанных классов являются термины «согласная фонема» и «гласная фонема». Они выступают как инварианты для этих классов. Соответственно отдельные согласные фонемы являются вариантами, составляющими класс (или парадигму) согласных фонем. Аналогично обстоит дело и с гласными фонемами. Такой класс можно назвать большой парадигмой. Оба эти класса вместе составляют весь фонемный инвентарь языка, который можно определить как сверхкласс, или сверхпарадигму. Его сокращенное название — «фонема вообще», которая и выступает как инвариант сверхкласса всех отдельных фонем. Вариантами по отношению к данному инварианту выступает любая фонема языка.

Нечто сходное мы наблюдаем и среди других единиц языка. Так, каждое отдельное слово, например, *стол*, *стул*, *книга* и т. д., существуя в виде множества экземпляров, есть инвариант по отношению к реально произносимому (и воспринимаемому) слову-варианту. Множества отдельных слов могут группироваться в разные классы, например, в грамматические классы — части речи. Названия этих классов («существительное», «глагол» и т. д.) суть некоторые абстрактные единицы и инварианты по отношению к членам этих классов, которые выступают как варианты по отношению к соответствующим абстрактным единицам (существительному, глаголу, прилагательному и т. д.) [5]. С этой точки зрения такие разные слова, как, например, *стол* и *книга*, обладающие разным лексическим значением, оказываются вариантами абстрактной единицы «существительное». Общим, инвариантным для этих слов является их общее грамматическое значение и те грамматические свойства, которые определяются этим значением. Если же взять эти слова как разные лексические единицы и обратить внимание на различие их лексических значений, то в этом плане они оказываются разными сущностями. Итак, мы видим, что слово *стол* — это инвариант по отношению к конкретно употребленной в речи единице *с-т-о-л* и вариант по отношению к абстрактной единице «существительное». Это слово может быть оценено как инвариант по отношению к своим словоформам: *стол-а*, *стол-у*, *стол-ом* и т. д., которые выступают как разные варианты одного и того же слова *стол*.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что а) категории «вариант» и «инвариант» относительны и б) инварианты характеризу-

[5] Такие абстрактные единицы хорошо видны из известного примера Л. В. Щербы «глокая куздра штеко бокра бодланула...», где в псевдословах отсутствует лексическая информация, но сохранена грамматическая, позволяющая охарактеризовать псевдослова как «существительные» («куздра», «бокр»), «прилагательные» («глокая»), «наречия» («штеко») и «глаголы» («бодланула»).

ются разной степенью абстрактности и обобщенности. Уровень абстракции зависит от объема того класса, который охватывается данной абстракцией. Так, единицы языка в одном отношении могут образовывать вариантный ряд и допускать выведение инварианта (*стол* и *стул* — грамматически однородные единицы, варианты существительного); в другом — не образуют вариантного ряда (*стол* и *стул* как разные лексические единицы).

Как уже подчеркивалось, инварианты как реальные единицы языка не существуют. Это — воображаемые словами понятия, в которых отображаются общие свойства чувственно воспринимаемых единиц — конкретных экземпляров. Именно эти конкретные экземпляры и образуют материальную данность языка. Инварианты всех степеней — это своего рода лишь идеальная надстройка, отображение в человеческих понятиях различных, но вполне реальных свойств конкретной отдельной единицы. Инвариаты выводятся в процессе изучения языка. Поэтому на основе одной и той же конкретной единицы можно вывести инварианты разных степеней абстрактности относительно множеств таких единиц. При иллюстрации инварианта с помощью одного из вариантов мы фактически имеем дело не с инвариантом, а с одним из вариантов. Как уже говорилось, каждый вариант имеет в себе инвариантные черты. Так, в конкретном предложении *На моем столе слева от меня — лампа* конкретное слово *лампа* есть а) конкретный экземпляр-вариант (аллолекса, лекса); б) название всех экземпляров этого слова (инвариант первой степени абстракции); в) образец существительного, определяемый как «существительное» (вторая степень абстракции); г) образец слова вообще, определяемый как «слово вообще» (третья степень абстракции). К этому можно добавить, что слово *лампа* как одна из словоформ парадигмы форм есть вариант слова *лампа* как единства форм.

Инварианты в лингвистике, как, впрочем, и других областях,— это понятия, с помощью которых люди категоризуют и упорядочивают конкретные объекты (или единицы, из которых состоят объекты). Группировка единиц в классы и придание наименований этим классам фактически уже есть операция вывода инвариантов. Тот, кто ввел понятия «существительное», «глагол» и т. д., уже вывел инварианты, хотя и не пользовался этим термином. Создатели алфавитов, обозначая буквами классы экземпляров звуков (буква А для $А^1$, $А^2$, $А^3$. . .), использовали инвариантные свойства звуков.

Вариантно-инвариантные отношения характеризуют отношения парадигм как целых классов и их членов, а также отношения разных по объему парадигм (разумеется, парадигм объектов с существенно общими свойствами) друг с другом (отношения вхождения малых парадигм в большие).

Парадигматические отношения существуют в виде вариантно-инвариантных отношений: отношения между членами одной парадигмы — это отношения вариантов между собой, а отношения парадигмы как целого к членам парадигмы — это отношения инварианта и вариантов.

Какие свойства конкретных языковых единиц берутся за основание вывода инвариантов, т. е. на основании каких свойств осуществляется их группировка и классификация? Самые общие свойства, которые имеются у единиц языка,— это звучание, значение и функция (или функции). Эти свойства по-разному распределяются между односторонними и двусторонними единицами языка. Односторонние единицы имеют только звучание и функцию. Именно эти два свойства берутся за основу при объединении конкретных используемых языком звуков в фонемы и при группировке фонем в классы. Фонема, как известно, есть класс функционально тождественных и фонетически (материально) сходных звуков, хотя некоторые фонологические школы не считают, что для вывода фонем (= инвариантов) необходимо фонетическое сходство. Но как бы то ни было, все направления фонологии сходятся на признании обязательности для вывода фонем наличия функциональной общности и обусловленной ею одинаковости противопоставленности классифицируемых звуков другим

звукам. Так обстоит дело на фонемном уровне. Иная картина на других уровнях, которые образуются двусторонними единицами. Здесь единицы, помимо звучания и функции, имеют еще и значение. При этом на данных уровнях обнаруживается чрезвычайно важное отличие от фонемного уровня. Если на фонемном уровне функция единицы, т. е. ее использование для смыслоразличения и смысловыражения, а также ее противопоставленность другим единицам непосредственно зависит от материальных (фонетических, акустико-артикуляторных) свойств этой единицы, то на уровнях двусторонних единиц функция единицы связана не с ее материальной, звуковой стороной, а со значением единицы и определяется характером и типом значения (под значением понимается весь комплекс разных значений, которыми обладает единица). Что же касается звучания, то на этих уровнях для функциональных свойств единиц оно нерелевантно и лишь опосредованно и косвенно связано с функциями единиц. На морфемном уровне функция единицы непосредственно связана со значением. На словесном уровне отношение значения и функции опосредуется грамматической формой (единство звучания и грамматического значения), которая иногда сама непосредственно выступает как основание группировки конкретных слов в классы, т. е. как основание для вывода инвариантов. Например, в европейской лингвистической традиции наличие грамматических форм склонения или, соответственно, спряжения служит основанием для объединения слов соответственно в классы «существительное» и «глагол». Грамматическая форма, в конечном счете, есть внешнее проявление того или тех значений, которые присущи слову. Она обязательно имеет значение, которое и определяет функцию этой формы и, тем самым, функции слов. Грамматическая форма лишь несколько затемняет тот факт, что на уровне таких двусторонних единиц, как слова, именно значение регулирует функциональные свойства единицы, причем как синтаксические, так и морфологические.

Чем выше уровень языковой системы, тем сложнее те основания, по которым можно объединять единицы в классы. Так, при группировке слов в части речи нужен набор их разных грамматических свойств (функциональных свойств). Если взять лишь одну какую-либо грамматическую функцию, то она может оказаться неспецифической, т. е. общей для слов, входящих в разные грамматические классы (части речи). Так, и глагол, и существительное могут выполнять одни и те же синтаксические функции, например, выступать в роли подлежащего. Поэтому одной какой-либо функции для объединения единиц в классы на уровне слов недостаточно.

На синтаксическом уровне при установлении вариантов одного и того же предложения приходится учитывать ряд факторов: а) общее структурное значение схемы, или модели, по которой образовано предложение, б) наличный лексический состав и синтаксические функции слов (а также их функциональные значения) [6], в) порядок расположения компонентов и его влияние на синтаксические отношения и функции слов, г) введение или опущение служебных слов. Выявление вариантов одного и того же предложения фактически есть, с одной стороны, выявление различий между инверсиями расположения компонентов предложения (вообще видоизменениями одного и того же предложения, не ведущими к появлению нового типа предложения), и трансформациями (т. е. такими перестройками предложения, которые ведут к появлению иного типа предложения или вообще иной синтаксической конструкции) — с другой. Различение же инверсий и трансформаций имеет важное значение для а) изучения типов предложений и пределов их варьирования и б) изучения вопросов так называемого актуального членения предложения.

---

[6] Приобретаемые словами только в предложении в определенных функциях (подлежащего, дополнения, сказуемого и т. д.) значения субъекта, объекта, адресата и т. д.

Итак, на уровне односторонних единиц функция неразрывно связана с материальными свойствами единицы [7], а на уровне двусторонних единиц — со значением. Звуковая сторона двусторонних единиц нерелевантна при объединении единиц в классы и выводе инвариантов, поскольку она лишь косвенно связана с функциями таких единиц. Она выступает как носитель, но не создатель функциональных свойств этих единиц.

Выведение инвариантов возможно, как об этом говорилось в начале статьи, лишь в отношении объектов (единиц), обладающих общими свойствами, причем такими, которые составляют существо данных объектов (единиц) или существенны для них в каком-либо отношении.

На уровне двусторонних единиц, где основаниями выведения инвариантов являются значения и определяемые ими функции, значение должно быть общим для групп единиц и должно достаточно ярко проявляться в функциональных свойствах всех единиц той или иной группы. Обычно таким свойством обладают грамматические значения. Лексические значения индивидуальны и неповторимо закреплены лишь за отдельными словами.

Что видоизменяется при варьировании языковых единиц и что остается неизменным? На фонемном уровне при варьировании единиц видоизменяются их материальные, физические свойства, а неизменными остаются их функциональные свойства и те противопоставления, в которые они входят в данной языковой системе. Если же происходит изменение функциональных свойств и противопоставленности той или иной группы конкретных звуков, то наступает конец их варьированию и возникает новая единица (новая фонема).

На уровнях двусторонних единиц, как и на фонемном, при варьировании обычно изменяется звуковой облик при сохранении функциональных свойств и определяющих их значений. Однако на этих уровнях звуковое варьирование в ряде случаев оказывается связанным с видоизменением значимой стороны единиц. Более того, здесь возникает проблема варьирования самих значений при неизменности звуковой стороны единиц. Примером варьирования звуковой стороны при сохранении тождества значений могут служить уже приводившиеся алломорфы морфемы множественного числа в англ. языке /s/ и /z/ в словах *hats* и *pens*. Примером же варьирования звуковой стороны, которое связано с видоизменением смысловой стороны, являются случаи морфонологических чередований типа русск. *бегу — бежишь*, *сплю — спишь*, а также разных словоформ одного и того же слова как единства своих форм (*дом-а*, *дом-у* и т. д.). При звуковых чередованиях в корне (*бег-*, *беж-*) данные звуковые различия (/г/ — /ж/) в современном русском языке, как известно, лишь «сопровождают» различия, присущие разным грамматическим формам соответствующих слов. Эти различия закреплены в корнях ряда слов исторически и с точки зрения сегодняшней синхронии не обязательны для выражения в словах разных частных грамматических значений. Их нет у большинства русских глаголов (*иду — идешь*, *читаю — читаешь* и т. д.). Что же касается звукового варьирования за счет использования в слове разных формантов, выражающих разные частные грамматические значения, то здесь изменение звукового облика связано с изменением одного из компонентов грамматического значения слова, а именно одного из частных грамматических значений, при сохранении во вновь образуемой словоформе того же самого лексического и общеграмматического значения (как части речи). Достаточно ли общности лексического и общеграмматического значений для признания ряда словоформ вариантами одного и того же слова? Вероятно, да. Единство слова, выступающего в разных своих формах, подтверждается следующими соображениями. Формы, выражающие частные грамматические значения, исторически изменчивы и подвижны. Они могут исчезать или появляться (в связи

[7] Здесь не место касаться достаточно сложного вопроса о том, почему именно данное, а не другое реальное физическое свойство звука наделяется функциональной значимостью в том или ином языке. То, что функционально используется в одном языке, может не иметь функциональной значимости в другом.

с падением и нарождением морфологических систем) при сохранении словом своего лексического и грамматического значений, которые изменяются неизмеримо медленнее (ср., например, падение склонений и спряжений в германских языках, нарождение видо-временных форм глагольного словоизменения в так называемых изолирующих языках Восточной и Юго-Восточной Азии — тайском, кхмерском, вьетнамском, китайском и т. д.). Тем самым в истории языков мы наблюдаем, что одно и то же слово то «одевается» в одежды частных грамматических категорий, то сбрасывает их с себя и приобретает новые. Межъязыковые сопоставления показывают, что «высокоизменяемому» слову одного языка нередко соответствуют «малоизменяемые» или вообще не изменяемые слова других языков (русск. *дом*, англ. *house*, кит. *фанцзы*). Соответствие же лексических и общеграмматических значений, наоборот, как правило, имеет место.

Слабой стороной концепции слова как единства форм, по-видимому, является не всегда четкая очерченность системы форм, образующей одно слово. Связано это, в частности, с тем, что во многих языках форманты (аффиксы) совмещают в себе формообразующую и словообразующую функцию. Как мне уже приходилось отмечать [1, 2-е изд., с. 226] в рамках концепций, не считающих разные «однокорневые» словоформы принадлежностью одного слова, такие словоформы нельзя считать членами вариантного ряда [8].

В рамках частных грамматических значений как будто можно говорить об инвариантном значении и вариантах значения. Так, значения разных падежей в каком-либо языке могут быть рассмотрены как варианты значения падежа вообще, значения разных личных форм глагола — как варианты значения лица вообще, разные видовые формы — как варианты значения вида и т. д. Более того, в рамках материально одного и того же форманта иногда обнаруживаются как бы оттенки одного и того же значения. В китайском языке и при глаголах, и при прилагательных встречается один и тот же формант — суффикс *-ла* [9]. Этот суффикс при глаголах выражает значение совершенного вида (по мнению некоторых китаистов, также и прошедшего времени). При прилагательных этот формант передает значение становления нового качества или перехода к новому качеству. Например, *чыла* «поел», *цзоула* «ушел»; *дала* «стал большим» (*да* «большой»), *гаола* «стал высоким» (*гао* «высокий») и т. д. В обоих случаях в значении этого суффикса содержится идея перехода субъекта действия или носителя признака в некоторое новое состояние (*цзоула* «стал ушедшим», *чыла* «стал поевшим»). Именно наличие этого общего значения оставляет открытым вопрос, один ли это суффикс с вариантами значения или же в современном китайском перед нами уже два суффикса-омонима?

Гораздо сложнее вопрос о варьировании лексических и общеграмматических значений и о возможности вывода в сфере этих значений инвариантов. Распространено мнение, что у материально одного и того же слова могут быть разные лексико-семантические варианты. Пределом лексико-семантического варьирования выступает омонимия [17]. А. И. Смирницкий считал, что разные значения материально одной и той же единицы *shade* «тень» и «оттенок», как и слова *man* «человек» и «мужчина», являются вариантами [18]. Если соответствующие значения суть варианты, то возникает вопрос — варианты чего? Можно ли вывести и назвать некоторый инвариант для значений *тень* и *оттенок*, *человек* и *мужчина* и т. п.? Трудность здесь заключается прежде всего в том, что лексические значения слов по своей природе сами инвариантны. В лексических значениях как в понятиях или в «умственных вещах» отображены множества конкретных предметов, действий, качеств и т. п. В лексических значениях отображена с большей или меньшей степенью

[8] Л. Блумфилд считал, что такие английские словоформы, как *book*, *books* или *do*, *does*, *did*, *done*, «являются различными языковыми формами, а следовательно, и различными словами» [15].

[9] В китайском языке глаголы и прилагательные, как известно, грамматически сближены [16].

верности объективная категоризация мира, постигаемая общественным сознанием данного языкового коллектива. Инвариантны по характеру и общеграмматические значения, в «обрамлении» которых существуют лексические [существительность (предметность вообще), глагольность (действие вообще), прилагательность (качество вообще) и т. д.]. Какое значение может быть в свою очередь инвариантом для этих инвариантов самих по себе? Если мы возьмем значения «тень и «оттенок», «человек» и «мужчина», то каждое из них уже есть инвариант для классов разных явлений: значение «тень» — инвариант для класса одних явлений («повторяющее форму предмета его изображение на закрытом от света этим предметом месте», а значение «оттенок» — инвариант для класса совсем других явлений («разновидность цвета», «разновидность чего-либо»).

Несомненно, что разные значения указанных слов семасиологически связаны. Но эти значения, вообще, как и другие новые значения слов, отображают какие-то новые классы реалий. Это значит, что при развитии лексических значений происходит образование *инвариантов*, а *не* вариантов старых значений. Исходя из таких соображений, по-видимому, целесообразно считать, что новые лексические значения не являются вариантами исходного и не находятся с ним в отношении варьирования. Они как бы аккумулируются в слове и наслаиваются друг на друга [1, 2-е *изд.*, *с.* 228]. Пока новые значения ясно осознаются как семасиологически связанные, речь идет о значениях одного и того же слова, о многозначности. При утрате связи между значениями, видимо, надо говорить об омонимии. Омонимия, с этой точки зрения, есть предел семантического развития многозначного слова.

Проблема варьирования двусторонних единиц, конечно, не может решаться так же, как проблема варьирования односторонних единиц. Нельзя не согласиться с О. Н. Трубачевым, когда он возражает против переноса из фонологии на лексикологию и семантику опытов структурирования словарного состава и значений слов по образу и подобию фонологии [19, с. 135 и сл.]. Главным препятствием для такого переноса является отсутствие значения у единиц фонемного уровня и наличие его у единиц всех других уровней. Между тем, как отмечает О. Н. Трубачев, «современная теория и практика структурного языкознания исходит из принципа и з о м о р ф и з м а уровней языка» [19, с. 149]. В соответствии с этим в ряде работ по семантике используются понятия, скопированные с используемых в фонологии, и, в частности, понятие «семантического инварианта», что вызывает, на мой взгляд, обоснованные сомнения О. Н. Трубачева. Я разделяю это сомнение именно потому, что считаю каждое лексическое значение инвариантным по своей природе. Если разные лексические значения одного слова инвариантны, т. е. суть разные сущности (отображают разные классы явлений), а не варианты друг друга, то как выводить «семантический инвариант» *относительно* этих значений? (Само выражение «семантический вариант» представляется неудачным. Любой инвариант по природе есть понятие, значение, категория семантическая).

Вариативность неразрывно связана с другими общими свойствами *языка — с дискретностью и парадигматическим устройством, с линейностью* и дихотомией «язык—речь» и другими свойствами. Развитие языка, как известно, возможно только при функционировании языка в виде речи, а речь по своей природе состоит из вариантов, т. е. вариативна.

Проявляясь при функционировании языка, вариативность является одним из внутриязыковых факторов развития и изменения языка, действие которого связано с другими внутренними и внешними факторами языкового развития.

Процесс изменения и развития языка, определяемый в конечном счете потребностями общения людей, осуществляется в процессе бесконечного использования, отбрасывания, отбора, создания различных вариантов, словом, в ходе бесконечного варьирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. 1-е изд., М., 1971; 2-е изд., М., 1978.
2. *Мартине А.* Основы общей лингвистики.—В кн.: Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963, с. 448.
3. *Якобсон Р., Халле М.* Фонология и ее отношение к фонетике.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962, с. 240.
4. *Камчатнов А. М.* Лексическая вариативность и лексические значения.— ВЯ, 1983, № 4, с. 121.
5. *Марузо Ж.* Словарь лингвистических терминов. М., 1961.
6. Философский словарь. М., 1963, с. 164.
7. *Илларионов С. В.* Гносеологическая функция принципа инвариантности.— Вопросы философии, 1968, № 12, с. 90.
8. *Уемов А. И.* Вещи, свойства, отношения. М., 1963, с. 11.
9. *Энгельс Ф.* Диалектика природы.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20, с. 551.
10. *Ахманова О. С.* Фонология. М., 1954, с. 12.
11. *Lamb S. M.* Outline of stratificational grammar. Washington, 1966, p. 20.
12. *Солнцев В. М.* О понятии уровня языковой системы.— ВЯ, 1972, № 3.
13. *Звегинцев В. А.* Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968, с. 42.
14. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Некоторые общие замечания о языковедении и языке.— Хрестоматия по истории языкознания XIX и XX веков. М., 1956, с. 231.
15. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968, с. 188.
16. *Драгунов А. А.* Исследования по грамматике современного китайского языка. М., 1952.
17. *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикографии. М., 1957, с. 104 и сл.
18. *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1956, с. 42.
19. *Трубачев О. Н.* Этимологические исследования и лексическая семантика.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ШАНИДЗЕ А. Г.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1. Спрягаемая единица глагола. Спрягаемые единицы глагола принято называть разными именами: презенс, футур, аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект, конъюнктив, императив и др. Ввиду того, что для них не существует общего названия, я ввел в употребление термин «ряд» или «скрива». В Большой Советской энциклопедии сказано: «Ряд (или скрива) — термин, предложенный грузинским языковедом А. Г. Шанидзе для обозначения группы глагольных форм, образующих *парадигму* глагольного спряжения, к-рые объединены временным и модальным (реже видовым) грамматич. значением, но различаются по лицам и числам (а иногда и по родам)» [1]. Там же указана литература вопроса [см. 2, 3].

Из двух равнозначных терминов («ряд», «скрива») второй является несколько видоизмененной формой грузинского слова *mc̣kriv-i*, обозначающего «ряд» (фонетическое изменение слова вызвано желанием облегчить негрузинам произношение термина).

В грузинском языке имеются одноличные, двухличные и трехличные глаголы, т. е. глаголы, содержащие в одной форме соответственно одно, два или три лица. Здесь одноличные глаголы, как и глаголы многих других языков, знающих только субъектное спряжение (т. е. спряжение, содержащее в своих формах лишь лицо субъекта), в скриве дают обычно шесть форм, называемых членами скривы (*говорю*, *говоришь*, *говорит*, *говорим*, *говорите*, *говорят*). Что же касается двухличных и трехличных глаголов, то число членов, различающихся по форме, в каждой скриве (за исключением скривы императива) доходит в новогрузинском до восемнадцати. Их могло бы быть больше, но некоторые формы совпадают.

Поскольку вообще не существует форм для 1-го субъектного лица ед. числа повелительного наклонения, то число членов императивной скривы всегда меньше, чем в других скривах.

Я давно употребляю термин «скрива» в своих грамматических трудах, использован он и в моей «Грамматике древнегрузинского языка» (Тбилиси, 1976). Эту грамматику перевел на немецкий язык профессор Иенского университета Х. Фенрих [4], употребивший вместо «скривы» ее немецкий эквивалент «Reihe». Вместе с тем профессор Чикагского университета Г. И. Аронсон в своем учебнике новогрузинского языка предпочел применить грузинский термин в форме *screeve* [5]. Годом раньше удачно применил понятие скривы литовский языковед М. Л. Палмайтис в своей статье, посвященной эволюции способов передачи видовых значений [6].

Количество скрив в разных языках, естественно, неодинаково. В древнегрузинском их пятнадцать, а в новогрузинском литературном — восемь (у некоторых глаголов типа *vcxovrob* «живу» — одиннадцать). В современном русском литературном языке у глаголов несовершенного вида их пять (*говорю*, *буду говорить*, *я говорил*, *я говорил бы*, *говори*), а у глаголов совершенного вида — четыре (*скажу*, *я сказал*, *я сказал бы*, *скажи*). В немецком количество скрив — десять, в латинском — двенадцать, во французском — шестнадцать. Один подсчет скрив в каком-либо языке дал бы ясное представление о наличных в нем спрягаемых формах глаголов. Не пора ли ввести этот грамматический термин во всеобщее употребление?

2. О глагольной категории контакта. Контактом я назвал глагольную категорию, которая показывает, как действует субъект на прямой объект: непосредственно или опосредованно, т. е. при помощи другого лица [см. 3]. Отсюда различаются два контакта: непосредственный (иммедиат) и посредственный (медиат). Ср. примеры из грузинского языка:

Иммедиат:	*petre ašenebs saxls*	«Петр строит дом»
Медиат:	*petre pavles ašenebinebs saxls*	«Петр заставляет Павла строить дом»
Иммедиат:	*petrem datvi mokla*	«Петр убил медведя»
Медиат:	*petrem pavles datvi moakvlevina*	«Петр заставил Павла убить медведя»

В формах посредственного контакта, в сущности, имеются два действующих лица: одно является инициатором, организатором действия (в данных примерах — Петр), а другое — исполнителем воли инициатора (в данных примерах — Павел). В грузинском предложении инициатор передается субъектом (подлежащим), а исполнитель — косвенным объектом.

Контактные формы в грузинском встречаются, впрочем, редко, и у форм страдательного залога. Так, например, активная форма *vakvlevineb* значит «я заставляю его убить того», а соответствующая пассивная *vekvlevinebi* значит «я делаю (поступаю) так, чтобы я был убит им». Другой пример: глагол непосредственного контакта *ixdis* «он платит (долг, налог)» образует форму посредственного контакта *axdevinebs* «он заставляет его платить». От последнего глагола имеем форму *gvaxdevibebdnen* «они взыскивали с нас», например, *uçin amdens ar gvaxdevinebdnen* «раньше с нас не взыскивали столько». Соответствующая страдательная форма будет: *uçin amdeni ar gvexdevineboda* «раньше с нас не взыскивалось столько».

Хотя контактные формы имеются во многих языках, в грамматиках таких языков принято рассматривать только формы посредственного контакта, причем соответствующим термином служит «каузатив» (либо «фактитив»). Чем же плох этот термин? Стоит ли заменять его новым? Да, стоит. Дело в том, что всякая грамматическая категория зиждется, как известно, на сосуществовании двух или более форм, противополагающихся друг другу как в звуковом, так и функциональном отношениях. Так, например, если бы в русском не существовало разных форм имени, различающихся между собой как в отношении звукового состава, так и по значению (ср. *стол*, *стола*, *столу*, *столом*, *о столе*), то не было бы и падежей, как нет их во французском, персидском, абхазском и других языках. Точно так же, если бы не существовало глагольных форм, различающихся между собой по признаку незавершенности или завершенности действия (ср. *кончать — кончить*, *делать — сделать* и т. п.), то не было бы и категории вида. Поэтому термин «каузатив», не предполагающий некаузативной формы, противопоставленной каузативной как по звуковому составу, так и по значению, не дает ясного представления о данном грамматическом явлении.

Поэтому я считаю вполне закономерным ввести в обиход понятие контакта (непосредственного и посредственного), которое является вполне оправданным для данного грамматического явления. Что же касается термина «каузатив», то он давно просится в отставку.

3. Место звательной формы в грамматике. Некоторые языки (например, греческий, грузинский) имеют особые формы имени для выражения обращения, а другие, не имея их, пользуются для обращения именительным падежом (например, русский, немецкий, армянский и др.).

Грузинский язык для образования формы обращения приставляет гласный *o* к основе имени, как в единственном числе, так и во множественном. В то же время множественное число в грузинском имеет двоякую форму, образуемую посредством суффиксов *-n* или *-eb*. Так, например, от *megobari* «друг» имеем:

	Ед. число	Мн. число
Им. падеж	*megobar-i*	*megobar-n-i/megobr-eb-i*
Зв. падеж	*megobar-o*	*megobar-n-o/megobr-eb-o*

Ср. эти формы в атрибутивном словосочетании:

čemo ʒvirpaso megobaro	мой дорогой друг!
čemno ʒvirpasno megobarno / *čemo ʒvirpraso megobrebo*	мои дорогие друзья!

Во всех грамматиках грузинского языка XVIII и XIX вв. форма обращения всегда находила свое место среди падежей: именительный, повествовательный (эргативный), дательный, родительный, творительный, модальный, звательный. Сомнения возникли только в XX в. Профессора Тбилисского университета В. Т. Топуриа и А. С. Чикобава, следуя по стопам некоторых русских ученых (Д. Н. Ушакова, Н. Н. Дурново, М. Н. Петерсона и др.), изъяли формы звательного падежа из грузинской грамматики. Под их влияние подпала средняя школа, где с 1927 до 1934 г. звательная форма имени не входила в круг падежей. Находя такое положение ненормальным, в декабре 1932 г. я выступил на специальном совещании, созванном Наркомпросом Грузинской ССР, с опровержением этого направления в грамматических вопросах, и звательный падеж был восстановлен в своих правах в программах и школьных курсах Грузинской ССР. Тем не менее В. Т. Топуриа попытался позднее обосновать свое мнение в специальной статье [7], а А. С. Чикобава продолжал считать, что «такие формы, как *amxanagebo* (*товарищи!*), *proleṭarebo* (*пролетарии!*), не представляют собой падежа» [8, с. 136]. Поэтому естественно, что в статье А. С. Чикобава «Общая характеристика грузинского языка», предпосланной редактировавшемуся им первому тому «Толкового словаря грузинского языка» (1950), значатся только шесть падежей, данных в таком порядке: именительный, повествовательный, дательный, направительный (т. е. модальный), родительный, творительный (седьмой падеж, звательный, здесь отсутствует). Еще в 1942 г. в статье, посвященной этому вопросу, я разъяснил сущность данной формы и подчеркнул, что ее место среди падежей [9].

Мне кажется странным следующее обстоятельство: еще древние греки догадывались, что звательная форма — это падежная форма, а некоторые ученые наших дней, исходя из неточного определения падежа, исключают ее из числа падежей. Так, например, А. С. Чикобава определял падеж как форму имени, выражающую «отношение имени к имени или имени к глаголу» [8, с. 135]. Точнее было бы определить его так: падеж — это одна из нескольких форм имени, объединенных одним лексическим значением, но различающихся по употреблению в речи.

4. Удегеры. Неизменяемыми принято называть части речи, которые не являются ни именем, ни глаголом. В некоторых языках это так и есть. Например, в русском наречия, предлоги, союзы, частицы и междометия не знают словоизменения. Так, наречие *завтра* в русском неизменяемо, поэтому вместо него в случае необходимости употребляется *завтрашний день*. Так, например, одно место из евангелия от Матфея (6, 34) на русский перевели с греческого следующим образом: *не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем*, тогда как древние грузины то же самое перевели так: *nu zrunavt xvalisatys, rametu xvaleman izrunos tavisa tysisa*, где *xvale* «завтра» в одном случае выступает в родительном падеже (*xvalisa-tys*), а в другом — в эргативном (*xvaleman*). Это происходит постольку, поскольку всякое слово из разряда «неизменяемых» в грузинском, как древнем, так и новом, можно использовать в качестве имени существительного и склонять. В таком же качестве может быть употреблена даже глагольная форма. Ср. следующий пример: *erti makvs sʒobs atas mkondas* «одно „имею“ лучше, чем тысяча „имел“», где *makvs* «имею» мыслится стоящим в именительном падеже, а *mkonda* «я имел» — в дательном (*mkonda-s*).

Поэтому для объединения всего, что не есть ни имя, ни глагол, я ввел в употребление термин «удетер», являющийся словом греческого происхождения (οὐδέτερος «ни один из двух»). Таким образом, в совокупности получаются три разряда слов: 1) имя: существительное, прилагательное, числительное, местоимение; 2) глагол (действительного залога, страдательного залога, среднего залога); 3) удетер: наречие, предлог и послелог, союз, частица, междометие.

Будущее покажет, найдет ли предложенный мною термин поддержку и у других языковедов.

ЛИТЕРАТУРА

1. БСЭ. 2-е изд, 1955, т. 37, с. 539.
2. *Шанидзе А. Г.* Категория ряда в глаголе. Общие вопросы формообразований глаголов на примерах грузинского языка.— Изв. Ин-та языка, истории и материальной культуры АН ГрузССР, 1941, № 10.
3. *Шанидзе А. Г.* Глагольные категории акта и контакта на примерах грузинского языка.— ИАН ОЛЯ, 1946, т. 5, вып. 2.
4. *A. Schanidse.* Grammatik der altgeorgischen Sprache. Aus dem Georgischen von Heinz Fähnrich. Тбилиси, 1982.
5. *Aronson H. I.* Georgian. A reading grammar. Columbus (Ohio), 1982, p. 41.
6. *Палмайтис М. Л.* От греческой системы к славянской. К типологии вида.— ВЯ, 1981, № 4.
7. *Топуриа В. Т.* О звательном падеже.— Комунистури агзрдисатвис (За коммунистическое воспитание), 1935, № 1 (на груз. яз.).
8. *Чикобава А. С.* Общее языковедение. Пропедевтическая часть. 2-е изд. Тбилиси 1939 (на груз. яз.).
9. *Шанидзе А. Г.* Место звательной формы в грамматике.— Изв. АН ГрузССР, 1942, № 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

ГАДЖИЕВА Н. З.

ПРОБЛЕМЫ АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
(на материале языков народов СССР)

Ареальная лингвистика является сравнительно молодой отраслью лингвистической науки, успевшей, однако, завоевать права одного из ведущих направлений современного языкознания. Ее возникновению способствовали два основных фактора — новые гипотезы, связанные с проблемой происхождения и.-е. языков (открытие новых языков и диалектов убедило языковедов в противоречивости жестких прямолинейных праязыковых схем младограмматиков) и применение новых методов в изучении диалектов. Ареальная лингвистика явилась органическим следствием развития диалектологических штудий. На Западе в конце прошлого и в начале нашего века велись исследования и, собственно, были заложены основы индоевропейской ареальной лингвистики (ср. теорию волн И. Шмидта, которая базировалась на принципе лингвистической непрерывности [1], исследования, связанные с выработкой понятий изоглоссы, инновации и т. д. в трудах А. Мейе [2], установление критериев выделения дистинктивных признаков диалектных групп и.-е. языков. Ср. также выделенную на основании фонетических признаков на территории распространения романских языков группу франко-провансальских говоров в работах Дж. Асколи [3]). К этому необходимо прибавить разработку на материале и.-е. языков новой формы описания диалектов, выразившейся в создании диалектологических атласов. Ср. «Лингвистический атлас Франции» Жильерона [4], который явился крупнейшим событием, подготовившим развитие ареальной лингвистики.

В дореволюционной России исследования в области лингвистической географии и ареальной лингвистики носили эпизодический характер и не существовало отечественной школы ареалистики. Планомерно проводимые в нашей стране диалектологические исследования на материале всех языков народов СССР подготовили почву для развития ареальной лингвистики. Впервые зарегистрированные новые языковые единицы составляют гордость советского языкознания. В нашем отечественном языкознании в научный оборот введены новые языковые миры. Так, например, для тюркской семьи — это лобнорский, саларский, сарыгюгурский, языки сибирских татар, чулымский, тофаларский и др., для иранских — группа памирских языков и др. К этому можно прибавить вновь открытые и зарегистрированные в годы советской власти языки и диалекты Кавказа и Закавказья, Причерноморья, Поволжья, Сибири, Средней Азии.

Большим достижением именно советской лингвистической географии является планомерно развернувшаяся работа по созданию многочисленных сводных атласов языков народов СССР [5]. Атласы явились новой эффективной формой описания диалектов. С 1972 г. в планы научно-исследовательских институтов тюркоязычных республик и областей включена всесоюзная тема «Диалектологический атлас тюркских языков Советского Союза» [6]. Совместно с коллективом лингвистов социалистических стран создается «Общеславянский лингвистический атлас». В настоящее время Советский Союз включился в большую работу по составлению сводного лингвистического Атласа языков Европы. Излишне подчеркивать всю грандиозность этого научного предприятия, имеющего большую практическую и теоретическую значимость. Значительные разработки в области теории лингвогеографии принадлежат нашим отечест-

венным исследователям (труды русистов, германистов, романистов [7—10)]. В настоящее время можно констатировать, что за последние годы создана теория лингвистических атласов, существенной методической чертой которой является учет того, что язык представляет собой систему и что основным предметом картографирования являются определенные элементы системы языка — различительные элементы системы языка как целого [7, 11]. Кроме того, классические изоглоссные методы стали дополняться развивающимися в последнее десятилетие в советском языкознании методами количественной оценки диалектных различий, в частности, методом статистической обработки лингвистических карт, основанном на использовании так называемых статистических изоглосс. Существенно новой в отечественном языкознании является методика составления как атласов обширных регионов, так и микрозон.

Примечательно, что при картографировании материала неиндоевропейских языков народов СССР экстраполировалась не просто методика, выработанная на индоевропейском материале, а вносились уточнения в методические приемы в зависимости от языкового материала. В связи с этим следует назвать разработки, касающиеся введения коррективов в методику составления отдельных диалектологических атласов, например, атласа азербайджанского языка [6, 12], существенные дополнения в методику составления атласов лексических заимствований в украинских говорах карпатского ареала [13]. Нельзя не упомянуть о впервые разработанных в годы советской власти приемах составления лексико-семантической карты хантыйских диалектов [14], а также методики лингвогеографических исследований микрозоны азиатских эскимосов [15].

Таким образом, если советское языкознание в первые три десятилетия своего развития было представлено преимущественно романской, германской и славянской лингвогеографией, а общетеоретическая проблематика — методика сопоставления изоглосс и изопрагм только намечалась, то сегодня мы уже располагаем сложившейся на материале самых разнообразных языковых семей народов СССР теорией лингвогеографии. Мы свидетели качественно нового этапа лингвогеографии, который характеризуется уже подготовкой атласов обширных регионов (межэтнических и межъязыковых).

Основанная на диалектологии и лингвогеографии ареалистика — это дальнейшее развитие теории пространственных исследований [16]. Ареальная лингвистика с изначального своего зарождения, а именно уже с работ представителей итальянской неолингвистической школы, имела диахроническую направленность. М. Бартоли, Дж. Видосси [17], а также Дж. Девото [18], В. Пизани [19] или представители французской школы А. Мейе [2], А. Доза [20] и др. последовательно применяют некоторые положения лингвистической географии к сравнительной грамматике и.-е. языков, к изучению их истории. В. А. Богородицкий при сравнительно-историческом изучении татарского вокализма и консонантизма обосновывал необходимость учета территориального распределения анализируемого фонетического явления, утверждая, что он стоит на «топографической точке зрения» [21]. Сложные процессы эволюции узбекского языка Е. Д. Поливанов освещает с учетом протяженности изоглоссных явлений этого языка, взятого в объеме всех его диалектов [22].

В истории языкознания известны попытки использования методов лингвистической географии для исследования проблемы диалектного членения праязыков. Помимо такого значительного труда в этой области, как монография Дж. Девото «Происхождение индоевропейской языковой и этнической общности» [18], можно назвать работы В. Порцига [23], Г. Краэ [24] и др. Однако создать точную карту диалектов праязыка, отражающую их расположение в какой-то определенный момент, пока не удавалось. Вместе с тем следует отметить весьма продуктивные исследования, в которых большое внимание уделяется установлению относительной хронологии между различными структурными разновидностями изоглоссного явления и теми связями, которые могут представлять иногда причину развития языка [ср. 25].

Диахроническому аспекту ареальной лингвистики уделяется внимание в трудах советских лингвистов — представителей различных отраслевых направлений: А. В. Десницкой [26], Э. А. Макаева [27], Д. И. Эдельман [28] и др. Ареальная лингвистика иногда сводится только к изучению географического распространения языкового материала в прошлом (ареалы диалектного и праязыкового единства, межъязыковых и междиалектных контактов и схождений и т. п.), являясь фактически уже составной частью лингвистической географии. Вместе с тем синхронный план лингвистической географии связан также с ареалами. Как показывают продуктивно ведущиеся в наше время исследования в этой области, синхронный план лингвогеографии или ареальной лингвистики может тесно соприкасаться с диахроническим; например, изучение сходных явлений в смежных языках и их картографирование фактически невозможно без выяснения истории их происхождения, так как в противном случае будут отмечаться на карте конвергентные явления [29, с. 121]. Диахроническая направленность ареалистики во всех ее аспектах хорошо показана, например, в трудах русистов — учет территориального распространения изоглоссных явлений помогает разрешению вопросов, связанных с генезисом таких явлений, как аканье [30], аффрикатизация [31] и т. д. Историческое взаимодействие диалектных ареалов по данным лингвистических атласов — проблема, получившая освещение на материале различных языковых семей [ср. 32]. Значительное внимание, уделяемое исследователями диахроническому аспекту ареальной лингвистики, не случайно послужило причиной появления такого понятия, как ареальная реконструкция [33].

Прежде всего следует отметить, что в последние десятилетия и собственно только в советском языкознании создается цельная теория ареальной лингвистики. Появились труды обобщающего характера, в которых сформулированы основные критерии построения ареальной лингвистики, очерчены ее объект и исходные методические положения [29, 27, 8, 10, 30, 28]. Приемы ареальной лингвистики, ее методические постулаты в отечественном языкознании стали разрабатываться на материале и.-е. языков, т. е. славянских, романских, германских (солидный вклад в эти разработки внесены трудами В. М. Жирмунского [8, 9], Р. И. Аванесова [7], А. В. Десницкой [26], Э. А. Макаева [27], М. А. Бородиной [10] и др.).

В настоящее время методика ареальных исследований успешно экстраполируется на материал разнообразных языковых семей народов СССР,— однако эта методика используется не механически: в нее вносятся значительные коррективы, меняется соотношение отдельных приемов и их удельный вес в зависимости от материала тех или иных языков. В советском языкознании неоднократной критике подвергалась методика И. Шмидта. Шмидт недифференцированно подходил к изоглоссам, отождествляя разные по времени изоглоссы, элиминируя понятие праязыка [34, с. 5—6] и т. д. Исследования отечественных ученых позволили внести значительные уточнения в методику И. Шмидта. Взаимопереходы между родственными языками действительно нередко существуют. Эти факты подтверждаются материалами как и.-е., так и финно-угорских, тюркских и других языков. Например, узбекский язык содержит некоторые черты, сближающие его с уйгурским, однако в последующих соседних языках, например, киргизском, казахском, каракалпакском, эти черты затухают. В казахском же языке узбекских черт меньше, но зато есть черты, объединяющие его, с одной стороны, с киргизским, а с другой, с татарским и ногайским. Те же результаты волнообразных переходов дают материалы таких тюркских языков, как туркменский, азербайджанский, турецкий, вытянутых как бы в линию, идущую с востока на запад. Или возьмем разбросанные на огромной территории от бассейна Оби до Балтийского моря уральские языки. Если последовательно рассматривать их по направлению с востока на запад, то обнаруживается определенная цепь языков, отдельные, прилегающие друг к другу звенья которой оказываются в той или иной мере связанными. Однако оценивать такого рода факты необходимо, опираясь на некоторые закономерности языковой

интерференции. Интерференция языков, не достигших порога интеграции, имеет одни результаты, а интерференция языков, достигших порога интеграции,— совершенно другие. Используя современные представления о диалектах праязыка и данные современных диалектов, можно расслоить изоглоссы в диахроническом плане, чтобы не смешивать старые явления с новыми [34]. Значительные уточнения вносятся и в методику А. Бартоли [35].

Сегодня каждая отрасль отечественного языкознания, включающая разнообразные языки народов СССР, располагает исследованиями, выполненными с использованием приемов ареальной лингвистики. Предметом изучения стала проблема языковой интерференции, проблема усвоения различных языковых черт в условиях двуязычия. Двуязычие и многоязычие в основном рассматриваются в социолингвистическом и психолингвистическом аспектах. Подавляющее большинство исследований посвящено такому типу двуязычия, который связан с владением родным языком и языком межнационального общения [36, с. 26—42]. Процессы интерференции могут представлять собой взаимодействие системных элементов родного и неродного языков: а) воздействие родного языка на второй, б) воздействие второго на первый, в) разграничение интерференции на уровне языка, с одной стороны, и речи — с другой [36, с. 29]. Вопросы языковой интерференции в условиях контактов между родственными и неродственными языками нашли отражение во многих трудах, выполненных на материале языков народов СССР. Здесь выделяются разработки, касающиеся балто-славянских лингвистических контактов в ареальном освещении (ср. работы А. П. Непокупного [37], О. Н. Трубачева [38], Ю. П. Откупщикова [39], В. Н. Немченко [40], Ю. А. Лаучюте [41], В. Н. Топорова [42], Н. И. Толстого [43], В. В. Мартынова [44] и др.). Особенности ареального распределения лингвистических явлений в условиях языкового взаимодействия активно исследуются на материале кавказских [45, 46], иранских [47, 48] и других языков.

Согласно теории лингвистических контактов, значительную лепту в разработку которой внесли советские лингвисты, ни один язык не развивался без взаимодействия с другими. Даже в тех случаях, когда один язык занимал большую, географически однородную и малозаселенную территорию, взаимодействие, хотя и очень незначительное, все же имело место [49].

При раскрытии процессов интерференции языковых элементов значительное внимание уделяется социальному фактору. Когда языковые изменения объясняют контактами двух систем, то часто забывают, что контактируют не системы и структуры, а их носители [50]. Контактируют не языки сами по себе, а языковые коллективы, «социалемы». В принципе языковое взаимодействие между двумя социалемами возможно лишь в том случае, если есть некий общий член, способный объединить их в сфере речевого взаимодействия в рамках того или иного языка [51]. Следует отметить, что в лингвистической литературе, посвященной языковым контактам, не всегда достаточно четко дифференцируются различные типы взаимодействия языков и диалектов, которые могут быть следующими: 1) взаимодействие неродственных языков; 2) взаимодействие языков родственных, но далеко разошедшихся по своему грамматическому строю и основному словарному фонду; 3) взаимодействие близкородственных языков, которые сохранили сходную структуру, большое количество общих корневых слов, мало изменивших свою звуковую форму, и одинаковые словообразовательные элементы, 4) взаимодействие диалектов одного и того же языка, 5) взаимодействие диалектов родственных языков в пограничных районах. Последние два типа взаимодействия диалектов в настоящее время становятся объектом специальных разработок [52, 53].

В исследованиях кавказоведов, учитывающих данные ареальных исследований, впервые стали выделяться зоны интерференции языков дифференцированно [54] — по объему и характеру контактов: с одной стороны, те районы, где соприкасаются родственные языки, например, зоны интенсивной интерференции абазинского и адыгских, адыгских и карт-

вельских, грузинского и бацбийского, грузинского и дагестанских и т. д., с другой стороны, выделяются зоны контактирования неродственных языков, например, дагестанских и вейнахских языков с тюркскими (кумыкским и ногайским), абазинского с карачаевским, кабардино-черкесского с балкарским, грузинского с осетинским, курдским, сванского с балкарским, ингилойского диалекта грузинского языка с азербайджанскими, ряда дагестанских языков (крызского, будухского, цахурского) с азербайджанским.

В историческом развитии кавказских и целого ряда тюркских языков, территориально представленных в одном регионе Кавказа, наблюдаются процессы их взаимодействия.

Для собственно кавказского (иберийско-кавказского) лингвистического ареала характерна неравномерность пространственного распределения структурно-типологических черт, имеющих решающее значение для установления генетического и структурно-типологического единства. Ср. морфологическую категорию грамматического класса, которая в структурном и функциональном отношении не во всех группах кавказских языков представлена одинаково, или существующие различные варианты эргативной конструкции и т. д., что в последние десятилетия стало объектом изучения наших кавказоведов [45]. Таким образом, без учета ареального распределения как кавказских, так и тюркских языков в рамках большого региона Кавказа невозможно интерпретировать очень многие лингвистические факты этих языков.

Впервые в отечественной ареальной лингвистике появился раздел, представляющий собой исследования в области теории контактов на материале языков народов СССР (ср. инновации в кавказских языках как следы интерференции с тюркскими). Так, например, отмечается возникновение в цахурском языке инноваций, отличающих последний от односистемных дагестанских языков, что объясняется влиянием азербайджанского языка. В говорах азербайджанских цахуров наблюдается утрата фарингальных гласных *еь*, *иь* [53]. А. М. Асланов обращает внимание на то, что переднеязычные *ə*, *ө*, ү и близкие к ним по артикуляции умлаутированные *ä*, *ö*, *ÿ* под влиянием азербайджанского языка возникли в таких иберийско-кавказских языках, как удинский, ингилойский диалект грузинского и др. [55—57]. Появление зачатков сингармонизма в некоторых иберийско-кавказских языках, вызванных влиянием тюркских, и, в частности, азербайджанского языка, было предметом многочисленных наблюдений советских лингвистов [58, 59]. Возможны и обратные процессы — инновации в тюркских языках под влиянием кавказских. Так, например, в пограничных с Дагестаном и Грузией районах Азербайджана — в закатальско-кахских говорах диалектологи регистрируют следы цахурского субстрата, проявляющегося в наличии фарингализованных гласных *аъ*, *оъ*, *уъ*, *ыъ* [55]. Или другой пример: разрушение палатальной гармонии в диалектах и говорах тюркских языков в регионе Средней Азии трудно объяснить без учета контактов с иранскими языками. Неслучайно, что центром разрушения палатальной гармонии были максимально «иранизованные» говоры самаркандско-бухарской группы, городские говоры ташкентского типа, содержащие предельную форму разрушенной палатальной аттракции. Характеристика и интерпретация изоглоссных явлений, определение границ их пространственного распределения с установлением зон возникновения инноваций, центров радиации языковых явлений стали входить в непосредственную задачу активно ведущихся ареальных исследований на материале языков народов СССР. Помимо славянской и романской, наблюдается становление и развитие тюркской [60—62], финно-угорской [63], иранской [28] ареальной лингвистики. Установление протяженности изоглоссных явлений проходит на всех уровнях языка. В последние годы появляются ареальные исследования на уровне лексики [64, 65]. В тюркологии в настоящее время в орбиту ареальных исследований включены, например, собственно все группы тюркских языков от юго-западной и северо-западной до тюркских языков Средней Азии и Сибири [ср. 66, 67].

Достижением отечественной ареальной лингвистики являются прове-

денные исследования в двух ее аспектах: синхронном и диахроническом [ср. 28, 62, 56, 68].

Для развития ареальной лингвистики большое значение имеют ареалы так называемых языковых союзов. Значительны разработки советских лингвистов по выявлению черт, которые имеют языки Прибалтики, Урало-Поволжья, Средней Азии, Кавказа, Приамурья и Приморья, Юго-Восточной Азии, языков Балканского союза и т. д. [ср. 69, 70, 60, 61]. В этом отношении показательна выдвинутая акад. Г. В. Церетели теория аллогенетических отношений между языками, объединяемыми в определенных ареальных языковых союзах [71].

Или, например, специальные исследования показали, что среднеазиатский регион характеризует целый ряд структурных особенностей, отличающих его от других тюркоязычных ареалов. Обращает на себя внимание фонетическая структура этих языков, свидетельствующая, очевидно, о скрещении различных в типовом отношении огузских и кыпчакских вокалических систем на территории Средней Азии. В тюркских языках Средней Азии обнаруживается тенденция, связанная с фонетической трансформацией фонемы *а* в неударной позиции. Тюркские языки Средней Азии в их невероятном диалектном разнообразии дают многочисленные примеры на изменение *а* > *ы* в неударной позиции с сопровождающимся процессом ослабления противопоставления гласных по ряду (ср. казах. сев.-вост. и зап. диал. *ырылдау* ~ южн. диал. *арылдау* «рычать»; туркм. салыр. диал. *ығламакъ* ~ литер. *агламак* «плакать»). Известный фонетический процесс, связанный с оканьем, также отражает общую склонность *а* в неударной позиции к изменению. Такая неустойчивость гласного *а* в безударном положении, появляющаяся у него тенденция ко всякого рода позиционным фонетическим изменениям, и, в частности, к опереднению, сопровождающаяся разрушением оппозиции по ряду, фонологическая неопределенность оппозиции *и* ~ *ы*, гипотетический процесс скрещения старотюркской уйгурской и новой узбекской вокалических систем — факторы, которые могли послужить причиной такого фонетического явления, как умлаут, имевшего место в языках Средней Азии. В тюркских языках Средней Азии сильна тенденция к выделению особой системы длительных времен типа Continious — это характерный дифференциальный признак данной географической зоны.

В тюркских языках Кавказа и шире — Прикаспия повышен удельный вес озвонченного анлаута. Соноризация здесь — хронологически устоявшееся явление. Повышен удельный вес и такого фонетического процесса, как спирантизация. В них также отчетливо выражен процесс опереднения заднеязычного *ғ*. Специфические особенности имеет и морфологическая структура тюркских языков этого ареала. Необычайно многообразна система индикатива — здесь сосуществуют огузские и кыпчакские формы наст. времени: форма наст. времени на *-а*, с одной стороны, и на *-yor*, с другой. Большое развитие получило здесь настоящее на *-ы*, восполняющее развитые в тюркских языках Средней Азии аналитические временные формы.

Интерес для ареальной лингвистики представляют изоглоссы широкой протяженности. На северо-востоке России, в коми-зырянском языке и тептярском говоре среднего диалекта татарского языка проходит изоглосса «медиальное значение возвратного залога». Это же явление зарегистрировано в мансийском языке. Или слабое употребление перфекта наблюдается в территориально удаленных от финского карельском и вепском языках.

Впервые в отечественном языкознании на материале различных ареалов языков народов СССР были поставлены и решаются вопросы соотношения центральных и маргинальных районов [ср. 72]. Проблема лингвистической непрерывности (зоны переходных говоров) продуктивно решается на материале славянской, тюркской, кавказской, финно-угорской и других языковых семей.

Ареальная лингвистика, опираясь на такой показатель, как территориальная протяженность явления, использует его для решения различ-

ных лингвистических задач. Проблемы ареальной лингвистики, связанные с процессом языковой аттракции, имеют большой общелингвистический интерес. Приемы ареальных исследований помогают выявить степень устойчивости элементов языка при контактировании. Причины усвоения различных языковых черт могли бы быть предметом особого аспекта лингвистики, предусматривающего изучение языков и их диалектов в процессе языковой интерференции. Этот аспект языкознания, особенно применительно к языкам народов СССР, теоретически еще недостаточно разработан и имеет большие перспективы в своем развитии.

Диалект как определенная языковая система легче всего воспринимает то, что не противоречит его системе, или то, что отвечает тенденции, уже существующей в его собственной системе. Так, например, легко усваиваются ассимилятивные варианты аффиксов (в диалектах киргизского языка в условиях узбекского окружения, в диалектах каракалпакского языка в условиях казахского окружения). Усваивается звонкое начало слова как коммуникативно более удобное. Усваиваются временные формы континиусного типа, содержащие более конкретную детализацию характера протекания действия, и т. д. Характерным признаком выгодности приобретенного явления для системы языка является его повторяемость в различных языках исследуемого ареала и шире — исследуемых ареалов. Ср., например, такие фонетические процессы, как изменение *й* > *дж*. Изоглосса джеканья (*жол* «дорога») проходит по большинству диалектов киргизского языка (северные диалекты, юго-западный говор южного диалекта, говоры иссык-кульский, чуйский, таласский и др.). Джеканье характерно для целого ряда диалектов казахского языка, а также для кыпчакского диалекта узбекского языка, для юго-западного диалекта каракалпакского, для отдельных говоров уйгурского языка. За пределами Средней Азии изоглосса джеканья нашла отражение в диалектах татарского языка. Ср. еще, например, исчезновение большого количества аффиксов уменьшительных прилагательных в чувашском и якутском языках и т. д.

Ареальная лингвистика использует помимо своих специфических (ср. приемы картографирования, определения зон инноваций и т. д.) и приемы, имеющие различные точки опоры,— генетические приемы, выявляющие внутрисистемные особенности языка, однотипные по своему характеру процессы, дающие одинаковые результаты и проявляющиеся с достаточно высокой степенью частотности в различных языках мира. Ареальная лингвистика, занимающаяся изучением территориально ограниченных языковых явлений в синхронном плане, опирается на приемы типологического, а также социологического изучения структуры языка.

Учет различных социальных факторов имеет большое значение при оценке результатов языковой интерференции. Учитывается социальная активность языка при языковом взаимодействии. В этой связи целесообразны разработки, касающиеся проблемы соотношения приемов ареальных и социолингвистических исследований. Выявляемые в результате ареальных разработок зоны вибрации представляют общелингвистический интерес, указывая на промежуточные этапы между двумя языковыми состояниями.

Ареальные исследования способствуют и решению весьма важной проблемы, связанной с выявлением влияния языковых субстратов. Известно, что полнота доказательства влияния языка-субстрата прежде всего зависит от того, насколько соблюдены в исследовании определенные условия (влияние языка-субстрата наблюдается в разных языковых сферах, данные должны обнаруживать показатели системной организации и т. д.). Выявление следов языка-субстрата в значительной степени облегчается в тех случаях, когда язык-субстрат исчезает только в одной части территории и продолжает существовать в другой. Так, например, для чувашского языка языком-субстратом является марийский, в пользу чего свидетельствует имеющаяся на территории современной Чувашии марийская топонимика и гидронимика, а также ряд явлений, свойственных и чувашскому, и марийскому языкам (ср. в этих языках притяжательный

суффикс, предшествующий аффиксу мн. числа, и т. д.). Примером существенных уточнений теории субстратного происхождения отдельных явлений может служить теория оканья и устранения сингармонизма в узбекских говорах. На самом деле эти изменения медленно и постепенно назревали в самих тюркских языках, и только иранское влияние явилось катализатором, ускорившим названные процессы.

Преимущество лингвиста, занимающегося проблемами ареальной лингвистики, заключается в том, что он благодаря большому количеству зафиксированных состояний явлений на различных территориях имеет возможность составить более полное представление об этих процессах (ср. реконструкцию тюркского *й* при опоре на приемы ареальных исследований, помогающих восстановить промежуточные ступени схемы *й* > *д′* > > *ж* > *ж′* > *ж* > *з* и др.). Целый ряд характерных приемов ареальных исследований, таких, например, как определение центров инновации того или иного явления или определение зон затухания этих явлений, работает, собственно, на сравнительную грамматику. Параллельно с установлением центров инновации может производиться изучение истории изоглоссных явлений в определенных ареалах. Это осуществляется обычно путем выявления реликтов прежнего состояния.

В отечественной ареальной лингвистике предлагается новая методика определения архаизмов и инноваций. Она основана на том, что приемы ареальных разработок, выявляющие архаизмы, требуют проверки, предусматривающей применение сравнительно-исторического, филологического метода, приемов типологических исследований.

Данные ареальной лингвистики представляются особо ценными и для описания «диалектного» членения праязыковой системы, определения взаимоотношений диалектных ареалов в пределах реконструируемой системы языка-основы и установления диалектных изоглосс. В этом аспекте ведутся изыскания советских ученых на материале романской, германской, славянской и других языковых семей. Мало разработанная проблема связанности диалектов, которая ставится в ареальных исследованиях на материале различных языковых семей, имеет прямой выход в историческую диалектологию. Приемы ареальных исследований могут быть использованы и для уточнения наших представлений о былом расселении народов. Так, например, в Азербайджане историками дискутируется узловой вопрос — было ли тюркоязычное население Азербайджана аборигенным или оно было привнесено волной переселения сельджуков. Ареальные разработки региона Кавказа подтверждают гипотезу, согласно которой на территории Азербайджана и шире — Кавказа, очевидно, существовало ранее тюркоязычное население. Лингвистические данные полностью подтверждают предположения тех историков, которые считают, что только посредством слияния аборигенов-тюрок с пришельцами — огузами с юга и кыпчаками с севера — после ассимиляции последних и начался все более ускоряющийся и закончившийся к XI—XII вв. процесс тюркизации, приведший к образованию особой тюркоязычной азербайджанской народности на территории Азербайджана. Приемы ареальных исследований в маргинальных зонах при опоре на исторические документы дают возможность восстановить некоторые черты исчезнувших языков, позволяют гипотетически представить строй ранних тюркских языков Кавказа.

Многие языки некогда существовавших на земле народов исчезли бесследно вместе с их носителями или оставили столь скудные следы, главным образом в лексике, которые не дают сколько-нибудь определенного представления об их грамматическом строе. Так, например, мы не имеем никакого представления о грамматическом строе языков мери, муромы, камских булгар, фракийцев, галлов, буртасов, кавказских албанцев, гуннов, хазар. До сих пор исследователи-тюркологи усматривали следы хазарского языка в отдельных лексических элементах — названиях племен и родов. Приемы ареальных исследований в маргинальных районах, в окраинных диалектах, где чаще происходит консервация старых черт, при использовании и приемов сравнительно-исторического анализа дают воз-

можность гипотетически реконструировать некоторые фонетические и грамматические черты хазарского языка (систему глагольных времен, отдельные черты фонетической системы и др.).

Использование приемов ареальных исследований может пролить новый свет на во многом загадочную историю тюркских языков Поволжья. Кстати, данный языковой союз, включающий тюркские и финно-угорские языки, мог бы быть эффективно обследован в аспекте ареальной лингвистики. Того же заслуживает и обширный языковой массив Сибири, в котором представляют особый научный интерес общие тюрко-монгольские изоглоссы. Перспективна проблема, связанная с выявлением общих изоглосс в палеоазиатских и др. языках.

Ареальная лингвистика имеет большой выход в проблемы, связанные как с историей народа, так и с происхождением самих языков. В современном тюркском языкознании существует представление об огузских и кыпчакских языках, характеризующихся определенным набором признаков. Детальное исследование изоглоссных явлений в этих языках с установлением их протяженности и с привлечением материала всех зарегистрированных диалектов значительно меняет наши традиционные представления в отношении образования групп тюркских языков. Диалекты во всем их объеме сохраняют состояние былой нерасчлененности этих языков. Данные ареальных разработок при опоре на исторические свидетельства позволили прийти к выводу, что кыпчакские и огузские языки образовались не путем распада какого-то единого языка, а путем отстаивания тех или иных по преобладанию черт в определенных географических условиях. Закреплению таких черт предшествовали многочисленные и сложные процессы миграционного разноса смешанных черт и распределения их по огромной территории от Енисея до Босфора. Таким образом, в различных географических районах шли процессы формирования отдельных национальных языков, которые нельзя считать окончательно завершенными. Кыпчакские языки более чисто отслоились, чем огузские, которые находились в менее изолированных условиях. Можно говорить о кыпчакском колорите казахских, ногайских, татарских, башкирских диалектов, хотя в недрах этих языков содержатся огузизмы (ср., например, наличие в сфере словообразовательных элементов формы *-мыш* в башкирском *язмыш* «судьба», *тормош* «жизнь», хотя в глагольной системе в качестве перфекта отстоялась форма на *-ган* и т. д.). Огузские диалекты по отражению смешанных черт более контрастны. Староосманский язык и диалекты современного турецкого языка содержат немалое число кыпчакизмов, отражающих хронологически относительно раннее состояние тюркских языков. Наряду с типично огузской формой дат. падежа личных местоимений *мäнä/мана* < *бäнä/бана* в диалектах турецкого языка, как и азербайджанского и крымскотатарского, употребляются формы *маңа, саңа,* которые являются классификационным признаком южнокиргизских диалектов, а также целого ряда узбекских и уйгурских говоров. Огузированные черты уже сложились в некоторых диалектах на территории Средней Азии. Ср. ранние енисейско-орхонские памятники, диалекты узбекского языка (формы род. падежа *-ын*, дат. падежа *-а*) и т. д. Ареальные исследования помогают выявить огузированную направленность азербайджанско-турецко-туркменских смешанных черт.

Можно предположить, что сельджукская смесь (включающая и так называемые кыпчакизмы) была разнесена западной миграцией по обширной территории, включающей современные Туркмению, Азербайджан, Турцию. Доказательством этого предположения является то, что помимо общеизвестных отстоявшихся огузированных черт между азербайджанским, турецким, туркменским языками выявляются изоглоссы общих кыпчакизмов, отражающие раннее состояние тюркских языков, отличающихся смешанностью черт (ср., например, факты более задней артикуляции гласных, т. е. гласных кыпчакского типа *o, ў* в диалектах азербайджанского, турецкого, туркменского языков и пр.). Ареальные исследования помогают выработать серию приемов, отграничивающих изначальные кыпчакиз-

мы от контактно приобретенных и ложных, являющихся результатом случайных совпадений.

Изоглоссные явления, зарегистрированные как реликты древнего состояния тюркских языков, например, ранние кыпчакизмы, могут быть одновременно миграционными. (Ср. форму наст. времени на *-am* в дербентском говоре азербайджанского языка или форму деепричастия на *-гач* в айрумском говоре азербайджанского языка.) Для квалификации изоглоссного явления как миграционного опять-таки помогают данные ареальных исследований при их подкреплении историческими сведениями. Миграционный характер кыпчакизмов в северной части Азербайджана, особенно в районах распространения дербентских говоров, подтверждается историческими документами о пребывании именно в районе Дербентской крепости хазар в течение 150 лет. Данное явление оказывается в зоне сосредоточения разнородных изоглосс; оно единично по своему характеру и не имеет параллелей в соседних языках (ср. долгие гласные, зарегистрированные в переходных говорах азербайджанского языка, и др.).

Приемы ареальных исследований помогают выявлению типологических универсалий. В тюркских языках, как в других языках мира, наблюдаются конвергентные явления благодаря наличию фреквенталий, потенциально возможных изменений звуков (ср. сужение гласных первого слога, процессы делабиализации, спирантизации смычных согласных в интервокальной позиции и др.). Удается установить, что отличительным признаком конвергентных изоглосс является их территориальная удаленность, исключающая возможность контактирования языков. Выявление конвергентных изоглосс требует непременного учета общей типологии изменения звуков в различных языках. Поэтому здесь приемы ареальных исследований работают совместно с приемами типологических исследований. Фреквенталии или потенциально возможные изменения звуков и форм проявляются в самых разнообразных изолированных и неизолированных районах. Поэтому исследуя все многообразие тюркских диалектов, мы регистрируем процессы дезаффрикатизации и, напротив, аффрикатизации, ослабления конца слова во всех тюркоязычных районах от Кавказа до Сибири и Алтая. Эти же фреквенталии зарегистрированы и в других языках мира. Однако следует особо подчеркнуть, что в рамках той или иной генетической группы конвергенции сдерживаются рамками языковых данных. Так, в тюркских языках не может возникнуть аналитический строй, невозможно тотальное выражение придаточных предложений европейским способом союзной связи. Изменения в диалектах тюркских языков подчиняются фреквенталиям, и вместе с тем известная перегруппировка данных создает тип языка. К примеру, сама по себе фонетическая тенденция ослабления заднеязычного *ҳ* является фреквенталией и наряду с этим в тюркских языках Прикаспия она оказывается доминантным признаком. Веляризация гласных, зарегистрированная во многих диалектах тюркских языков, для определенных групп этих языков показательна и системно обусловлена.

Приемы ареальных исследований устанавливают и изоглоссные явления, возникшие в рамках отдельных языковых общностей. Ср., например, изоглоссные явления, возникшие в рамках кыпчакской языковой общности: форма прош. времени на *-ган*, формы деепричастия на *-ганда*, *-ганча*, *-гач*, *-галы*, форма вин. падежа на *-ны*, дат. падежа на *-га* и т. д.; изоглоссные явления, возникшие в рамках огузской языковой общности: формы прош. времени на *-мыш* и буд. категорического на *-ачаг*, формы деепричастия на *-ынча*, *-анда*, *-алы*, формы вин. падежа на *-ы*, дат. падежа на *-а* и т. д.; изоглоссные явления, возникшие в ареалах отдельных (малых) зональных общностей. Зоной инновации исх. падежа на *-дын* является узбекско-уйгурская общность. Зоной источника формы прош. времени на *-(у)чу* была ногайская общность и т. д. Отличительным признаком изоглосс этого типа является их синхронность, т. е. они одновременно возникали в языках, некогда входивших в единую общность. Другим признаком является их одинаковая системная обусловленность. Так, например, изменение *ч* $>$ *ш*, отличающееся в диалектах казахского, каракалпакского и ногайского язы-

ков максимальной степенью проявления, представляет собой результат внутренней эволюции звуковой системы этих языков и не случайно связано с другим закономерным изменением в этих языках — *ш* > *с*. Форма наст. времени на *-а* особенно развивается в тех языках, в которых у формы на *-р* не была развита фонетическая и морфологическая дифференциация вариантов и она синкретично выражала настояще-будущее время и т. д.

Ареальная лингвистика имеет выход еще в одну из важнейших общеязыковедческих проблем — проблему классификации языков. Значимость в данном случае ареальной лингвистики не сводится к классификации языков по географическому признаку. Необходимость классификации языков должна предполагать детальную разработку проблемы языкового типа. В отдельных отраслях языкознания, в частности, в тюркологии, проблему типа языка нельзя считать достаточно разработанной.

Было бы несправедливо утверждать, что все попытки классификации тюркских языков не привели ни к каким положительным результатам. Напротив, они помогли выявить группы тюркских языков, связанных более близким генетическим родством, хотя мнения по этому вопросу не всегда совпадают. Основной недостаток существующих классификаций коренится в самой методике, которая нуждается в усовершенствовании для получения более точных результатов.

Приемы ареальных исследований в сочетании с приемами типологического и системного анализа помогают выявлению фонетических и грамматических признаков языкового типа. Эти приемы раскрывают более полно особенности отдельных языков. В диалектах казахского языка имеется гораздо больше различных особенностей, чем это дается в классификационных схемах. Чтобы выявить эти особенности в массе перекрещивающихся изоглосс, характеризующих ареалы распространения языков, необходима общая методика, основная цель которой выявление дистинктивных признаков на всех уровнях языка. Известная работа в этом направлении проведена советскими учеными за последние годы.

При определении классификационных, дистинктивных признаков чрезвычайно важно различать случаи, характеризующиеся внешне одинаковыми признаками: имели ли место эти признаки в одинаковых условиях и при одинаковых импульсах, или они выявляются в разных условиях и при разных импульсах. Языковые изменения, характеризующиеся одинаковостью условий и одинаковостью импульсов, обычно происходят в условиях языковой общности. Те же одинаковые дистинктивные признаки, которые наблюдаются при отличающихся условиях под воздействием других импульсов, как правило, возникают в разных языковых общностях. Так, например, по признаку оканья татарский язык, где соответствие *а* ~ *о* не распространяется на последние слоги, нельзя объединить, например, с узбекским языком, где оканье может быть позиционно не связанным. Вот в этих случаях для выделения дистинктивных признаков помогают приемы ареальных исследований в сочетании с приемами генетических исследований и с приемами системного анализа. В качестве дистинктивных классификационных признаков могут быть использованы внешне совершенно одинаковые, но при том условии, если они обладают разной степенью частотности, т. е. разной дистрибуцией. Объем, например, редуцированного *ӑ* в чувашском больше объема татарского и башкирского *ҙ* (орф. *о*). Поэтому наличие редуцированных гласных разного объема в чувашском фактически является разъединяющим, а не объединяющим признаком.

При выявлении классификационных дистинктивных признаков следует обращать внимание на место и роль данного явления в системе языка. Совершенно естественно, что ареалы, обнаруживающие колебания признаков (зоны вибрации), не могут служить точкой опоры при классификации. Определяя место языка в классификационной схеме, следует указывать на наличие таких зон вибраций. Поэтому целесообразно также ввести понятие зоны затухания отдельных признаков. В качестве дистинктивных признаков следует всегда использовать явления импликативно связанные, отражающие определенные системные взаимозависимости, например, переход *й* > *ч* в тувинском, хакасском и шорском языках и соноризация ин-

тервокального *ж*. Перспективным представляется изучение параллелизма высоких частотностей признаков в одной языковой группе. К сожалению, до настоящего времени отсутствует классификация тюркских языков, широко учитывающая лексический признак.

Ареальная лингвистика помогает определить лексические изоглоссы. Не случайно ареальную лингвистику иногда называют настоящей геологией языка, поскольку она позволяет установить так называемую стратиграфию слов на определенной территории. Слова сменяют друг друга, но сравнительно редко уходящее слово сдает сразу все свои позиции, в какой-то части территории оно удерживается.

Изучение ареальных особенностей явлений позволяет обнаружить некогда существовавшие пути колонизации. Так, ареальные исследования, опирающиеся на материал лингвистических атласов, дают возможность установить факторы, способствующие появлению новых слов. В задачу ареальной лингвистики входит установление определенных взаимоотношений между географическим распределением слов и временем их появления в языках. При всей необходимости осторожного применения приемов ареальных исследований (особенно в тех случаях, когда языковые факты относятся к древним эпохам, о характере которых нельзя судить ввиду отсутствия письменных свидетельств), все же последние дают известную базу для создания теории исторической семантики. Широкий охват слов при их анализе позволяет наметить этапы в развитии значений слов. Ср. тур. диал. *özen*, казах. *өзен* «река», тур. диал., к.-балк. *ӧзен* «долина», татар. диал. *үзән* «низкое место, низменность», [73, с. 510—511]; хак., саг. *арпа* «жареный ячмень», татар., башк., тур. «ячмень на глазу», азерб. диал. *арпа* «арпа» (женское украшение из золота в форме ячменных зерен), кум. *арпа* «золотая бусина» [73, с. 176].

Таким образом, изучение различных языков Средней Азии, Кавказа, Поволжья, Сибири, Юго-Восточной Азии и др. приемами ареальной лингвистики не только способствует уточнению наших представлений о языках этих ареалов, но и имеет большое общеязыковедческое значение.

Ареалы тех или иных языковых явлений, а также некоторые типы изоглосс (особенно конвергентные) показывают существенные в общеязыковедческом плане процессы. Для теории общего языкознания могут представить интерес процессы, происходящие в пограничных зонах. Исследование языков приемами ареальной лингвистики вскрывает гораздо полнее типовые особенности отдельных семей языков,— вносит существенные дополнения в классификационные схемы различных генетических семей языков.

Ареальная лингвистика, предполагающая тотальное и детальное описание особенностей различных диалектов, расширяет возможности компаративиста; она обнаруживает промежуточные звенья в развитии звуков и форм. Приемы ареальных исследований в маргинальных районах, в окраинных диалектах, где чаще происходит консервация старых черт, дают возможность гипотетически восстановить лингвистические признаки исчезнувших языков.

Изучение языков в ареальном плане открывает возможности для совершенствования самих приемов ареальной лингвистики. Так, например, интерпретация явлений языковой интерференции в соединении с детальным изучением общих законов исторического изменения языков, различных компонентов языковой системы, их роли, места и функций, слабых и сильных звеньев системы и т. п. позволяет разработать методику определения потенциальной направленности влияния.

Проведенная в этой области на материале языков народов СССР работа позволяет говорить о создании отечественной школы ареальной лингвистики.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Schmidt J.* Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.
2. *Meillet A.* Les dialectes indo-européens. Paris, 1922.
3. *Ascoli G. J.* Schizzi franko-provenzali.— In: Archivio glottologico italiano, 1905, t. III, № 1.

4. *Gilliéron J. et Edmont É.* Atlas linguistique de la France. Paris, 1902—1910.
5. *Кононов А. Н., Тенишев Э. Р., Фазылов Э. И.* Тюркское языкознание в СССР. Итоги и перспективы.— В кн.: III Всесоюзная тюркологическая конференция: Тез. докл. и сообщ. Ташкент, 1980.
6. *Ширалиев М. Ш.* О подготовке диалектологического атласа тюркских языков СССР.— СТ, 1978, № 1.
7. *Аванесов Р. И.* Очерки русской диалектологии. Ч. I. М., 1949, с. 7.
8. *Жирмунский В. М.* О некоторых проблемах лингвистической географии.— ВЯ, 1954, № 4.
9. *Жирмунский В. М.* Немецкая диалектология. М.— Л., 1956.
10. *Бородина М. А.* Проблемы лингвистической географии. М.— Л., 1966.
11. *Аванесов Р. И.* Атлас русских народных говоров к востоку от Москвы. М., 1957.
12. *Исламов М. И.* О методике составления диалектологического атласа азербайджанского языка.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии: Тез. III конференции на тему «Методика лингво- и этногеографических исследований. Маргинальные и центральные ареалы». Л., 1975.
13. *Лизанец П. Н.* Методика составления атласов лексических заимствований в украинских говорах карпатского ареала.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975.
14. *Терешкин Н. И.* Опыт составления лексико-семантической карты хантыйских диалектов.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975.
15. *Емельянова Н. М.* О методике лингвогеографических исследований микрозоны азиатских эскимосов.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975.
16. *Бородина М. А.* Предисловие.— В кн.: Взаимодействие лингвистических ареалов. Л., 1980, с. 4.
17. *Bartoli M., Vidossi G.* Lineamenti di linguistica spaziale. Milano, 1943.
18. *Devoto G.* Origini indoeuropee. Firenze, 1962.
19. *Pisani V.* Geolinguistica e indoeuropeo, Roma, 1940.
20. *Dauzat A.* La geographic linguistique. Paris, 1922.
21. *Богородицкий В. А.* Введение в татарское языкознание. Казань, 1953, с. 101—102.
22. *Поливанов Е. Д.* Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент, 1933.
23. *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
24. *Krahe H.* Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
25. *Орлова В. Г.* Вопросы интерпретации данных лингвистической географии.— В кн.: Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962.
26. *Десницкая А. В.* К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистики.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
27. *Макаев Э. А.* Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.— Л., 1964.
28. *Эдельман Д. И.* Основные вопросы лингвистической географии. М., 1968.
29. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973.
30. *Аванесов Р. И.* Лингвистическая география и история языка.— ВЯ, 1952, № 6.
31. *Орлова В. Г.* История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959.
32. *Смирницкая С. В.* Историческое взаимодействие диалектных ареалов по данным лингвистических атласов (диалект Люксембурга в западносредненемецкой зоне).— В кн.: Взаимодействие лингвистических ареалов. Л., 1980.
33. *Непокупный А. П.* К вопросу об ареальной реконструкции прусского языка.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975.
34. *Серебренников Б. А.* Общеязыковедческие аспекты теории волн И. Шмидта.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975.
35. *Черняк А. Б.* Метод М. Бартоли и реконструкция общероманского состояния.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975.
36. *Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф.* Основные аспекты исследования двуязычия и многоязычия. М., 1972.
37. *Непокупный А. П.* Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.
38. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1969.
39. *Откупщиков Ю. В.* Лексические заимствования в условиях двуязычия.— РЯНШ, 1973, № 3.
40. *Немченко В.* Диалектная лексика русских старожильческих говоров Москвы, общая с лексикой литовского языка.— Уч. зап. Латв. гос. ун.-та, 1968, т. 92.
41. *Лаучюте Ю. А.* Балто-славянские лингвистические контакты в ареальном освещении.— В кн.: Взаимодействие лингвистических ареалов. Л., 1980.
42. *Топоров В. Н.* К вопросу о балтизмах в славянских языках.— Latvijas PSR Zinatņu Akademijas Vēstis, 1973, № 2.
43. *Толстой Н. И.* Об одном балтизме в восточнославянских диалектах.— В кн.: Этимология 1967. М., 1969.
44. *Мартынов В. В.* Лексічныя балтызмы ў беларусскай мове. Мінск, 1969.
45. *Климов Г. А.* Вопросы генетических, типологических и ареальных взаимоотношений кавказских языков.— В кн.: Генетические и ареальные связи языков Азии и Африки. М., 1974.
46. *Гецадзе И. О.* Особенности ареального распределения лингвистических явлений в условиях языкового взаимодействия.— В кн.: Взаимодействие лингвистических ареалов.
47. *Расторгуева В. С.* Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 1964.

48. *Бакаев Ч. Х.* Роль языковых контактов в развитии языка курдов СССР. М., 1977.
49. *Горнунг Б. В.* К вопросу о типах и формах взаимодействия языков и диалектов.— Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. 1952, № 2, с. 3.
50. *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976, с. 74.
51. *Журавлев В. К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982, с. 161.
52. *Велиев А. Г.* Переходные говоры азербайджанского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Баку, 1975.
53. *Асланов А. М.* Взаимодействие азербайджанского языка с другими языками на территории Азерб. ССР: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Баку, 1982.
54. *Чикобава А. С.* О процессах контактов на материале картвельских языков.— В кн.: 5-я региональная научная сессия по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Л., 1977.
55. *Асланов А. М.* Иберийско-кавказский субстрат в закатальских говорах азербайджанского языка.— В кн.: Вопросы диалектологии тюркских языков. Баку, 1966.
56. *Гукасян В. Л.* Взаимоотношение азербайджанского и удинского языков: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Баку, 1973.
57. *Имнайшвили Г. М.* Умлаут в ингилойском наречии грузинского языка.— ИКЯ, 1953, т. 5.
58. *Серебренников Б. А.* О взаимодействии языков.— ВЯ, 1955, № 1.
59. *Магометов А. А.* Табасаранский язык. Тбилиси, 1965.
60. *Гаджиева Н. З.* Проблемы тюркской ареальной лингвистики. М., 1975.
61. *Гаджиева Н. З.* Тюркоязычные ареалы Кавказа. М., 1979.
62. *Благова Г. Ф.* Тюркское склонение в ареально-историческом освещении. М., 1982.
63. *Баталова Р. М.* Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам. М., 1982.
64. *Мусаев К. М.* Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.
65. *Айдаров Т.* Лингвистикалық география. Алматы, 1977.
66. *Бирюкович Р. М.* Морфология чулымско-тюркского языка. М., 1979.
67. *Рассадин В. И.* Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М., 1978.
68. *Молла-заде С. М.* Топонимия северных районов Азербайджана: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Баку, 1978.
69. *Гарипов Т. М.* Кыпчакские языки Урало-Поволжья. М., 1979.
70. *Цинциус В. И.* Центральные и маргинальные фонетические ареалы Приамурья и Приморья.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975.
71. *Церетели Г. В.* О языковом родстве и языковых союзах.— ВЯ, 1968, № 3.
72. *Толстой Н. И.* О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии. — В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
73. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

ЦВЕТКОВ П. В.

К МЕТОДОЛОГИИ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА

В современной лексической семантике компонентный анализ утвердился настолько прочно, что с применением его в явной или скрытой форме можно встретиться в большинстве работ, описывающих содержательную структуру словарного состава языка. Тем не менее возможности самого метода неодинаково оцениваются различными исследователями: одни возлагают на него большие надежды для описания всего словарного состава языка, другие ограничивают возможности компонентного анализа рамками определенных лексико-семантических групп, третьи используют его как частный прием. Такое отношение к данному методу объясняется тем фактом, что первые работы по компонентному анализу были основаны на материале замкнутых лексических подсистем: терминах родства, цветообозначениях, местоимениях и под. Это послужило поводом для сомнений в возможности применения компонентного анализа к более сложным семантическим структурам. Однако в настоящее время опубликовано много работ, в которых с помощью указанного метода исследовались самые различные классы слов, считающиеся менее структурированными: глаголы (Апресян, Васильев, Михедова, Селиверстова, Сильницкий и др.), качественные прилагательные, конкретные и абстрактные существительные (Арнольд, Бережан, Соколовская, Шмелев, Шрамм и др.). На основании исследований многие лингвисты приходят к выводу о том, что «сфера применения данного метода не ограничивается замкнутыми системами» [1, с. 238]. Обнаруживающуюся же иногда неадекватность компонентного анализа некоторые лингвисты склонны объяснять причинами экстралингвистического характера: «Если нет развернутой системы в самих денотатах, в человеческой деятельности, практике на каких-то участках, то не следует ее ожидать и в результатах компонентного анализа слов — имен соответствующей предметной области» [2, с. 48].

К настоящему времени в отечественной и зарубежной лингвистике накоплен немалый опыт как в теории, так и в практике компонентного анализа: разработаны его основные принципы, используется специальная терминология, ведутся поиски адекватного метаязыка описания, с помощью компонентного анализа уточняются понятия полисемии, синонимии, антонимии, разрабатываются теории семантического поля и лексико-семантических групп, с его помощью проанализирован большой объем лексических пластов в различных языках, используется он и в практической лексикографии. Но как в теории, так и в практике компонентного анализа возникает и немало новых проблем, решение которых поможет углубить наши представления о статусе этого метода, определить более точно его возможности, сформировать новые гипотезы об устройстве и функционировании глубинных механизмов языка.

Основными вопросами в рамках компонентного анализа, требующими решения, являются, на наш взгляд, следующие: 1) что представляет собой компонент лексического значения в его соотношении с языковыми единицами; каков его онтологический статус?; 2) существуют ли универсальные, единые принципы его выделения и проверки правильности такого выделения?; 3) каковы правила именования элементов значения и их интерпретации?; 4) какова иерархия (парадигматическая или линейная) семантических компонентов: а) внутри той группы, для которой они установлены, и б) на всем массиве компонентов для данного языка?; 5) каков количественный состав минимальных смысловых единиц внутри семемы, лексико-

семантической группы, словаря в целом?; 6) как соотносятся компоненты значения разных лексико-семантических групп, разных языков?

Следует подчеркнуть, что выделение перечисленных здесь вопросов как отдельных, самостоятельных носит несколько искусственный характер: в процессе компонентного анализа они взаимосвязаны, и то или иное решение одного из них отражается на решении других.

В основе компонентного анализа, как он толкуется в работах американских лингвистов (Дж. Катца, Дж. Фодора, У. Гуденафа, Ф. Лаунсбери, У. Вейнрейха, Д. Болинджера и др.), лежат три главных принципа: 1) описание значений словарного состава естественных языков через посредство конечного набора элементарных семантических единиц, или компонентов, 2) представление этих компонентов как независимых от конкретных языков универсальных репрезентаций и 3) интерпретация их в качестве компонентов концептуальной системы, входящей в познавательную структуру человеческого интеллекта [3, с. 8]. Но нередко в работах по компонентному анализу используются не все названные принципы, а только два: 1) значение каждого слова состоит из набора минимальных смысловых элементов; 2) весь словарный состав языка может быть описан с помощью ограниченного и сравнительно небольшого числа этих единиц. Первый принцип наиболее явно представлен в работах У. Гуденафа. Реализуется он таким образом, что значения всех терминов родства расчленяются с помощью семантических оппозиций на элементарные компоненты, за каждым из которых закрепляется отдельный буквенный символ, а затем все термины родства записываются в виде комбинаций этих символов. Второй принцип отчетливо сформулирован Ф. Лаунсбери. Особенность реализации этого принципа состоит в том, что в качестве исходных единиц берутся не элементарные смыслы, а семантические множители, т. е. наиболее простые по своей смысловой структуре и обычно наиболее частотные по употреблению семемы [4, с. 61]. Основное различие между семантическими компонентами и семантическими множителями заключается, очевидно, в том, что первые представляют собой элементарные, предельные единицы значения, а вторые — неэлементарные, «непосредственно составляющие». Неодинаково они относятся и к плану выражения: если семантические компоненты могут быть выражены любыми, в том числе неязыковыми, средствами, то семантические множители, используемые в лексикографических описаниях, должны быть выражены словами естественного языка.

Вопрос об онтологическом статусе выделяемого семантического компонента, его соотношении с такими языковыми единицами, как морфема, слово, словосочетание, большинство исследователей оставляет без внимания. А вопрос этот далеко не простой, и от его решения зависит и общая структурно-семантическая картина языка, и результаты конкретных исследований. С одной стороны, семантические компоненты, как и значение в целом, являются одноплановыми единицами, которые по самой своей природе и по определению идеальны. С другой стороны, эти единицы не являются и абстракциями, чистым порождением человеческого ума, не представляющим самостоятельной сущности, а расцениваются как «воплощение объективной реальности языка, вполне реальные, конкретные единицы содержания» [5, с. 62]. Семантический компонент, как и значение в целом, не функционирует автономно, а лишь в составе слова как двуплановой единицы языка. По функциональному же назначению он всегда объективен, т. к. «каждая сема представляет собой отражение в сознании носителей данного языка различительных черт, объективно присущих денотату, либо приписываемых ему данной языковой средой и, следовательно, являющихся объективными по отношению к каждому говорящему» [6, с. 95]. Каждая семема (т. е. внутреннее содержание языкового знака) состоит как минимум из двух сем. Следовательно, семантический компонент является более абстрактным по сравнению с лексическим значением в целом и универсальным в том смысле, что один и тот же компонент входит в значения разных слов. Семантический компонент выделяется только в экспериментальных условиях, он не является частью сло-

варного состава самого языка, скорее это «теоретическая величина, введенная для описания семантических отношений между лексическими единицами этого языка» [7, с. 180]. Следовательно, в гносеологическом плане он носит субъективный характер. Чтобы полнее и глубже представить сущность семантического компонента, следует, очевидно, иметь в виду и психологические аспекты его функционирования [8, 9], особенно же с учетом того, что «владение языком вообще лежит на грани сознательного и бессознательного» [10, 11].

Само определение семантического компонента претерпело значительные изменения, но в большинстве определений указывается его элементарность (т. е. дальнейшая неразложимость на более мелкие единицы), одноплановость (т. е. принадлежность лишь к плану содержания), а также универсальность. Некоторые определения отражают стремление авторов найти связь между элементами значения и экстралингвистическими факторами. Однако такое стремление приводит иногда к смешению компонентов значения и признаков денотата, и тогда выделяются компоненты явно избыточные. Так, в слове *змея* в прямом значении усматриваются следующие компоненты: «животное», «принесение вреда с помощью жала», «ядовитость», «узкое», «ползучее», «пестрое» и некоторые другие [12]. Следует поставить под сомнение корректность такого анализа, т. к. неизвестно, что анализируется в данном случае — значение или предмет. В других определениях компоненты содержательной структуры слова соотносятся с понятиями: «Сема — понятие в качестве структурного элемента другого понятия. Соответственно сема — понятие более простое по структуре содержания, чем то понятие, в состав структуры которого она входит» [2, с. 41]. Различное понимание сущности семантического компонента как лингвистического феномена отражается на результатах компонентного анализа у разных авторов, в частности, на количественном составе выделяемых семантических компонентов.

Одним из основных и едва ли не самых сложных вопросов компонентного анализа является вопрос о методических принципах выделения минимальных смысловых элементов. Во всей массе работ по компонентному анализу можно наметить несколько основных путей решения этого вопроса. Некоторые исследователи при установлении семантических компонентов используют определения значений слов в толковых словарях [13—15; 16, с. 100]. Отмечая плодотворность использования словарных дефиниций на начальном этапе анализа, большинство лингвистов считает, однако, этот прием недостаточным. Другой методический принцип сводит процедуру выделения компонентов значения к попарному сравнению лексем [17, 18]. Иногда используется методика, основанная на анализе сочетаемости и смысловых связей слов в тексте [19]. Н. И. Толстой говорит о том, что сема устанавливается путем вычитания одной семемы из другой (так, из семемы «молодой сосновый лес» выделяются семы «молодой», «сосновый») [20]. О. Н. Селиверстова считает, что «выведение значения из наблюдаемых фактов употребления может быть осуществлено с помощью того метода исследования, который в философии называется гипотетико-дедуктивным. В общем виде эта процедура исследования разделяется на четыре основных этапа: 1) сбор фактов и их индуктивное обобщение; 2) выдвижение теории в виде гипотезы для их объяснения и уточнение ее в сопоставлении и частичном противопоставлении с существующими теориями, 3) выведение дедуктивным путем различных следствий из выдвинутой теории, 4) проверка теории путем сопоставления с фактами дедуктивно полученных следствий [10, с. 137]. В данной работе мы не проводим сравнения различных приемов определения состава компонентов значения, поскольку исследователи исходят из разного материала и преследуют разные цели. Так, Н. И. Толстой использует компонентный анализ при решении проблем систематизации уже имеющихся определений значения языковых единиц (ср., например, анализ значений географического термина **gaj* в славянских диалектах), а О. Н. Селиверстова использует компонентный анализ в процессе установления языковых значений или отдельных их компонентов [1].

Несмотря на различие подходов к выделению семантических компонентов, большинство исследователей единодушны в том, что в решении этого вопроса важное место занимает языковой опыт и интуиция исследователя.

Среди работ по компонентному анализу есть и такие, которые специально были посвящены методическим вопросам выделения компонентов или в которых делаются попытки классификации различных подходов и принципов компонентного анализа [21—23; 24, с. 19].

Процедура выделения компонентов значения, предложенная Т. П. Ломтевым, заключается в следующем. В словарном составе языка выделяется компактная область имен, которые именуют предметы, принадлежащие к одному множеству. Над предметами выделенного множества производятся операции разбиения, которые удовлетворяют следующим трем условиям: а) подмножества общего множества не должны пересекаться; б) сумма подмножеств должна равняться общему множеству; в) подмножествами общего множества не должны быть само множество и пустое множество. Операция разбиения одного общего множества на подмножества служит для того, чтобы выделить и сформулировать дифференциальные элементы, по характеру которых выделяются подмножества в общем множестве. Для получения достаточного количества дифференциальных семантических элементов, способных выделить отдельные предметы из общего множества, необходимы несколько разбиений общего множества [21, с. 4]. Однако количество выделяемых дифференциальных семантических элементов при этом оказывается достаточно большим, а в ряде случаев приближается к числу элементов самого множества. Например, для описания смыслов слов, называющих родственников в одном поколении (*сват*, *сватья*, *муж*, *жена*, *брат*, *сестра*, *сводный брат*, *сводная сестра*), автор выделяет восемь дифференциальных семантических элементов: «свойство мужского пола», «свойство женского пола», «свойство родителя», «свойство рожденного», «свойство отношения к другому лицу по брачным связям их рожденных», «свойство отношения к другому лицу по собственным брачным связям», «свойство отношения к другому лицу по кровной связи с родителями», «свойство отношения к другому лицу по брачной связи одного из родителей». Это приводит к нарушению одного из основных принципов компонентного анализа, согласно которому значения слов должны быть представлены с помощью ограниченного и сравнительно небольшого числа семантических элементов. Кроме того, большинство названных выше семантических элементов настолько специфично для данного множества и интерпретировано таким сложным метаязыком, что использование его в других множествах практически исключено, а следовательно, с каждым новым множеством общий список элементов будет неуклонно расти.

Э. В. Кузнецова считает, что «конкретизация значения слов, обладающих одной базисной семой и входящих в результате этого в один семантический класс, осуществляется по каким-то определенным, специфическим аспектам. Внутри аспекта необходимо разграничить подаспекты. Их уровень будет достаточным для выделения сем. Например, для всех глаголов „овладения" существенным оказывается объект действия. Категория объекта, таким образом, и является аспектом, в рамках которого *происходит конкретизация лексического значения названных глаголов*» [22, с. 261]. Далее автор выделяет подаспекты: «количество объекта», «зависимость объекта от кого-либо», «местонахождение объекта», «предметная или качественная специфика объекта», которым соответствуют четыре семы: «количество объекта», «зависимый объект», «объект определенного месторасположения», «объект специфический». Таким же образом для семантического класса глаголов «овладения» устанавливаются на уровне подаспектов четырнадцать сем. При таком подходе остается все же неясным, как определить эти аспекты и подаспекты для различных лексико-семантических групп. Выделенный для глаголов «овладения» аспект «объект действия» оказывается существенным для многих глаголов, обозначающих разного рода физические действия; существенным для глаголов,

обозначающих интеллектуальную деятельность, является также аспект «содержание», близкий к «объекту действия». Но для разных классов глаголов на основании одного и того же аспекта мы можем выделить, очевидно, разные подаспекты и, соответственно, разные компоненты [25, с. 520].

Многообразие направлений и приемов в методиках выделения семантических компонентов говорит о стремлении наиболее полно и адекватно описать значения слов. Очевидно, ни один из приемов, используемых в отдельности, не способен выполнить эту задачу. Кроме того, как считает А. М. Кузнецов, «представляется сомнительным, чтобы какой-либо семасиолог, имея в своем распоряжении разнообразные приемы исследования лексических значений, заранее ограничивал себя только одним из них (если, конечно, он не преследует какие-то особые цели). И метод интроспекции, и метод оппозиции, и метод словарных дефиниций, и метод синтаксической сочетаемости помогают раскрыть какие-то новые грани в смысловой структуре слова, обнаруживают альтернативные возможности компонентного анализа» [26, с. 33]. На начальном этапе исследования, очевидно, следует использовать данные толковых словарей, а если словарные дефиниции оказываются недостаточными, переходить к попарному сравнению лексем, анализу лексической сочетаемости и другим приемам.

Наряду с процедурами выделения компонентов необходимы процедуры проверки правильности их выделения. Общим местом остается убеждение, что количественный и качественный состав выделяемых семантических элементов должен быть оптимальным, т. е достаточным для описания всех слов данной ЛСГ. Поиски объективных критериев выделения и проверки реальности компонентов имеют важное значение в плане дальнейшего развития метода компонентного анализа, поскольку «многие недостатки применения как компонентного метода, так и любого другого семантического описания связаны с процедурами проверки семантических результатов» [27, с. 298]. О. Н. Селиверстова указывает, что при проверке результатов компонентного анализа важен отбор информантов, достаточное их число, проведение повторных опросов.

В процессе выделения семантического компонента и проверки его реальности в составе семемы мы должны как-то материализовать его, т. е. закрепить за ним определенное обозначение. Но прежде чем говорить о семантическом метаязыке, остановимся на терминологии, используемой в рамках компонентного анализа. На протяжении истории развития метода для наименования смысловых единиц использовались различные термины: «дифференциальный признак», «дифференциальный элемент значения», «фигура содержания», «семантический множитель», «семантический примитив», «семантический маркер» и др. Н. Г. Долгих использует термин «компонент значения», считая его наиболее удобным, Дж. Лайонз говорит о «семантическом компоненте», а Л. А. Новиков отдает предпочтение термину «сема» [28, с. 116].

Может быть, термин «сема» и более удобен, если только он адекватно отражает сущность обозначаемой единицы. Дело в том, что иногда понятия семантического признака и семантического компонента разграничиваются, и различаются, с одной стороны, признаки, с другой — их компоненты [29]. Индивидуальные семантические компоненты (по терминологии Дж. Катца — «различители») входят в значение данной конкретной лексемы, но не входят в значения других лексем. Поэтому они менее зависимы в плане наименования и интерпретации (ср. семантические компоненты, выделяемые в прилагательных *красный* — «цвета крови», *голубой* — «цвета ясного неба» и под. [30]). Другие же компоненты существуют только в парном противопоставлении и репрезентируют определенный признак. Так, признак «пол» включает компоненты «мужской пол», «женский пол». Некоторые признаки объединяют несколько семантических компонентов, например, семантический признак «характер образования цвета, или тон» включает десять семантических компонентов. Таким образом, если за элементом значения закрепить один термин «сема», то остается неясным, что мы имеем в виду,— семантический признак или се-

мантический компонент, исходя из того положения, что компонент является носителем признака, и, следовательно, это единицы разных уровней. «Семантический признак не может быть реализован в чистом виде ни в одном слове, он представляет собой некоторую идеальную сущность и проявляется только в противопоставлении, по крайней мере, двух слов, тогда как в конкретных значениях отдельных слов фигурируют только семантические компоненты» [31]. Оставив за семантическим компонентом термин «сема», мы должны помнить, какое содержание за ним стоит.

Однако многие работы не учитывают общих проблем метода компонентного анализа, хотя он и используется в них в качестве основного или второстепенного приема. Отсюда неточность, неполнота, субъективность. Так, в некоторых работах не разграничиваются понятия семантического признака и семантического компонента. Ср. семантический компонент «положительность/отрицательность чувства», семантический компонент «интенсивность чувства» (слабое, сильное или очень сильное), семантический компонент «характер проявления чувства» (длительное или кратковременное) [32]. Если выражения, заключенные в кавычки, назвать компонентами, то как назвать слова в скобках? Некоторые исследователи в процессе анализа останавливаются на выделении признаков, не выделяя компонентов. Такой анализ может быть корректным только тогда, когда два значения различаются лишь наличием или отсутствием данного признака. Но нередко выделяются такие признаки, которые представлены в разных словах разными компонентами, часто несколькими. Как, например, представить значение какого-то прилагательного «осязания» с помощью семи дифференциальных признаков: «степень гладкости», «степень твердости», «степень остроты», «степень эластичности», «степень клейкости», «степень плотности», «степень нагретости» [33] или наименования поселений людей с помощью таких признаков (параметров), как «величина», «род занятий жителей», «характер управления», «архитектура и планировка», «образ и темп жизни», «развитость средств коммуникации», «нравственный фактор», «характер и частота контактов людей» и др. [34]?

Что касается семантического метаязыка в целом, то этот вопрос, как правило, в работах по компонентному анализу остается без внимания. Очевидно, такое положение связано с тем, что семантические единицы трактуются как одноплановые, а следовательно, способ их выражения выглядит как проблема второстепенная, не играющая существенной роли в самом анализе. Разногласия в этом вопросе сводятся в основном к тому, какой язык, естественный или искусственный, использовать для этой цели. Сторонники искусственного языка описания аргументируют свой выбор тем, что элементы семантического метаязыка не должны смешиваться со словами естественного языка, и поэтому в нем используются символы математической логики, цифровые или буквенные единицы, искусственно созданные слова и т. д. Другая точка зрения отражает убеждение, что естественный язык — такой объект, который сам себе может быть метаязыком. Так, Н. З. Котелова замечает, что «задача создания искусственного языка, описывающего, например, всю лексическую семантику, представляется некорректной и утопической» [35, с. 20]. Наконец, третья позиция является компромиссной и исходит из того, что «в семантических толкованиях могут быть использованы как единицы естественных языков, так и искусственные слова и символы, введенные исследователем или заимствованные им из других наук, а также средства „изобразительного языка“ (рисунки, графы)“. Все единицы метаязыка в этом случае делятся на два типа: «те, которые не нуждаются в дефиниции, и те, которые нельзя использовать без предварительного определения» [36, с. 130].

Какие же требования должны предъявляться к семантическому языку? А. Вежбицка считает, что метаязык семантики должен быть ясным и понятным, чтобы в свою очередь не требовать специального объяснения [37]. Ю. Д. Апресян называет двумя важнейшими составными частями метаязыка словарь и синтаксис. Словарь семантического языка должен удовлетворять следующему условию: каждое его слово должно выражать ровно одно, по возможности элементарное значение, а каждое элементар-

ное значение должно выражаться ровно одним словом семантического языка, совершенно независимо от того, в составе какого толкования оно встречается. Синтаксис семантического языка, как и его словарь, должен обеспечивать однозначность записи значений [38, с. 70—74].

Однако словарь семантического языка в идеале пока никем не был создан, а анализ работ, содержащих семантические компоненты, говорит о полной произвольности выбора элементов такого словаря. Элементарный смысл нередко интерпретируется не одним словом, а развернутым словосочетанием. С другой стороны, один и тот же смысловой элемент в составе одной и той же семемы у разных авторов выражается различными способами. Так, для прилагательных, характеризующих лицо по отношению к другим людям, выделены компоненты: «заботящийся о том, чтобы окружающие имели высокое мнение о нем», «не проявляющий расположения, благосклонности к другим» [14]. Для прилагательного *глупый* в результате одного анализа установлен компонент «имеющий или проявляющий умственные способности ниже определенной нормы» [39, с. 17], а при другом анализе выделены другие компоненты: «ограниченно способный рассуждать» и «неправильно усваивающий» [21].

По поводу взаимоотношений компонентов внутри одной семемы существует как будто общее убеждение, что семантические элементы не равнозначны, а образуют некоторую иерархию. Анализируя эти иерархические отношения, Т. Р. Хофман приходит к выводу, что смысл слова может быть представлен посредством смысловых «атомов», одни из которых взаимно упорядочены, а другие нет, причем между «атомами» необходимо различать разные типы отношений. Для этого автор предлагает использовать семантические «сети», которые учитывают не только основные, но и факультативные элементы [40]. Последнее различие, т. е. неодинаковая роль разных семантических компонентов в структурной организации значений, приводит к выделению компонентов двух видов: главных (ядерных, опорных, «архисем» и т. п.) и дифференциальных (различительных, видовых и т. д.). Иногда выделяют скрытые компоненты, в других случаях «потенциальные семы», которые отражают потенциальные свойства предметов и актуализируются в определенных условиях. С. Е. Биятенко, например, различает «лексикализованные семы», в которых, по мнению автора, отражается определенная сторона плана содержания, не находящая своего структурного выражения в дистрибутивных формулах. Так, немецкий глагол *glänzen* получает лексикализованные семы «неподвижность» и «длительность» [41].

Иерархическая организация семантических элементов не абсолютна в том смысле, что выделяемые интегральные и дифференциальные семантические признаки являются таковыми лишь в рамках данной семемы или ЛСГ. За их пределами эти признаки будут менять свой статус, т. е. потенциальные признаки могут стать дифференциальными, а дифференциальные интегральными. Так, в словах с переносным значением потенциальные семантические признаки актуализируются и становятся дифференциальными [42], а если мы объединим две или более ЛСГ, то признаки, выделенные в качестве интегральных для каждой ЛСГ, будут в новом объединении дифференциальными и т. д. В этом проявляется диалектический характер языкового значения.

Вопрос о количественном составе элементарных единиц значения рассматривается в двух планах: количество компонентов в составе семемы и количество их в ЛСГ или в словаре в целом. Логически кажется оправданным представление, что семема, являясь членом определенной оппозиции, должна состоять не менее, чем из двух сем: идентифицирующей и дифференцирующей [43, с. 53]. С другой стороны, большим числом наблюдений подтверждается эмпирическая закономерность, согласно которой количество семантических компонентов в составе семемы не превышает шести. Возможно, такое положение соотносится с «правилом шести шагов», согласно которому два любых слова содержат в своих дефинициях общий семантический компонент не далее, чем через шесть шагов по словарю [44, с. 77].

Число семантических компонентов, необходимых для описания совокупности значений лексико-семантической группы, определяется на практике характером этой группы, количеством ее членов, а также способом выделения самих компонентов. При этом должны соблюдаться два основных принципа: число элементарных единиц значения должно быть небольшим («требование экономности»), но достаточным для того, чтобы все лексические значения в рамках фиксированного объекта были описаны исчерпывающим образом («требование полноты») [38, с. 71].

Анализируя лингвистические работы, в которых используется метод компонентного анализа, можно заметить, что количество выделяемых семантических компонентов неодинаково для разных лексико-семантических групп с одинаковым количеством лексем. Так, для ЛСГ «характеристика лица», содержащей 19 лексем, выделяется 20 семантических компонентов; для ЛСГ «наименования посуды», содержащей 24 лексемы, выделено 28 сем; для прилагательных с общим значением «оценка», включающих 114 лексем, выделено всего 9 семантических элементов; для 360 прилагательных с общим значением «пространство» выделено 119 семантических элементов. Причем с увеличением объема ЛСГ количество семантических элементов если и увеличивается, то незначительно. Кроме того, некоторые семантические компоненты, несмотря на разные именования, совпадают по своему объему. Например, семантические компоненты «насыщенность больше нормы», «насыщенность меньше нормы» были выделены разными исследователями для различных ЛСГ: для прилагательных, обозначающих вкус, и прилагательных со значением «цвет», соответственно для ЛСГ «страх» выделяются компоненты «потеря способности рассуждать», «сохранение способности рассуждать», а для ЛСГ «свойства ума» выделяются компоненты «способный рассуждать», «не способный рассуждать». Менее же специфичные семантические компоненты (типа «большое количество», «малое количество», «наличие», «отсутствие» и под.) повторяются во многих семантических областях.

Несмотря на довольно распространенные скептические замечания по адресу метода и отдельные неудачные попытки в его применении, компонентный метод в настоящее время широко и успешно используется для исследования и описания самых различных пластов словаря. Конечно, если бы во всех работах соблюдалось «требование экономности» и некоторые общие принципы именования, то, казалось бы, можно было составить общий перечень исследованных групп и список семантических компонентов в них. Однако практически это оказывается трудно осуществимым. Во-первых, в рамках компонентного анализа фигурируют и такие группы слов, значения составляющих в которых не полностью раскладываются по дифференциальным признакам (например, слова, обозначающие фрукты). Во-вторых, в подавляющем большинстве работ исследованию подвергаются небольшие и сравнительно несложные группы слов, совокупность которых не покрывает словарь без остатка. К этому следует добавить различия в понимании сущности семантических компонентов, процедурах их выделения и интерпретации, а также неодинаковый объем подвергающихся анализу групп у разных исследователей. Все это отражается на результатах и, в частности, на числе компонентов и способах их выражения, что затрудняет, а иногда делает невозможным их систематизацию или перенос результатов анализа одной ЛСГ на другие.

Попытка такого переноса, вероятно, впервые сделана А. Вежбицкой [37], в книге которой в качестве исходного списка семантических неопределяемых, или примитивов, используется четырнадцать выражений естественного языка и с их помощью интерпретируются значения слов. Причем автор утверждает, что с помощью этих элементов или их эквивалентов в любом другом естественном языке можно представить не только значения отдельных слов, но и значения всех словесных высказываний и определить все семантические отношения, существующие между различными выражениями. Однако автор не находит решения проблеме интерпретации видовых понятий в широком смысле, как, например, *кошка*, *роза*, *яблоко* и под. В известном смысле они необъяснимы, но они не входят в число и

первично неопределяемых, как *я*, *часть*, *это*, *мир* и др., поскольку не являются компонентами, из которых строятся значения других выражений. Семантическую структуру видовых наименований автор связывает с собственными именами и предлагает такое их толкование: Человек по имени Джон = человек, представляя которого, мы говорим «Джон»; Кошка = животное, представляя которое, мы говорим «кошка»; Роза = цветок, представляя который, мы говорим «роза». При таком подходе все видовые наименования, а их в языке очень много, остаются за пределами семантической интерпретации. Кроме того, используя лишь четырнадцать неопределяемых, автор строит довольно громоздкие толкования, в которых семантические компоненты неоднократно повторяются в разнообразных комбинациях [37, с. 99]. А. Вежбицка замечает, что в процессе исследования начальный список семантических примитивов постепенно сокращался, т. е. исходит из принципа минимизации числа компонентов.

Вопрос о количественном составе семантических компонентов, которые можно было бы считать универсальными для всего словаря, является скорее практическим, чем теоретическим. Однако замена «требования экономности» принципом минимизации, которому следует А. Вежбицка, на наш взгляд, не оправдывает себя.

Установление полного набора семантических компонентов в настоящее время не представляется возможным. Однако уже сейчас можно сказать, что проблема эта может быть решена, и решение это следует искать, очевидно, в более строгом подходе к методу компонентного анализа. Во-первых, при анализе отдельной лексико-семантической группы необходимо исследовать значения всех слов, входящих в данную группу. При выделении и интерпретации выделяемых компонентов следует учитывать возможность вхождения их в значения слов других лексико-семантических групп. При проведении компонентного анализа следует, очевидно, придерживаться такого правила: лишь тогда признак или компонент являются релевантными для данной семемы, если существует в языке другая семема, отличающаяся от первой только отсутствием данного признака или наличием другого компонента, представляющего тот же самый признак. Направления исследований нужно распространять на различные группы словарного состава, которые в совокупности отражают определенную «картину мира» [30, с. 20—22; 44, с. 257; 45, с. 45]. Анализ различных областей словаря и их систематизация необходимы для того, чтобы ответить на вопрос, весь ли словарь мы можем описать с помощью компонентного анализа. Необходимо выяснить, какие области не поддаются такому описанию и почему.

Среди работ по компонентному анализу есть работы сопоставительного характера. В этом аспекте анализу были подвергнуты, например, названия орудий для земляных работ в русском и французском языках; балтийская географическая терминология в сопоставлении со славянской; ЛСГ существительных со значением «страх» в русском и французском языках; термины родства в английском, французском, испанском, датском и других языках и т. п. Авторы подобных исследований приходят к выводу, что во многих случаях количество выделяемых семантических элементов для разных языков одинаково. Так, ЛСГ существительных со значением «страх» во французском языке составляет 19 лексем, в русском — 10, но выделяемые дифференциальные семантические признаки совпадают в обоих языках: для пяти семантических признаков установлено десять семантических компонентов. Термины родства в датском языке отличаются от соответствующих групп в английском, французском, испанском и некоторых других языках наличием дополнительного признака «направление родства», остальные признаки совпадают. Обозначения животных, вступающие в оппозиции по дифференциальным признакам «категория», «вид», «пол», образуют микросистемы, насчитывающие примерно одинаковое число членов в каждом из 10 языков. Подобные выводы служат доказательством универсальности семантических признаков для многих языков, но поскольку несоответствия тем не менее довольно заметны, та-

кая универсальность распространяется не на все признаки. Это вполне согласуется с одной из гипотез современной лексической семантики о существовании некоторого совокупного универсального набора семантических компонентов, из которого каждый язык выбирает комплекс единиц меньшего объема. Чтобы подтвердить эту гипотезу, нужно сопоставить полные списки компонентов хотя бы по нескольким языкам. Но такого списка нет пока ни для одного языка. Создание словаря семантических компонентов явилось бы важным шагом на пути к решению ряда проблем семантики [ср. 46].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Селиверстова О. Н.* Компонентный анализ многозначных слов (на материале некоторых русских глаголов). М., 1975.
2. *Никитин М. В.* Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974.
3. *Звегинцев В. А.* Зарубежная лингвистическая семантика последних десятилетий.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
4. *Васильев Л. М.* Методы семантического анализа.— В кн.: Исследования по семантике. Межвузовский сборник. Вып. II. Уфа, 1975.
5. *Бережан С. Г.* Онтологический статус семантики языка и ее единиц.— В кн.: Теоретические проблемы семантики и ее отражение в одноязычных словарях. Кишинев, 1982.
6. *Гак В. Г.* К проблеме гносеологических аспектов семантики слова.— В кн.: Вопросы описания лексико-семантической системы языка: Тезисы докладов. Ч. I. М., 1971.
7. *Бирвиш М.* Семантика.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
8. Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. М., 1971.
9. *Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
10. *Селиверстова О. Н.* Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
11. *Залевская А. А.* Вопросы организации лексикона человека в лингвистических и психологических исследованиях. Калинин, 1978.
12. *Шпеер О. Л.* О роли компонентного анализа в изучении механизма изменения лексического значения.— В кн.: Очерки по лексике и фразеологии. Ростов-на-Дону, 1976.
13. *Посох А. В.* Компонентный анализ семантики.— В кн.: Методы изучения лексики. Минск, 1975.
14. *Шипицына Г. М.* Об одном методе семного состава членов лексико-семантической парадигмы.— Научн. тр. Свердловского пед. ин-та, 1975, сб. 253, вып. 2.
15. *Улько В. Ф.* Опыт компонентного анализа семантической структуры прилагательных, обозначающих слабость.— В кн.: Английская филология. Краснодар, 1976.
16. *Буслаев Д. А.* Опыт компонентного анализа существительных, обозначающих эмоции, в английском языке.—В кн.: Вопросы филологии и методики преподавания германских и романских языков. Вып. 4. Воронеж, 1972.
17. *Кузнецов А. М.* О применении метода компонентного анализа в лексике.— В кн.: Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. М., 1971.
18. *Кожевникова Л. А.* Некоторые вопросы синтаксической и лексико-семантической сочетаемости глаголов мышления.— Уч. зап. МГПИИЯ, 1968, т. 45.
19. *Гриневич Т. С.* К вопросу о методике определения значения на семасиологическом уровне.— В кн.: Вопросы романо-германского и славянского языкознания. Минск, 1975.
20. *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии.— В кн.: Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968.
21. *Ломтев Т. П.* Принципы выделения дифференциальных семантических элементов.— Уч. зап. [Пермского гос. ун-та], 1969, № 192.
22. *Кузнецова Э. В.* О путях выделения компонентов значений слов при описании лексико-семантических групп.— В кн.: Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972.
23. *Долгих Н. Г.* О трех направлениях в разработке метода компонентного анализа применительно к лексическому материалу.— ФН, 1974, № 2.
24. *Степанова Г. В., Шрамм А. Н.* Введение в семасиологию русского языка. Калининград, 1980.
25. *Апресян Ю. Д.* Английские синонимы и синонимический словарь.— В кн.: Англо-русский синонимический словарь. М., 1980.
26. Проблемы лингвистической семантики: Реферативный сборник. М., 1981, с. 33.
27. *Селиверстова О. Н.* Некоторые типы семантических гипотез и их верификация.— В кн.: Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
28. *Новиков Л. А.* Семантика русского языка. М., 1982.
29. *Путягин Г. А.* Семантический анализ слов, называющих человека по возрасту (на материале имен существительных).— Науч. тр. Курского пед. ин-та, 1974, т. 47.

30. *Соколовская Ж. П.* Система в лексической семантике. Анализ семантической структуры слова. Киев, 1979.
31. *Кузнецов А. М.* Проблемы компонентного анализа в лексике. Научно-аналитический обзор. М., 1980.
32. *Шахова Л. И.* Структурно-функциональная характеристика лексико-семантической группы существительных «чувства, переживания» в русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1980.
33. *Нестерская Л. А.* Анализ лексико-семантической группы прилагательных как лексической микросистемы современного русского языка (прилагательные осязания): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1979.
34. *Линнек Н. М.* Семантическое поле «поселения людей» в современном английском языке (опыт анализа структуры).— В кн.: Некоторые вопросы зарубежной филологии и методики преподавания иностранных языков. Орджоникидзе, 1974.
35. *Котелова Н. З.* Значение слова и его сочетаемость. Л., 1975.
36. *Селиверстова О. Н.* Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
37. *Wierzbicka A.* Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972.
38. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
39. *Шрамм А. Н.* Принципы семантической классификации качественных прилагательных в русском языке.— В кн.: Вопросы семантики. Вып. I. Л., 1974.
40. *Хофман Т. Р.* В защиту смысловых атомов.— В кн.: Предварительные публикации [Проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике Ин-та русского языка АН СССР]. Вып. 110. М., 1978.
41. *Биятенко С. Е.* Некоторые виды анализа смысловой структуры глагола.— В кн.: Проблемы германской филологии. Рига, 1968.
42. *Хромых Г. С.* Семантический анализ названия помещений в русском и английском языках.— В кн.: Вопросы филологии и методики исследования. Воронеж, 1975.
43. *Войтик Л. С.* О системной организации лексико-семантической группы наименований животных.— В кн.: Иностранный язык. Вып. 7. Алма-Ата, 1975.
44. *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1976.
45. Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ. М., 1982.
46. *Караулов Ю. Н.* Частотный словарь семантических множителей. М., 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

АГРИКОЛА Э.

МИКРО-, МЕДИО- И МАКРОСТРУКТУРЫ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА СЛОВАРЯ

Несмотря на то, что лексикография имеет относительно длительную историю, вплоть до настоящего времени не удалось создать систематическую и непротиворечивую теорию лексикографии, на основе которой можно было бы составлять словари совершенно нового типа, в частности такие, которые включали бы информацию, качественно отличную от обычно используемой. Возникают следующие вопросы: поскольку лексикография на протяжении всей своей истории не имела возможности опереться на собственную лексикографическую концепцию, правомерно ли считать, что у нее есть история вообще? Какой могла бы быть лексикография, если бы она опиралась на солидную теоретическую основу? В настоящее время можно констатировать, что результаты работы специалистов в этой области, к сожалению, существенно отстают от достижений общей теоретической лингвистики (ср. работы Гримма, Пауля, Трира, Найды, Греймаса и др.). Это стало наиболее очевидным с тех пор, как семантика снова начала включаться, наряду с синтаксисом, в теорию грамматики, а компоненты словаря заняли ведущее положение как промежуточное звено между морфолого-синтаксической, семантической и звуковой структурой высказывания.

Интенсивно развивающиеся в последние 25 лет исследования в области теории семантики (особенно теории языковой деятельности и текста, психолингвистики и других дисциплин), а также изучение сущности и назначения словаря делают все более очевидными слабые стороны лексикографических трудов, которые до сих пор не преодолены. Это дает возможность сформулировать основную цель будущих лексикографических исследований: «модернизировать» теоретические принципы составления словарей. При этом следует избегать крайностей — лишь частичного обновления словаря (только определенные группы лемм или их совокупности подвергаются пересмотру в свете новых теоретических данных) или слишком поспешного его составления (это относится, в частности, к словарю [1]; ср. суровую, но справедливую критику этой работы [2]). Реальный путь, который мог бы привести к желаемым результатам, заключается в целенаправленной разработке специальной теории лексикографии как одной из дисциплин общей лингвистики. В последние пять лет это требование стали выдвигать все чаще и чаще, причем не раз высказывались плодотворные идеи и соображения по этому вопросу. В связи с этим можно упомянуть программные работы [3—5], выполненные группой исследователей во главе с Г. Дроздовским, а также сборник [6], подготовленный Центральным Институтом языкознания АН ГДР. И все же содержащиеся в этих работах соображения о целях и объеме предполагаемых исследований еще не дают возможности непосредственной разработки зрелой, законченной теории и ее применения в лексикографической практике.

Процесс теоретического обоснования работы по созданию словарей можно, видимо, несколько ускорить, если придерживаться той стратегии, перспективы и возможности которой начали исследоваться группой научных сотрудников из ГДР. Основная задача заключается в анализе результатов и достижений современной лингвистической теории (особенно в области семантики и словарного состава языка), причем такой анализ нацелен на установление возможностей использования теории в лексико-

графической практике. Это значит, что на примере одной показательной-конкретной, но пригодной для обобщения группы единиц словаря ставится задача исследовать все значимые для целей лексикографического описания явления и проблемы в той мере, в какой они получили освещение в теоретической семантике. Такое исследование должно проводиться на основе принципа тесной системной взаимосвязи семантических микро-, медио- и макроструктур [1]. Результаты этой работы могли бы найти отражение в труде общего характера, обладающем широкими возможностями применения. Этот труд не будет еще словарем в общепринятом понимании. Он будет использоваться как банк разнообразных данных, а также служить руководством и справочным пособием, отражающим уровень научного познания в области лексикологии, лексикографии и языкознания в целом. Такого рода «модельный словарь» должен, как следует из его рабочего, хотя и не совсем удачного названия, стать образцом отбора словарных единиц, промежуточной ступенью систематической оценки результатов семантических исследований в трех плоскостях: на логико-семантическом уровне, на уровне лексикологической обработки, а также на уровне представления некоторых замкнутых подсистем словарного состава (речь идет, в частности, о тех группах слов основного словарного состава, которые после обработки по лексикографическим параметрам могут быть представлены в качестве образца определенной группировки лексики).

Основная цель такого рода предварительных исследований заключается, таким образом, в том, чтобы выяснить, возможно ли (и в какой мере) включать в описание структуры, постулируемые лингвистическими теориями, и использовать соответствующий инвентарь единиц и типы реляционных связей; можно ли осуществлять эти операции в таком объеме, чтобы описать исследуемую совокупность лексем как в плане дифференциации и классификации, так и в плане экспликации элементов, и установить иерархию парадигматических и коллокативных связей, общих для больших групп лексем. Основой словарной работы в будущем должна стать теоретическая разработка общих системных связей во всем их многообразии. Особого внимания заслуживают вопросы диалектической связи, взаимной зависимости и взаимовлияния семантических микроструктур, с одной стороны, и парадигматических и синтагматических макроструктур — с другой. Принципиально новым в этой целеустановке является то, что используемые в словаре данные не ограничиваются ориентацией только на языковую компетенцию адресата (в частности, при толковании какого-либо одного типа отношений между единицами словаря, как это имеет место, например, в словарях синонимов или антонимов). В предлагаемом модельном словаре ведущим является конкретное представление комплекса этих связей с учетом возможности сравнения и проверки их, а также исследование причин, обусловливающих существование именно данных отношений.

Таковы предварительные замечания в связи с общей концепцией и основными задачами проекта словаря. Далее будут рассмотрены некоторые наиболее существенные части нашей предполагаемой работы, а именно: выделение типов информации и анализ некоторых проблемных вопросов.

Структура лексем (микро- и макроструктура). Непосредственными объектами и основными элементами анализа при создании модельного словаря (словаря-образца) указанного типа является совокупность лексем, целенаправленно отбираемых из словарного состава языка. В данном

[1] Под «микроструктурой» автор понимает то, что в советской лексикографической и лексикологической традиции носит название «семантической структуры слова», т. е. взаимоотношение ЛСВ полисемантического слова. «Медиоструктурой» называется внутренняя организация лексико-семантических групп, выделяемых в словнике (лексиконе) на разных основаниях (т. е. структура семантических полей, тематических групп, ассоциативных полей). «Макроструктуру» лексикона образуют синонимические, антонимические, омонимические, паронимические отношения на всем массиве словника того или иного словаря. Иными словами, под «макроструктурой» следует понимать внешние связи семантических полей, тематических и лексико-семантических групп, т. е. внешние связи единиц, составляющих «медиоструктуры».

случае к ним относятся монемные элементы словаря, которые выступают в форме корневых и деривационных слов и других сложных по своему формантному строению единиц. При этом не игнорируется, а лишь отодвигается на задний план проблематика, которая возникает дополнительно в связи с анализом паралексем и фразеологизмов всех типов. Точно так же не снимается дискуссионный вопрос относительно понятия слова.

Значения лексем как элементов словаря (и классов знаков) понимаются как когнитивные смыслы тех билатеральных, абстрагированных от словоформ знаков (семем), которые в результате компонентного анализа могут быть описаны в форме структуры сем или семантических признаков (инвариантных, обобщенных межсубъектно-связанных элементов, воспроизводящих объективную реальность) [7]. Такой способ представления значения лексем и основанное на нем толкование сигнификативных единиц следует понимать и как внутреннюю семную структуру денотативно-референтного состава значения, и как основу парадигматических и синтагматических связей. Исходными могли бы стать методы анализа, предлагаемые, например, Г. Вотьяком [8] и О. Каде [9]. Глубина и точность анализа предполагают, в частности, наличие компромисса между научно обоснованной, объективно и теоретически оправданной формой, предикативно-логической по своей сути, и возможностью создания на ее основе вербального представления. В отдельных случаях глубина и точность анализа зависят от определенных требований. Так, глубина проникновения в смыслы, дифференцирующие семемы, будет весьма отличаться от глубины их распределения.

Еще одним существенным результатом семемного анализа должно явиться более точное исследование медиоструктуры. Последняя определяется возможностями членения обобщенного значения полисемной лексической единицы, дифференциации отдельных вариантов лексем по их различительным признакам и (в отдельных конкретных случаях) возможностями выявления более или менее широко разветвленных взаимных подчинительных связей. Все это будет способствовать более точному пониманию различных вариантов лексем, способов их употребления и контекстного варьирования. В то же время существует необходимость выявления общих правил для случаев разного рода переноса значений, что дает возможность описать отношения между метафорическими, метонимическими и другими видами несвободного словоупотребления таких вариантов (если они выделимы) в виде «словарных», «свободных» вариантов. А. Нойберт [10] приводит несколько примеров, демонстрирующих «ступени отклонения» от основного значения для нем. *traurig*(=x) «печальный»: 1) «быть в состоянии x» (*traurige Person*); 2) «выражать состояние x» (*trauriges Gesicht*); 3) «быть причиной состояния x» (*trauriger Roman*); 4) «иметь признаки состояния x» (*traurige Zeiten*).

Целенаправленное упорядочение лексем и их вариантов в общей системе связей макроструктуры словарного состава языка обусловливает необходимость и возможность более точного представления медиоструктуры лексем. Например, в немецкой лексеме *Film* «фильм» можно однозначно выделить, по крайней мере, шесть различных синонимичных рядов, которые указывают на членение значения на шесть разрядов (вариантов), находящихся друг к другу в отношении производности в такой последовательности:

1) $Film_1$ = *Schleier* = *Schicht* = *Hauch* = *Belag*
2) $Film_2$ = *Aufnahmematerial* = *lichtempfindliche Schicht*
3) $Film_3$ = *Streifen* = *Filmstück* = *Filmhandlung* = *Kinostück*
4) $Film_4$ = *Kino* = *Vorstelleung* = *Vorführung* = *Darbietung*
5) $Film_5$ = *Filmgesellschaft* = *DEFA*
6) $Film_6$ = *Filmwesen* = *Filmschaffen* = *Filmbranche* = *Filmkunst*

В связи с различиями в коллокативном поведении вариант такой лексемы, как $Schnee_1$ («форма выпадения осадков»), следует дальше членить на $Schnee_{1a}$ («осадки в форме замерзших частичек, хлопьев, кристаллов,

которые выпадают из атмосферы на поверхность земли») и *Schnee*$_{1b}$ («скопление таких частичек на поверхности земли»).

Толкование значения как ревербализованного результата компонентного анализа семантики и описания структуры должно базироваться в рассмотренных случаях на дефиниционных парафразах, т. е. должно иметь базовую структуру дискурсивного аналитического определения. Последнее представляет собой синтагму, конструируемую из самостоятельно лексикализованных элементов и отношений в структуре семантических признаков леммы (дефиниендума), основными компонентами которой являются родовой признак (genus proximum) и отличительный признак (differentia specifica). Процесс перефразирования [11, гл. 2] происходит наряду с уменьшением постоянных, релевантных характеристик одних признаков под влиянием других, что ведет в свою очередь к их взаимодействию и комбинированию со специализированными, менее релевантными и относительно свободно выбираемыми признаками. Глубина слияния признаков определяется, как правило, на основе положения, согласно которому совокупность используемых дефиниционных элементов является величиной конечной и релевантной. В качестве опорной единицы при создании модельного словаря можно воспользоваться словесным объяснительным построением типа следующего (в приведенном примере особо важны род и число объяснительных единиц, а не набор или содержательная правильность): *kupieren*$_3$: «verkürzen // Ohrenteile und bzw. oder Schwanzteilen /bei Hunden/bestimmter Rassen/durch Beschneiden/zur Veränderung des Aussehens (der Hunde)». В настоящее время нет возможности определить, в какой мере и в какой форме можно использовать энциклопедическую информацию так называемого «общего знания» при составлении объяснений в словаре и в качестве критерия для определения условий коллокации. Мы отказываемся от применения обозначений «определение», «описание», «объяснение» при передаче или перефразировании значения в общем словаре, ибо такое объяснение не может и не должно соответствовать использованию этих терминов в сугубо научном и особенно естественнонаучном обиходе.

Несмотря на общее требование построения структуры значения с учетом родового и отличительного признаков, в некоторых случаях и для некоторых типов значений бывает невозможным включать в описание определенный набор свойств или толковать значение в объеме его составных частей. Для определенных классов лексем, например, для служебных слов типа союзов, предлогов, отрицательных частиц, необходимо выработать совершенно другие приемы описания значения. Союзы можно интерпретировать как знаки соединения, которые имеют характер указателей при осуществлении операций над конъюнктами с учетом условий употребления. Наряду с рассмотренными видами значения лексемы могут содержать информацию весьма гетерогенного характера, которую часто обозначают такими терминами, как «коннотация», «прагмема» и которая сигнализирует о допустимых или типичных условиях коммуникативного использования соответствующей единицы словаря. Поскольку отсутствует подходящее обозначение для этого явления, предлагается использовать глобальное, но вполне возможное наименование «неденотативная часть значения». Для системного описания лексического состава языка в современных словарях необходимо провести всесторонний анализ этого аспекта значения и определить характерные особенности, отличающие его от семантических структур, с тем чтобы и отдельные лексемы, не обладающие денотативно-референтными признаками значения, описать с учетом такой дополнительной информации. Речь идет не только об определении сфер собственного употребления лексем, но и о вычленении критерия для классификации парадигматических рядов, например, синонимических, или для определения коллокативных отношений.

Сведения о валентных свойствах лексем. Некоторые разряды лексических единиц требуют для полноты описания структуры их значения и способов правильного употребления включения сведений об их валентных свойствах, в соответствии с которыми осуществляется соединение слов с

теми или иными классами и подклассами других элементов. Из множества различных научных трактовок валентности наиболее пригодными для достижения однородности в репрезентации значений и толковании содержания слов являются те концепции, в которых валентность трактуется как синтагматическое явление, базирующееся на семантическом отношении предикатно-аргументной структуры предложения и предопределяющее синтаксические функции и связи потенциальных членов. В качестве исходного может служить следующее определение [12]: валентность — это синтагматическое свойство некоторых лексических единиц, которое дает им возможность — в соответствии со структурой их семантических компонентов — вступать в связи с некоторым количеством и определенным видом аргументов, которые выступают в качестве конституентов предложения. Иными словами, валентность понимается как способность открывать свободные места для актантов определенного количества и вида. В этом смысле наряду с глаголами, валентные свойства которых наиболее очевидны и потому наиболее подробно описаны, носителями валентных связей и отношений являются также прилагательные, союзы и часть существительных (Б. Зандберг [13], например, выделяет нелексикализованные субстантивированные инфинитивы и три типа абстрактных имен). Вопрос о валентных свойствах других классов слов требует еще основательного изучения. Лексикографическое использование валентных данных может идти по пути, который предлагают Бальвег-Шрамм, Шумахер и др. [14]. Такое описание предполагает, наряду с непременным учетом семантики носителей валентности (т. е. базовых признаков), также системный семантический анализ аргументов/актантов по их количественным, семантико-функциональным признакам (семантическим падежам и ролям) и по облигаторным семантическим параметрам, характеризующим их селективные свойства. На следующем этапе проводится соотнесение семантических отношений и признаков с синтаксическими функциями актантов на основании данных о синтаксических свойствах, функциях, дистрибуции актантов в поверхностной структуре и их морфологической форме как типовых членах предложения, включая предлоги. Основная проблема при выявлении селективных признаков заключается в том, чтобы охватить конкретные валентные связи и только их включать в описание. Дело затрудняется тем, что указанные условия отнюдь не всегда оказываются облигаторными. Так, вполне возможно, что аргумент может относиться не только к человеческому существу, но и к персонифицированным предметам или к техническим приборам. Кроме того, на уровне «прагматической валентности» (термин Ружички [15]) следует решить вопрос о факультативном исключении актантов.

Макроструктура лексикона. Из указанного выше диалектического отношения между микроструктурами лексических единиц и их макроструктурными отношениями следует, что только некоторые виды информации, релевантные для отдельного элемента, определяют совокупность его значений и условия использования: речь идет о денотативно-референтном содержании, позиции в парадигме и совокупности потенциальных коллокативных партнеров. Основная задача исследования указанной проблематики и работы по созданию словарей нового типа состоит в том, чтобы теория и методика работы над словарем могли служить целям комплексного описания различных видов связей внутри лексико-семантической субсистемы, охватывать их в наиболее полном объеме и в обозримой форме, пригодной для практического использования. Поскольку функциональные свойства лексем, являющихся элементами словаря, давно уже не рассматриваются как нерасчленяемые значимые единства и как самостоятельно разлагаемые единицы, а их внутренняя структура в общем и в частностях считается доступной для анализа, то в этом случае и сфера семантических отношений между лексемами должна стать объектом системного и объективного исследования. Для них можно установить границы, причем несмотря на большое число элементов они являются в известном смысле предопределимыми.

Следует еще раз подчеркнуть, что ожидаемые результаты сами являют-

ся самостоятельной целью исследования, которая состоит в анализе и описании структуры лексикона как такового; с другой стороны, эти результаты являются предварительным условием для того, чтобы к каждой отдельной лексеме на наиболее поздней стадии составления словаря «подогнать» соотносимые с ней части системного значения или дать ссылки на последние. Last but not least эти результаты являются необходимым условием того, чтобы каждой единице непротиворечиво приписать соответствующее объяснение значения, полученное на основе ее рассмотрения в рамках макроструктурной группировки.

Отношения синонимии. По вопросам синонимии (также как и антонимии) существует богатая литература теоретического и методического характера, включающая также работы по описанию разных типов группировки слов. В рамках предлагаемого модельного словаря внутренняя структура субсистемы синонимов мыслится как последовательность элементов с постепенно убывающими связями по отношению к основному значению. Каждый элемент последовательности связан с общим элементом (ведущим синонимом, семантической доминантой) [11, гл. 4], который часто репрезентирует базовую сему группы элементов и от которого другие единицы отличаются изменчивостью признака, контекстными семами или неденотативным содержанием, обнаруживаемым под влиянием специфических условий употребления. Этот выработанный практикой создания словарей метод разграничения единиц мог бы стать еще более объективным, поскольку, с одной стороны, критерием служат различия в описании микроструктур, а с другой — существует дополнительная возможность включения информации о характере соединительных связей, в которые вступает каждый элемент синонимического ряда. Чем больше сходные по значению лексемы имеют общих коллокативных партнеров, тем выше их «синонимичность». Основываясь на тех же принципах, можно было бы представить системные связи синонимических рядов как ряд, который по отношению к определенным группировкам коллокативных элементов выступает как состоящий из сходных элементов, находящихся в одинаковой последовательности и взаимно перекрывающих друг друга [11, с. 78—79; 91—93].

Понятие синонимичности является довольно гибким и широким. Оно относится не только к случаям строго эквивалентных соответствий типа *Fussweg* = *Gehweg* = *Gehsteig* = *Bürgersteig* = (*Trottoir*) *Etage* = *Geschoss* = *Treppe*(*n*) = *Stock*. Есть основания утверждать, что существует ряд переходов между синонимией и когипонимией/гетеронимией, как это, например, можно продемонстрировать на следующем наборе обобщающих гипонимов, соотнесенных с гиперонимом *Beherbergungsstätte*: *Hotel*, *Interhotel*, *Grandhotel*, *Jugendhotel*, *Jugendherberge*, *Rasthof*, *Gasthof*, *Hospiz*, *Motel*, *Gästeheim*, *Gästehaus*, *Fremdenheim*, *Wohnheim*, *Internat*, *Herberge*, *Landheim*, *Ferienheim*... Такого рода непрочность связей соответствует реальному строению языка, в котором существует возможность соотнести симилятивные отношения лексемы с другими единицами по признакам семантического сходства (такие отношения служат основой изотопических связей [11, с. 27—41]). Это необходимо для выражения формы текстовой когерентности даже тогда, когда связи этих единиц в предметном и специальном аспектах оказываются не совсем точными: нем. *Schall* = *Klang* = = *Ton* = *Laut* = *Geräusch*; нем. *Gleis* = *Schiene* = *Schienenstrang* = *Strecke* = = *Linie*.

Иерархические отношения. Следующим этапом является сведéние отдельных лéксем и их вариантов к системе, характеризующейся иерархическим членением по вертикали и взаимными отношениями гиперонимии/гипонимии. Распределение по этим параметрам не является проблемой, поскольку оно строится в соответствии с принципами членения значения на основе облигаторного признака genus proximum с использованием четких системных критериев: нем. *Smoking* ⊂ *Gesellschaftsanzug* ⊂ ⊂ *Anzug* ⊂ *Kleidungsstück*. Но сложности возникают все же во многих случаях в связи с тем, что включению подлежит большая группа или даже вся совокупность элементов синонимических рядов, которые связаны по-

добными отношениями. Ср. в качестве примера ряд гиперонимов, состоящий из синонимичных друг другу элементов, или гипонимическую группировку синонимических элементов в пределах ряда. Весь ряд в целом представляет собой группировку элементов, выступающих по отношению друг к другу как когипонимы/гетеронимы: ([с точки зрения:] периода жизни = возраста = возрастной группы) ⊃ (*Baby* = *Säugling* = *Kleinkind* ≠ ([*kleines*] *Mädchen* = *Kind*) ≠ ([*junges*] *Mädchen* = *Jungmädchen* = = *Backfisch* = *Teenager*) ≠ (*Frau* = *Erwachsene*) ≠ (*alte Frau* = *Alte*) ≠ ≠ (*Greisin*).

Оппозитивные отношения. Значительная часть лексического состава языка характеризуется контрастными значениями, и потому единицы словаря могут быть представлены в виде субсистемы оппозитивных отношений [11, с. 80—91]. Понятие оппозиции (как и синонимии) следует понимать широко, с тем чтобы иметь возможность все лексические пары, воспринимаемые говорящими как сильно дифференцированные или контрастные, представить в экстремных позициях под общим гиперонимом. Существование таких лексических пар является выражением логического (контрадикторного/контрарного) или диалектического (реального) противопоставления. В лингвистическом плане речь идет о следующих видах отношений: 1) конверсивности как выражении одного и того же положения вещей, реализующегося в противоположных планах: нем. *zahlen* : *kassieren* (один и тот же акт); *Steigung* : *Gefälle* (один и тот же участок улицы); *halbvoll* : : *halbleer* (одно и то же состояние в зависимости от направления прилагаемых усилий); 2) комплементарности взаимно исключающих, но обязательно связанных, предполагающих существование друг друга значений: нем. *Ebbe* : *Flut*; *Inland* : *Ausland*; 3) антонимии в узком смысле, т. е. строго семантического противопоставления, при котором взаимная связь не является обязательной: нем. *bevorzugen* : *benachteiligen*; *längs* : *quer*; 4) конвенционального или факультативного контрастирования: нем. *Material* : *Form*; *zweihändig* : *vierhändig*; *Sonne* : *Mond*. Оппозитивные отношения имеют форму парных единиц, иногда они распространяются и на третий, «нейтральный» элемент: нем. *Maximum* : (*Mittelwert*) : *Minimum*; *überlastet* : (*ausgelastet*) : *unausgelastet*. Часто расположение единиц приобретает вид шкалы, в которой можно выделить два достаточно противопоставленных элемента в качестве антонимов: нем. *bettelarm* : *arm* : *bedürftig* : *mittellos* : *gutgestelt* : *wohlhabend* : *reich* : *vermögend* : *steinreich*.

Как и при других парадигматических отношениях элементы рядов — в данном случае полюса противопоставления — многообразно маркируются не только как отдельные лексемы, но и как члены двух констрастирующих рядов синонимов. Поскольку варианты полисемных лексем могут выступать в качестве элементов совершенно различных оппозитивных отношений при наличии контрастивных признаков, то эти связи существенно влияют на правильность распределения лексем в ряду и на точность толкования их значения. Так, например, немецкая лексема *freundlich* образует связи по крайней мере с 11 различными антонимическими рядами слов, тогда как словари обычного типа включат только четыре-пять вариантов значения.

Коллокативные отношения, или отношения совмещаемости. Под коллокативными отношениями следует понимать совокупность семантически правильно оцениваемых синтагматических связей, которые лексема или каждый из ее вариантов могут или должны реализовать на основе семной структуры ее семем по отношению к определенным классам других единиц этого типа. Хотя связи реализуются только на синтагматико-текстуальном уровне как один из видов «минимального контекста», они заложены уже в значении каждой отдельно взятой лексемы в виде соединительных и сочетательных потенций и отражают определенные отношения между явлениями действительности. Эта обобщенная форма так называемой семной совмещаемости является обязательным, но не достаточным условием нормативной коллокации. Помимо этого, существуют семемные ограничения на совмещаемость, которые выступают как свойства конкретной языковой системы. Мы не будем подробно останавливаться здесь на этих

правилах (см. [7]). Важно, что содержание семемы не должно логически противоречить соответствующей лексеме и что должно соблюдаться условие согласования между потенциальным и реальным содержанием соответствующей семемы.

Основной целью изучения отношений совмещаемости в структуре лексемы является получение информации о характере коллокации, описываемой по принципу «центр — периферия — предел» и выделение ступеней допустимых или недопустимых типов коллокаций в каждом конкретном случае (причем обязательно в форме, соответствующей лексикографическим целям). Это значит, что информация должна содержать, например, сведения о том, для какой из следующих немецких лексем (*lichten*, *durchforsten*, *ausforsten*, *roden*, *ausroden*, *abholzen*, *ausholzen*, *urbar machen*, *abhauen*, *aushauen*...) в качестве партнеров могут выступать слова, входящие в такой ряд, как *Wald*, *Waldland*, *Waldgebiet*, *Forst*, *Holz*, *Gehölz*, *Wäldchen*, *Hain*, *Park*, *Aue*, *Dschungel*, *Urwald*, *Taiga*, *Buschland*, *Gebüsch*, ...

Наряду с изучением и описанием свойств совмещаемости лексем как таковой результаты этой работы способствуют более детальному разграничению медиоструктуры значения лексемы, например, лексемы *Symphonie*, для которой на основе различных коллокативных отношений можно выделить три вида употребления: «процесс создания произведения»/«произведение как статичный результат творчества»/«воспроизведение, интерпретация». Такого рода процедура важна в одинаковой мере и для упорядочения, и для дифференциации лексем внутри обеих парадигматических субсистем, которые связаны друг с другом функционально отношениями партнерства.

Иного рода проблемы возникают перед лингвистами в случае отсутствия дифференцированности или наличия «неясности» (по терминологии Егера-Кёница [16]). Недифференцированность имеет место, когда связи одной какой-либо значимой единицы с конкретно разграничиваемыми объектами сознания не являются достаточно точно определимыми или отсутствует возможность определить их, так что эти содержательные объекты сознания получают «глобальное» выражение и не могут быть эксплицированы через коллокативные отношения или широкие контексты. Я называю это коммуникативно обусловленное совпадение семем в медиоструктуре «гиперсememами». Примером может служить немецкая лексема *Brief*, которая почти всегда выступает одновременно и как «материальный носитель информации», и как «содержание информации», или zweit (с вариантами «gleichzeitig»/«zeitlich nacheinander»/«Rangfolge») в коллокациях с *Läufer*, *Wagen*, *Besetzung*, *Sieger*.

Непременной предпосылкой системного описания отношений совмещаемости является определение их теоретического статуса и особенно различий, которые существуют между валентными элементами или находят выражение в контекстно обусловленных семных отношениях и далее в связях общелогического характера. Можно сформулировать следующие основные характеристики валентности: валентность является особым случаем совмещаемости в самом общем понимании; валентность является потенцией и реализацией этой потенции; все коллокативные отношения базируются на валентности.

Другой стороной вопроса является решение методической проблемы: каким образом, опираясь на основную массу конкретных случаев, можно объективно, т. е. без пересечения с периферийными зонами, представить для каждой лексемы и ее вариантов объем и границы допустимых связей с другими элементами и как эти связи описать в наиболее обобщенной и в то же время достаточно конкретной форме. При этом набор коллокативных партнеров не должен сводиться к ограниченному числу примеров, отражающих в виде списка некоторое количество отобранных элементов; в то же время эти данные не должны быть излишне пространными по характеру субкатегоризации. Это можно продемонстрировать на примерах типа *schimmern* или *glitzern*. Совершенно недостаточны сведения в виде случайно выбранных слов, например, *Schnee*, *Wein*, *See*, *Kerze*, или ука-

зания типа «употребляется в отношении объектов, дающих или отражающих свет». Скорее следует обосновать сходства и различия семемных структур, характерных для отдельных элементов целостных группировок синонимов и когипонимов, например: *strahlen*, *leuchten*, *glänzen*, *funkeln*, *glitzern*, *blitzen*, *schimmern*, *blinken*, *flimmern*, *glühen*... Особое внимание необходимо обратить на потенциальные, частично или полностью общие (валентные) элементы, которые в свою очередь, в зависимости от совпадения или дифференциации по степени коллокационного «поведения», следует распределить по группам. Все объединимые в пределах определенной группы лексемы могут, но не обязательно должны быть сходными по значению; однако все близкие по значению элементы обладают сходными коллокационными отношениями.

Во многих случаях условие общности лексем, принадлежащих к самым различным понятийным группам, удовлетворяется уже в том случае, когда удается установить сходство одного или нескольких общих признаков. Эти признаки с точки зрения объяснения значения нельзя считать совершенно релевантными; в переходной области такие признаки можно отнести к энциклопедическим знаниям: *Schnee*, *Augen*, *Meer* и *Geschmeide* соотносятся с *glitzern*, ибо все они имеют общий признак гладкой и/или мокрой, отражающей свет поверхности, находящейся в постоянном движении; кроме того, наблюдатель или источник света могут менять свое место по отношению к такой поверхности.

В отличие от парадигматико-иерархических отношений обработка общей системы коллокативных отношений представляет собой в теоретическом и практическом аспектах совершенно неисследованную область. До сих пор отсутствуют даже интуитивные попытки лексикографических разработок сравнительно небольшого объема. В этой связи следует указать на то, что словари [17] можно привлечь для сравнения лишь в ограниченной мере, ибо при их составлении преследовались другие цели, а именно описание парафраз текста как интегрированной последовательности ступеней — от базисного языка к конкретным плоскостям текста. Причем непосредственно используемый материал, группируемый в виде поля лексем, соответствует вербализации так называемой лексической области.

Количество информации, подлежащей обработке, как и определение объема модельного словаря, вряд ли можно предопределить. И все же отсутствие ясности в этих вопросах не должно останавливать лексикологов и лексикографов в проведении исследований в этом направлении. Ведь и Дорнзайф [18] перед началом своей работы имел дело с беспорядочной совокупностью из 70 000—80 000 значимых единиц, которые требовалось представить в виде упорядоченной системы. Поначалу усилия должны быть, видимо, направлены на установление набора связей совмещаемости коллокативных отношений на уровне синонимических объектов со сходными или пересекающимися коллокативными элементами. Затем целесообразно провести последовательный анализ и описание ограничений применительно к конкретным лексемам. Для проведения первых экспериментов можно с успехом воспользоваться целым рядом лексических единиц с относительно ограниченным объемом коллокации, например, *lauthals*, *baß*, *schnöde* и др.

Семантические фреймы. Начиная с 50-х годов во многих нелингвистических областях (например, в психологии, социологии, вычислительной технике, сферах художественного творчества) введено понятие «frame», т. е. семантической рамки, которое также закрепилось и в лингвистике. Первоначально оно служило для описания и определения организационной единицы мыслительных структур и определенных перцептивных процессов. Хотя при лингвистическом употреблении и в лингвистических целях на передний план выдвигается необходимость расширения семантико-теоретической репрезентации посредством интеракциональных и контекстуальных связей (в том числе, толкования форм связности текстов), ведущие идеи, развитые в этой области, могут оказаться полезными при использовании непосредственно в лексикографии. Некоторые из этих идей уже давно применяются в лексикографической практике, получив,

однако, менее определенные названия и в некоторой степени «наивную» форму. Не останавливаясь на деталях формального и смыслового характера, я в заключение предлагаю рассмотреть два основных типа фреймов:

1) Ситуативные фреймы [19—21]. Они образуются из упорядоченного, репрезентируемого на нескольких пересекающихся уровнях множества пропозиций, которые характеризуют конвенциональные знания об элементах и отношениях в условиях типичных видов деятельности, типичных событий, ситуаций, состояний и их комбинаций. Такими ситуациями являются, например, «нормальные» обстоятельства и действия при посещении мест общественного питания, праздновании дня рождения, действия, связанные с посещением магазина или организаций сферы бытовых услуг. Отдельные части этой информации могли бы войти в лексикографические труды в качестве сведений о системных связях между лексемами, которые располагаются как бы по ту сторону парадигматико-синтагматических отношений (имеется в виду уточнение тех вопросов, которые относились раньше к содержанию словарей, составленных по тематическим группам). В этом случае дается, например, информация о фактических связях между леммами, такими, например, как нем. *Apotheke*, *Offizin*, *Apotheker*(*in*), *Medikament*, *Patient*, *Rezept* и др., и названиями сооружений, относящихся к этой сфере. Еще более существенной оказывается возможность единообразной обработки словарной статьи, включающей подобные группы лексем, с точным выделением связей между отдельными группами слов.

2) Словесные фреймы [22—24]. Они мотивируют, с одной стороны, отбор и включение сведений о чисто лексическом окружении лексемы, которое соответствует отдельным частям лингвистических макроструктур. С другой стороны, они в наиболее полной форме определяют включение в описание разнообразной информации общезначимого и специального содержания [например, при характеристике денотата *Uhr* «часы» по функциям, составным частям, материалу, конструкции, цвету, типу (в частности, в историческом и стилистическом аспектах), использованию и т. д.]. Страноведческие и культурологические связи слов, приводимые в некоторых словарях, по моему мнению, превосходят возможности толкового словаря. Для лексикографии было бы бо́льшим достижением, если бы с помощью комбинации сведений, содержащихся в микро- и макроструктурах, удалось дать, например, описание лексики на стыке между языковыми и энциклопедическими системами знаний, сделав такую информацию доступной для адресатов. Примером может служить информация о том, к каким животным применимо собирательное обозначение *Wild*, какие виды из них образуют группы, называемые *Herde*, *Rudel*, *Sprung*, *Rotte*, *Volk*, *Kette* и т. д., какие существуют обозначения для старых животных и для молодняка, для мужских и женских особей; существуют ли особые обозначения для потомства, как, например, *Frischen*, *Werfen*, *Wölfen*, *Setzen*. С помощью собирательного обозначения *Wild* объединяются и распределяются в одной или нескольких субсистемах лексемы из самых разных позиций парадигаматической иерархии, связанные признаком «x со свойством/функцией y». При этом происходит дублирование или изменение основных «нормальных» отношений. Для рассматриваемой группы лексики это означает следующее: некоторое — вполне обозримое — число обозначений для млекопитающих и птиц из далеко отстоящих друг от друга зоологических классов объединяется по историко-конвенциональным или закономерно установившимся признакам (пригодность для охоты и пригодность для использования) и одновременно каждое обозначение из этого конгломерата элементов со сходными функциями входит по меньшей мере в два субкласса, в каждом из которых по две когипонимических или антонимических группы. В частности, они могут входить как в группу *Haarwild*/*Federwild*, так и в группу *Hochwild*/*Niederwild*. В группе *Haarwild* различаются *Raubwild* (но без противопоставления *Friedwild*, как в случае *Raubfrisch* и *Friedfisch*). Группу *Federwild* можно далее включать в синонимичную группу *Wildgeflügel*, противопоставляемую группе *Hausgeflügel*, и выделить общий гипероним *Geflügel*.

Как видно из сказанного, в этом случае достигается та граница, за пределами которой языковые макроструктуры начинают дублироваться и оказываются под влиянием гибких или нечетких, но в любом случае изменчивых экстралингвистических принципов упорядочения слов. Языковые макроструктуры становятся подвижными, трудно воспринимаемыми, и для нас, лексикографов, являются не более чем охотничьим кодом.

Перевела с немецкого *Бабенко Н. С.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Deutsche Wörterbuch. Hrsg. von Wahrig G. Bd. I—VI. Wiesbaden — Stuttgart, 1980.
2. *Wiegand H. E., Kučera A.* Deutsches Wörterbuch [Hrsg. von Wahrig G. et al.] auf dem Prüfstand der sprachlichen Lexikologie. Tl. I — In: Kopenhagener Beiträge zur germanistischen Linguistik, 1981, 18; Tl. II.— In: Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie. Hrsg. von Wiegand H. E. Bd. II. Hildesheim — New York, 1982.
3. *Drosdowski G., Henne H., Wiegand E.* Nachdenken über Wörterbücher. Mannheim — Wien — Zürich, 1977.
4. *Henne H., Mentrup W., Möhn D., Weinrich H.* Interdisziplinäres deutsches Wörterbuch in der Diskussion. Düsseldorf, 1978.
5. Praxis der Lexikographie. Hrsg. von Henne H. Tübingen, 1979.
6. Wortschatzforschung heute. Aktuelle Probleme der Lexikologie und Lexikographie. Hrsg. von Agricola E., Schildt J., Viehweger D. Leipzig, 1982.
7. Probleme der semantischen Analyse. Hrsg. von Autorenkollektiv unter Leitung von Viehweger D. Berlin, 1977.
8. *Wotjak G.* Untersuchungen zur Struktur der Bedeutung. Berlin, 1977.
9. *Kade O.* Paradigmatische und syntagmatische Bedeutungsanalysen beim russisch-deutschen Sprachvergleich.— In: Linguistische Studien. A-57, Berlin, 1979.
10. *Neubert A.* Arten der lexikalischen Bedeutung.— In: Linguistische Studien. A-45. Berlin, 1978.
11. *Agricola E.* Textstruktur-Textanalyse-Informationskern. Leipzig, 1979.
12. *Pasch R.* Zum Status der Valenz.— In: Lingustische Studien. A-42. Berlin, 1977.
13. *Sandberg B.* Zur Represantation, Besetzung und Funktion einiger zentraler Leerstellen bei Substantiven. Göteborg, 1979.
14. *Ballweg-Schramm A., Schumacher H. et al.* Verbalvalenz-Wörterbuch auf semantischer Basis.—In: Praxis der Lexikographie. Hrsg. von Henne H. Tübingen, 1979.
15. *Růžička R.* Three aspects of valency.— In: Linguistische Arbeitsberichte. 23. Leipzig, 1978.
16. *Jäger G., Koenitz B.* Semantische Eigenschaften sprachlicher Mittel.— In: Linguistische Arbeitsberichte. 28. Leipzig, 1980.
17. *Reuther T.* Plädoyer für das Wörterbuch. Materialien zu einem erklärend-kombinatorischen Wörterbuch des Russischen für Deutschsprechende.— In: Linguistische Berichte. 57. Braunschweig, 1978.
18. *Dornseiff F.* Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Berlin, 1965.
19. *Minsky M.* A framework for representing knowledge.— In: The psychology of computer vision. Ed. by Minsky M. New York, 1975.
20. *Schank R.* Conceptual information processing. Amsterdam, 1975.
21. *Fillmore Ch.* Frame semantics and nature of language.— In: Origins and evolution of language and speech. Ed. by Harward St. R. et al. New York, 1976.
22. *Winograd T.* Understanding natural language. New York, 1972.
23. *Ballmer Th.* Frames and context structures.— In: Zum Thema Sprache und Logik. Hrsg. von Ballmer Th. Hamburg, 1976.
24. *Metzing D.* Frame representation and lexical semantics.— In: Words, worlds, and context. New approaches in word semantics. Ed. by Eikmeyers H. J., Reiesen H. Berlin — New York, 1982.

ОТКУПЩИКОВ Ю. В.

ЗАКОН ЛАХМАНА В СВЕТЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ДАННЫХ
(Гипотезы и факты)

Фонетическая закономерность, известная под именем «закона Лахмана», состоит в том, что латинские причастия перфекта на *-tus* удлиняют свой краткий корневой гласный, если соответствующий глагольный корень оканчивается на звонкий смычный: *ăgo*, но *āctus*, *lĕgo* — *lēctus*, *căndo* — *cānsus* (<**kănd-tos*), *fŭndo* — *fūsus* (<**fŭd-tos*) и т. д. (примеры с редким индоевропейским звуком **b* в латинском языке отсутствуют). Долгота гласных у причастий этого типа подтверждается: а) свидетельствами античных авторов (A. Gellii Noctes Atticae, IX, 6; XII, 3), б) наличием апекса в надписях (*áctum*, *téctor* и др.), в) отсутствием слияния гласных (**cŏăgo* > *cōgo*, но *cŏāctus*, ибо *ŏ* и долгий *ā* не сливались), г) сохранением качества долгого гласного в срединном слоге (*contāctus* — с сохранением *ā*, но *confĕctus* — с изменением *ă* > *ĕ*), д) упрощением -ss- > -s- после долгого гласного (*cāssus* > *cāsus*, но *păssus* — с сохранением двойного -ss-), е) данными романских языков (лат. *tēctum* > франц. *toit*, но *dĭctum* > *dit*); ж) греческой транскрипцией латинских слов (Ῥήκτῳ — с *η*, а не ε).

Однако эта закономерность, впервые сформулирования К. Лахманом [1, с. 54—55] («ubi in praesenti media est, participia producuntur»), обнаруживает определенные трудности, с которыми сталкиваются исследователи при попытках ее объяснения и обоснования. Прежде всего, обычно принято считать, что латинские причастия перфекта представляют собой древние и.-е. отглагольные прилагательные с суффиксальным *-t-* (типа др.-греч. ἀκτός, др.-инд. *vittáḥ*). Однако оглушение корневого смычного у этих прилагательных произошло еще в и.-е. эпоху, причем без удлинения корневого гласного, ибо ни один и.-е. язык, кроме латинского, этого удлинения не знает. Чтобы как-то спасти положение, Ф. де Соссюр предложил гипотезу о вторичном аналогическом восстановлении звонкости у латинских причастий типа *āctus* [2]. Эта гипотеза, поддержанная Ф. Зоммером [3, 136—137], не может быть признана убедительной, ибо представляет собой argumentum ad hoc: этап аналогически восстановленной звонкости реконструируется специально для объяснения закона Лахмана, причем реконструкция эта не подкрепляется ни одним фактом, кроме того же самого закона Лахмана. Получается *явный circulus vitiosus* в процессе доказательства. Кроме того, корни с исходом на *d* вообще нельзя объяснить с помощью этой гипотезы, ибо в образованиях типа **kassos* звонкость корневого гласного не могла восстановиться под влиянием *cado*. Наконец, гипотеза Ф. де Соссюра — Ф. Зоммера не в состоянии объяснить, почему у одних причастий эта звонкость восстанавливалась (**lĕktos* > **lĕgtos* > *lēctus*), а у других — нет (*strĭctus*). Таким образом, индоевропейское оглушение перед *t* и сугубо латинское удлинение корневого гласного оказываются в неразрешимом противоречии и оставляют открытым вопрос о причинах удлинения корневого гласного у причастий типа *āctus*.

Вторая сложность заключается в том, что не все причастия перфекта, оглушившие звонкий смычный в исходе корня, удлинили краткий корневой гласный. В самом деле, расхождения здесь, казалось бы, совершенно необъяснимы (см. с. 84).

Неудовлетворительными оказываются попытки исключить из сферы действия закона Лахмана корни на *d* [4, с. 265—268, ср. 5], ибо последние составляют почти половину всех случаев с долгим гласным: *cāsus*, *ēsus*, *frēsus*, *-ōsus*, *vīsus*, *fūsus*, *tūsus*, а также, по-видимому, *dīvīsus* и

ĕdo — ēsus,	но	*sĕdeo — sēssus,*
păngo — pāctus,	но	*păndo — păssus,*
fŭndo — fūsus,	но	*fĭndo — fĭssus,*
tŭndo — tūsus,	но	*strĭngo — strĭctus,*
cădo — cāsus,	но	**lădo — lăssus,*
ŏdium — -ōsus,	но	*fŏdio — fŏssus,*
lĭgo — lĭctor,	но	*fĭngo — fĭctus.*

gavīsus. То же следует сказать о попытке исключить корни с гласным *i* ([4, с. 265—266; 6; 7], но ср. *lĭgo — lĭctor*) или носовым инфиксом в формах инфекта ([3, с. 123; 8, с. 81], но случаи типа *pāctus, frāctus, tāctus, frēsus, fūsus, tūsus* составляют примерно одну треть всего материала). Можно было бы исключить корни, содержащие одновременно и гласный *i*, и носовой инфикс (странно, что этого наблюдения, кажется, никто, до сих пор не сделал). Нельзя найти ни одного примера, где у причастий таких глаголов можно было бы обнаружить долгий гласный в корне. Однако, во-первых, это было бы не объяснение, а простая констатация факта (что, в принципе, могло бы быть и случайным). Но главное — и в этом случае краткость корневых гласных у причастий *lassus, passus* (*pando*), *sessus* и *fossus* будет нарушать анализируемую фонетическую закономерность.

Трудности, связанные с интерпретацией столь противоречивых фактов, привели к тому, что еще в XIX в. Г. Остгоф пытался объяснить все случаи с долгим гласным в корне причастий перфекта не как фонетическую закономерность, а как результат действия аналогии [9, ср. 10]. Поскольку более или менее единое объяснение здесь невозможно, Г. Остгоф и его последователи ссылались на аналогическое воздействие то перфекта (*ēdī* → *ēsus*), то супина (*cāsum* → *cāsus*), то указывали на наличие форм с долгим гласным у того же самого корня (*tĕgula — tēctus*). Однако последний довод несостоятелен уже в силу того, что древние и.-е. отглагольные прилагательные с суффиксом **-t-* не имели продленной ступени огласовки корня (ср. др.-греч. κλυτός, др.-инд. *çrutáḥ*, лат. *in-clutus* при корне **k̂leu-*), супин — слишком редкая форма для того, чтобы быть источником аналогического воздействия, к тому же (не без обратного аналогического влияния со стороны *-t-* причастий) почти всюду совпавшая в латинском языке со средним родом причастия (сначала — в корне, а затем, после изменения *-om* > *-um*, — и в корне, и во флексии). Наконец, если *ēdī* оказало аналогическое воздействие на *ēsus*, то почему при перфекте *sēdī* сохранилось *sĕssus*? Мы уже не говорим о многочисленных примерах типа *dīxī — dĭctus, rūpī — rŭptus, vēnī — vĕntus* и т. д., где огласовка причастия противостоит огласовке перфекта, а не совпадает с ней.

В связи со ссылками на предполагаемое аналогическое влияние перфекта нельзя не вспомнить слова М. М. Покровского, написанные им еще в конце XIX в.: «Историк латинского языка должен... с особенной осторожностью поступать с аналогией, не спеша относить каждое трудное явление в разряд аналогических новообразований» [11]. О невозможности объяснить действием аналогии все случаи удлинения корневого гласного латинских причастий типа *āctus* писал еще в 1902 г. Ф. Зоммер [3, с. 137].

Итак, несмотря на многочисленные попытки его решения, вопрос о законе Лахмана остается одним из наиболее сложных вопросов исторической фонетики латинского языка — «крепким орешком» для целых поколений компаративистов [12, с. 295]. Наше объяснение закона Лахмана вкратце сводится к тому, что образования, не удлинившие своего корневого гласного, представляют собой включенные в систему латинских причастий древние и.-е. отглагольные прилагательные [13, с. 5—40]. Оглушение звонкого смычного у них произошло еще в и.-е. эпоху, когда это оглушение не приводило к удлинению корневого гласного (ср. лат. *pĭctus* и др.-инд. *piçtáḥ*, лат. *fĭssus* — др.-инд. *bhittáḥ*, лат. *sĕssus* — др.-инд. *sattáḥ*, лат. *scissus* — др.-греч. σκιστός). В тех же случаях, когда гласный удлинился, мы имеем дело с латинскими новообразованиями, возникшими в процессе унификации системы латинских причастий. Оглушение

звонкого смычного происходило здесь уже на латинской почве, и оно — в отличие от и.-е. оглушения — приводило к удлинению корневого гласного. Новые латинские причастия в основном появились на месте древнеиндоевропейских отглагольных прилагательных с суффиксом *-n-*, вытеснив их из глагольной системы (**agnos* → **ăgtos* > *āctus*). Теоретически можно также предположить, что в отдельных случаях оглушение звонкого смычного на латинской почве произошло после синкопы. Но за исключением **agetos* > *āctus* какие-то аргументы в пользу синкопы можно привести только для немногих глагольных корней с исходом на *d* (*cāsus*, *fūsus*, *-ōsus*, *tūsus*, *vīsus*). Причем несинкопированные формы в отдельных случаях могли быть лишь промежуточным этапом вытеснения образований с суффиксом *-n-* причастиями с суффиксальным *-t-*. Например, **agnos* > **agetos* > *āctus*. Важно отметить, что предложенное решение вопроса о законе Лахмана является не чисто фонетическим, а фонетико-словообразовательным и фонетико-морфологическим [1]. В специальной литературе предложенная интерпретация фактов, связанных с законом Лахмана, не вызвала принципиальных возражений (ср., например, [16, 17]). Что же нового содержат последние (1968—1983 гг.) работы, посвященные рассматриваемому вопросу? Б. Б. Ходорковская в 1970 г. опубликовала статью, в которой она подходит к вопросу «не с исторической точки зрения, не в диахронии, а в синхронии» [18, с. 85]. Автор дает интересную классификацию латинских глаголов (включая глаголы с долгими гласными в системе инфекта), разбив их на несколько типов. Однако выводов о характере и о причинах действия закона Лахмана Б. Б. Ходорковская не делает, изложенной интерпретации закона Лахмана не касается, а саму книгу упоминает только в связи с тем, что в ней дается детальный разбор научной литературы [18, с. 85, примеч. 3].

Т. А. Карасева, следуя «чисто теоретической» гипотезе Я. Отрембского и опираясь на некоторые из приведенных выше реконструкций (*āctus* < **agitos*, *cāsus* < **kaditos* и др.), делает вывод о том, что в с е причастия, удлинившие свой корневой гласный, явились результатом синкопы и что удлинение это произошло еще до оглушения звонкого смычного — под влиянием палатализации [19]. Эта совершенно новая и оригинальная интерпретация, на мой взгляд, остается недоказанной рабочей гипотезой. И у гипотезы этой имеется ряд слабых пунктов. Во-первых, примеров синкопы, которая может быть подтверждена какими-то фактами, слишком мало, чтобы делать столь далеко идущий вывод. К тому же автор не привела ни одного нового примера, доказывающего возможность синкопы у латинских причастий перфекта с долгим гласным в корне. Более того, Т. А. Карасева не учла такого интересного случая, как умбр. *ɥirseto* и др.-инд. *viditáḥ*, позволяющих реконструировать праиталийск. **ɥiditos* [13, с. 28], хотя обещала в начале своей статьи использовать данные умбрского и оскского языков [19, с. 4]. Во-вторых, все приведенные в статье Т. А. Карасевой причастия (кроме *-ōsus*) имеют надежные индоевропейские соответствия с суффиксальным *-n-*, а случаев, когда оглушение звонкого смычного явилось результатом вытеснения формы с суффиксом *-n-* новообразованием с суффиксом *-t-*, гораздо больше, чем случаев с гипотетически допустимой синкопой. Формы типа **agetos* или **agitos*, как мы видели выше, могли представлять собой лишь промежуточный этап в вытеснении отглагольных прилагательных на *-nos* причастиями на *-tos*. Поэтому синкопа (если она, действительно, имела место) в ряде случаев — всего лишь частный случай того более общего процесса, который при формировании системы латинских причастий перфекта привел к фонетическим изменениям, получившим наименование закона Лахмана. Наконец, удлинение корневого гласного латинских причастий на *-tos*, очевидно, не могло явиться результатом воздействия палатализованного

[1] Попытки увязать закон Лахмана с формированием системы латинских причастий предпринимали Х. Педерсен и Я. Отрембский. Однако первый из них считал — вопреки фактам,— что как раз у тех причастий, которые вытеснили более древние образования на *-nos*, корневой гласный не удлинялся [14]. Я. Отрембский о вытеснении *-nos* → *-tos* и о синкопе писал только как о «чисто теоретической возможности» [15].

d или *g*, ибо мы не знаем подобного удлинения в таких словах, как *fŭgitum*, *fŭgitīvus*, *frăgĭum*, *rĕgimen*, *tĕgimen* и мн. др. Поэтому целесообразнее видеть в удлинении гласного причастий типа *āctus* следствие оглушения звонкого смычного, а не результат его палатализации.

В 1968 и 1970 гг. появились небольшие заметки Е. Куриловича [12] и К. Уоткинса [20, 21], посвященные закону Лахмана. Кроме того, Е. Курилович остановился на этом вопросе также в своей «Индогерманской грамматике» [22]. Как и многие другие лингвисты, Е. Курилович не верит в возможность аналогически восстановленной звонкости у причастий типа *āctus* [12, с. 295]. Не видя иного выхода и продолжая линию Г. Остгофа, он считает, что удлинение корневого гласного у латинских причастий произошло под аналогическим воздействием форм перфекта. Однако Е. Курилович особо подчеркивает, что его объяснение — не фонетическое, а фономорфологическое, и выделяет в качестве фонетического условия действия закона наличие *d*, *g* или *m* в исходе корня, а в качестве морфологического — наличие идентичного корня в причастии перфекта и в основе инфекта. По его мнению, оппозиция в долготе в случаях типа *lĕgo — lēgī* должна была распространиться и на пассив: *lĕgitur — lēctus est*. Таким образом, **lĕctus* изменилось в *lēctus* под влиянием перфекта *lēgī*. Выход Е. Куриловича за пределы корней с исходом на *d* и *g* (с единственным примером *ĕmō — ēmī — ēmptus*) привел к тому, что К. Уоткинс объявил: закон Лахмана — вообще «не фонетический закон» («is not a phonetic rule at all»). Главное достоинство интерпретации Е. Куриловича, по мнению К. Уоткинса,— это демонстрация и мотивация м о р ф о л о г и ч е с к о г о характера изменения [20, с. 61]. К тому же выводу приходит в своей монографии о «правиле Лахмана» и К. Штрунк, всячески подчеркивающий, что перед нами — не фонетический закон, а «грамматическое правило» («eine grammatische Regel») [23]. Ряд серьезных критических замечаний в связи с гипотезой Г. Остгофа — Р. Кента — Е. Куриловича — К. Уоткинса высказал Н. Коллиндж [24]. Интересным, в частности, представляется его объяснение вторичного характера *ēmī* (под влиянием *ēmptus — с* долготой из *dēmptus* < **dē-ĕmptus*) [2]. Чисто морфологическая интерпретация закона Лахмана, по мнению автора,— неприемлема [24, с. 243]. В то же время, следуя тезису К. Уоткинса о том, что закон Лахмана «is not a phonetic rule», М. Перини делает логический шаг дальше, заявляя, что «it is not a rule at all» [25]. Не случайно, видимо, в одной из сравнительно новых работ, посвященных разного рода фонетическим изменениям в латинском языке [26], о законе Лахмана не сказано буквально ни слова.

Касаясь гипотезы Г. Остгофа в трактовке Е. Куриловича и К. Уоткинса, следует прежде всего отметить, что отдельные случаи аналогического взаимодействия между формами перфекта и перфектного причастия не ограничивались случаями воздействия форм перфекта на причастие. Более того, как раз наоборот, обычно однотипные формы причастия оказывали аналогическое влияние на пестрые по своему типу активные формы перфекта (ср. *diffūsī*, *iussī*, *ussī*, *coepī*, а также поздние формы: *cursī*, *prĕnsī*, *respōnsī*) [13, с. 8; 24, с. 235]. А. Эрну считает возможным аналогическое воздействие причастий *rēctus* и *tēctus* на перфекты *rēxī* и *tēxī* ([27]; позиция А. Эрну здесь прямо противоположна позиции Е. Куриловича и К. Уоткинса). Но если даже считать, что активные формы перфекта оказали аналогическое воздействие на пассивные причастия, мы должны предположительно допустить только случаи *lēgī — lēctus*, *ēdī — ēsus*, *ōdī — -ōsus*, *vīdī — vīsus* и *fūdī — fūsus* (из корней с исходом на **g*^{u} также

---

[2] См. [24, с. 235]. Кстати, формы *cōmō* (<**cŏ-ĕmō*), *cōmpsī*, *cōmptum*, *cōmere* могут быть удовлетворительным образом объяснены лишь как **cŏ-ĕm(p)sī* > *cōmpsī*, **cŏ-ĕm(p)tos* > *cōmptus*, где у причастия *emptus* в корне *ĕ*, а не *ē*. Ср.: *cŏ-ĕmō* > *cōmō* как **cŏ-ăgō* > *cōgō*, но *cŏ-ĕm(p)tos* > *cōmptus*, а не **cŏ-ēmptus* — как *cŏ-āctus*. Что касается глагола *cŏ-ĕmō — cŏ-ĕmptus* и простого причастия *ēmptus*, то вторичная долгота *ē*, помимо приведенного выше объяснения Н. Коллинджа (< **dĕ-ēmptus*), может быть объяснена также как результат оглушения звонкого вставного смычного *b* в **emtos* (=литов. *imtas*) > **ēm-b-tos* > *ēmptus* (см. [24, с. 246, примеч. 13).

flūctus и *strūctus*, но вне объяснения остается *frūctus*). Необъясненными остаются причастия *pāctus*, *tāctus*, *cāsus* и *tūsus* (перфекты с удвоением), *ūctus*, *frāctus* (качественное противопоставление гласных перфекта гласным презенса и причастия), *rēctus*, *tēctus* (см. выше), *frēsus* (отсутствие форм активного перфекта). Попытки реконструировать перфектные формы типа **āgī*, **pēgī*, **rēgī*, **tēgī* — в высшей степени сомнительны, представляя собой откровенные argumenta ad hoc. Кроме того, ссылки на аналогию не могут удовлетворительным образом объяснить расхождения типа *ēdī* — *ēsus*, но *sēdī* — *sĕssus*, *ōdī* — (*per*)-*ōsus*, но *fōdī* — *fŏssus*, *pānxī* — *pāctus*, но *fīnxī* — *fĭctus*.

Главное же — само предположение о том, что долгий гласный причастия и активного перфекта противостоит краткому гласному презентных форм,— глубоко ошибочно. Ни один глагольный корень, не имеющий исхода на звонкий смычный, не дает удлинения гласного в причастии под влиянием форм перфекта (ср. *ēgī* — *āctus*, но *cēpī* — *căptus*, *fēcī* — *făctus*, *fūdī* — *fūsus*, но *rūpī* — *rŭptus*, *vēnī* — *vĕntus* и мн. др.). Более того, нормой здесь является противопоставление краткого гласного презентной основы и перфектного причастия долгому гласному активного перфекта (или иным его формам), ср., например, *vĕnio* — *vēnī* — *vĕntus*.

Сходная картина у глагольных корней с долгим гласным в основе презенса: *dīcō* — *dīxī*, но *dĭctus*; *dūcō* — *dūxi*, но *dŭctus*; *īcō* — *īcī*, но *ĭctus* и др. Здесь перед нами — обычная слабая ступень огласовки корня отглагольных образований с суффиксальным *-t-*. Иное дело — у глаголов со звонким смычным в исходе корня: *frīgō* — *frīxī* и *frīctus*, *cūdō* — *cūdī* и *cūsus* и т. д., всего 19 примеров, и ни одного надежного случая с кратким гласным в корне причастия. Поскольку у подобного типа причастий с глухим смычным в конце корня, напротив, не обнаружено ни одного надежного случая с долгим гласным, П. Фуше имел все основания к тому, чтобы и причастия, образованные от глаголов с долгим гласным в основе инфекта, отнести к сфере действия закона Лахмана [8, с. 82—86] [3], ибо здесь этот закон, кажется, вообще не знает исключений. Эти факты нельзя отрывать от рассмотренных выше, а между тем они никак не укладываются в прокрустово ложе интерпретации Е. Куриловича — К. Уоткинса.

Как уже было отмечено, главную заслугу Е. Куриловича К. Уоткинс видит в том, что тот обратил внимание на морфологический аспект явлений, связанных с действием закона Лахмана [20, с. 61]. По мнению М. Перини, фономорфологическая интерпретация этого закона «была впервые выдвинута Куриловичем в 1968 г. и впоследствии развита Уоткинсом» [25, с. 144]. Однако подобного рода общая идея высказывалась уже давно в работах ряда исследователей, и именно морфологический и словообразовательный аспекты являются определяющими в предложенной выше интерпретации закона Лахмана. Перейдем к фактам.

Авторы рассмотренных выше работ исходят из ошибочной предпосылки, что все анализируемые ими причастия восходят к соответствующим отглагольным прилагательным и.-е. эпохи. Между тем хорошо известно, что в индоевропейском не было единого суффикса отглагольных прилагательных. Они формировались, по большей части, с помощью суффиксальных **-t-* и **-n-*. Позднее — при формировании системы причастий в рамках уже отдельных и.-е. языков — эти языки по-разному использовали те и другие формы. В индоиранских, германских и славянских языках в системе причастий сохранились образования с обоими суффиксами. В латинском языке, как, например, и в литовском, в качестве единого суффикса причастий стал выступать суффикс *-t-*. В процессе унификации латинских (и литовских) причастий не избежны были случаи вытеснения древних и.-е. прилагательных с суффиксом *-n-* новообразованиями с суффиксом *-t-*. Причем, нужно подчеркнуть, что это — не гипотеза, а бесспорный

[3] Е. Курилович и его последователи этих глаголов или вообще не рассматривают, или не уделяют им должного внимания.

факт [4], который можно проиллюстрировать на примерах типа:

лат. *pl re — plē-n-us, im-plēre — im-pl -t-us,*
литов. *pìlti — pìl-n-as, į-pìlti — i-pìl-t-as.*

В обоих случаях более древние отглагольные прилагательные (ср. ст.-слав. *пълнъ*, гот. *fulls* и др.) образованы с помощью суффикса *-n-*, а более поздние глаголы с приставками имеют причастия с суффиксальным *-t-*.

Важно отметить, что при весьма незначительном количестве реликтов и.-е. отглагольных прилагательных с суффиксом *-n-* в латинском языке, они в ряде случаев засвидетельствованы именно у тех глагольных корней, которые удлинили свой корневой гласный по закону Лахмана. Реконструкция отглагольных прилагательных с суффиксом *-n-* для этих корней базируется также на материале родственных и.-е. языков. Косвенным доказательством правомерности этих реконструкций является также наличие у этих корней производных с суффиксами *-men-* и *-r-*, закономерно чередующимися с суффиксальными *-n-* (о чередованиях *-men-/-n-* типа лат. *lūmen*: *lūna* см. [30; 13, с. 40—47]); (о чередованиях *-r-/-n-* типа др.-греч. δῶρον: лат. *dōnum* см. [31]). Приведенная ниже таблица дает представление о предлагаемых реконструкциях (в скобках последней графы для проверки гипотезы Е. Куриловича — К. Уоткинса даются соответствующие формы перфекта).

Как видно из таблицы, из 14 глагольных корней с исходом на звонкий смычный, удлинивших свой гласный в причастиях перфекта, в 13 случаях у них сохранились или реликты с редким в латинском языке суффиксом отглагольных прилагательных *-n-*, или соответствия с суффиксальным *-n-* в родственных и.-е. языках. Лишь неясное в этимологическом отношении *ōdī*, *-ōsus* не имеет таких соответствий. В то же время отсутствие перфектов **āgī*, **pāgī*, **tāgī*, **frāgī*, **rēgī*, **tēgī*, **Kādī*, **frēdī*, **tūdī* делает гипотезу Е. Куриловича — К. Уоткинса крайне неправдоподобной. Первопричина ее ошибочности заключается в том, что из семи разных типов образования перфекта в латинском языке (*amō — amāvī*, *vetō — vetuī*, *cadō — cecīdi*, *agō — ēgī*, *maneō — mānsī*, *vertō — vertī*, *videō — vīdī*) берется лишь один последний тип, который не имеет ничего общего с большинством глагольных корней, претерпевших изменения по закону Лахмана. И, действительно, модель Е. Куриловича *lĕgō — lēgī = lĕgitur — lēctus est* (долгий гласный в перфекте противостоит краткому гласному в презенсе) «не работает» в случаях типа *tăngo — tetigī ≠ tăngitur — tāctus est*, где долгота гласного у причастия *tāctus* не может быть объяснена влиянием огласовки перфекта (как и в случаях *āctus*, *pāctus*, *cāsus*, *tūsus*). Более того, парадокс заключается в том, что даже в случаях, когда форма перфекта образуется путем удлинения корневого гласного (один из семи типов латинского перфекта), модель Е. Куриловича также «не работает». Например: *fŏdiō — fōdī*, но *fŏditur — fŏssus est* (после долгого гласного сочетание *-ss-* в латинском упрощалось). То же самое относится к случаю (*ob*)*sĕssus est*, где долгота гласного в (*ob*)*sēdī* не привела к удлинению корневого гласного у причастия.

На основании всего изложенного можно сделать следующие выводы:

1) Попытки объяснить удлинение корневого гласного латинских причастий типа *āctus*, *cāsus* аналогическим действием форм перфекта (включая модификацию этого объяснения, предложенную Е. Куриловичем) заводят весь вопрос о законе Лахмана в явный тупик. Свидетельством тому являются выводы некоторых исследователей о том, что перед нами — не фонетический закон (К. Уоткинс) и вообще — не закон и даже не закономерность (М. Перини).

2) Фонетический характер закона Лахмана определяется тем очевидным фактом, что ни один глагольный корень с исходом на глухой смычный (и вообще — на любой согласный, кроме звонкого смычного) не имеет *-to-* причастия с долгим гласным — независимо от долготы или

[4] Об этом писал еще К. Бругман [28]; о наличии новообразований с суффиксом *-to-* среди латинских причастий см., например, [29]: оба автора никак не связывали свои положения с законом Лахмана.

и.-е. праформы	*-n-*	*-men-*, *-r-*	причастие перфекта
1. **agnos*	литов. *agnùs*, ср.-ирл. *án* <**agno-* [32, с. 7—8] «быстрый»	лат. *agmen*, др.-инд. *ajman* «движение», лат. *ager*, др.-греч. *ἀγρός*, др.-инд. *ájraḥ* «выгон», ср. *ajiráḥ* «быстрый»	*āctus* (но *ēgī*)
2. **pagnos*	лат. *pignus* «залог» (из приставочных образований) [33]	лат. *pagmentum* «обивка», др.-инд. *pajráḥ* «сильный, крепкий»	*pāctus* (но *pepigī*)
3. **bhragnos*	гот. *ga-brukans*, ирл. *brán* «отруби» (<**bragno-*) [34]	лат. *fragmen*(*tum*)	*frāctus* (но *frēgī*)
4. **tagnos*		лат. *con-tāmen* (<**-tagsmn̥*), *integer* (<**-tagros*)	*tāctus* (но *tetigī*)
5. **legnos*	лат. *lignum* (<**lĕg-nom*)	лат. *ab-legmina*	*lēctus* (*lēgī*)
6. **regnos*	лат. *rēgnum*, ср.-ирл. *rén* (<**regno-*) «пядь» [32, с. 10], др.-греч. *ὄρεγνύς*	лат. *regimen*(*tum*)	*rēctus* (*rēxī*) [27, с.234]
7. **tegnos*	*tignum* (<**tĕgnom*)	лат. *tegmen*(*tum*)	*tēctus* (*tēxī*) [27, с. 234]
8. **kadnos*	др.-инд. *çannáḥ* (причастие к *çad-* «падать»)		*cāsus* (но *cecidī*)
9. **ednos*	др.-инд. *ánnam* «еда», др.-греч. *ἐδανός*	др.-инд. *ádman* «пища», литов. *ėdmenys* «пища», русск. диал. *емины*, литов. *ėdrà*	*ēsus* (*ēdī*)
10. **ghrednos*	лат. *frēnī* (<**freds-noi*) [35]	лат. *frēmentum* (<**fredsmn̥tom*) [13, с. 216—28; 36]	*frēsus* формы перфекта не засвидетельствованы
11. **odnos*			*-ōsus* (*ōdī*)
12. **u̯idnos*	др.-греч. *ἀ*(F)*ιδνός*, др.-инд. *vidnan* «внимательность»		*vīsus* (*vīdī*)
13. **ghudnos*	гот. *-giutan*		*fūsus* (*fūdī*)
14. **tudnos*	др.-инд. *tunnáḥ* (причастие к *tud-* «бить, ударять»)		*tūsus* (но *tutudī*)

краткости корневого гласного в формах презенса и перфекта [вторичные изменения типа **pānsus* < *pānsus* (позиция перед *ns*, ср. *in* + *sānus* → → *īnsānus*) в расчет не принимаются].

Основная причина действия закона Лахмана — также фонетическая: оглушение звонкого смычного перед *t*, приведшее к удлинению предшествующего гласного.

3.) Это оглушение имело место только в латинских новообразованиях, появившихся в результате усилившейся продуктивности модели *agō* → → **agtos* (> *āctus*) в эпоху формирования и унификации системы латинских причастий, что обусловлено вытеснением и.-е. отглагольных прилагательных с суффиксом *-no-* новообразованиями с суффиксом *-to-*. В тех

же случаях, когда в латинскую систему причастий вошли древние и.-е. отглагольные прилагательные с суффиксом *-to-*, удлинения корневого гласного не происходило («исключения» из закона Лахмана), т. к. оглушение звонкого смычного в этих образованиях произошло еще в и.-е. эпоху, когда, как это показывают данные родственных и.-е. языков, оглушение звонкого смычного не приводило к удлинению предшествующего гласного.

4) Таким образом, закон Лахмана — это сложное явление, при котором фонетические изменения происходили как следствие действия словообразовательных процессов, неразрывно связанных с процессами морфологическими (формирование латинского пассивного перфекта типа *āctus est*). В этом смысле закон Лахмана — это не только фонетический закон, но также фонетико-словообразовательная и фонетико-морфологическая закономерность.

ЛИТЕРАТУРА

1. T. Lucretii Cari De rerum natura. Ed. Lachmanni C. Berolini, 1860, p. 54—55.
2. *Saussure F. de.* Sur un point de la phonétique des consonnes en indoeuropéen.— MSLP, 1889, t. VI, p. 256.
3. *Sommer F.* Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Heidelburg, 1902.
4. *Meillet A.* Sur la quantité des voyelles fermées.— MSLP, 1908—1909, t. XV.
5. *Тронский И. М.* Историческая грамматика латинского языка. М., 1960, с. 99.
6. *Нидерман М.* Историческая фонетика латинского языка. М., 1949, с. 70—71.
7. *Maniet A.* La «loi de Lachmann» et les antinomies de l'allongement compensatoire.— In: Hommages à M. Niedermann. Bruxelles, 1956, p. 230—233.
8. *Fouché P.* Assimilation et allongement vocalique dans les participes passés latins *vīsus*, *cēsus*, *cāsus*, *rāsus*, *trūsus* etc.— In: Mélanges de linguistique offerts à A. Dauzat. Paris, 1951
9. *Osthoff H.* Zur Geschichte des Perfects im Indogermanischen. Straßburg, 1884, S. 112—117.
10. *Kent R. G.* The sounds of Latin. 3-rd ed. New Haven, 1945, p. 146.
11. *Покровский М. М.* Избранные работы по языкознанию. М., 1959, с. 179.
12. *Kuryłowicz J.* A remark on Lachmann's law.— In: Harvard studies in classical philology, 1968, v. 72.
13. *Откупщиков Ю. В.* Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
14. *Pedersen H.* Bartholomaes aspiratlov og Lachmanns tydning af Gellius IX, 6, XII, 3.— Nordisk tidsskrift for filologi, København, 1896—1897, bd. 5, raekke 3.
15. *Otrębski J.* O formach łacińskich typu *āctus*.— In: Prace filologiczne, 1929, t. XIV.
16. *Poultney J. W.*— Journal of American philology, 1968, v. 89, № 2.— Рец. на кн.: *Откупщиков Ю. В.* Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
17. *Katičić R.*— IF 1970, Bd. 89.— Рец. на кн.: *Откупщиков Ю. В.* Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
18. *Ходорковская Б. Б.* Количественные чередования гласных и их роль в латинском отглагольном словообразовании.— ФН, 1970, № 4.
19. *Карасева Т. А.* Некоторые замечания по поводу закона Лахмана.— В кн.: Іноземна філологія, 1977, вип. 45: Питання класичної філології, № 14.
20. *Watkins C.* A further remark on Lachmann's law.— Harvard studies in classical philology, 1970, v. 74.
21. *Watkins C.* A case of non-chronological rule insertion.— In: Linguistic inquiry, 1970, v. I, p. 525—527.
22. *Kuryłowicz J.* Indogermanische Grammatik, 2: Akzent, Ablaut. Heidelberg, 1968, S. 326—328.
23. *Strunk K.* Lachmann's Regel für das Lateinische. Eine Revision. Göttingen, 1976.
24. *Collinge N. E.* Lachmann's law revisited.— In: Folia linguistica, 1975, t. 8.
25. *Perini M. A.* The latest note on Lachmann's law.— In: Linguistic inquiry, 1978, v. IX, N 1.
16. *Janson T.* Mechanism of language change in Latin.— In: Studia Latina Stockholmiensia, 1979, v. 23.
27. *Эрну А.* Историческая морфология латинского языка. М., 1950, с. 234.
28. *Brugmann K.* Die mit dem Suffix *-to-* gebildeten Partizipia im Verbalsystem des Lateinischen und des Umbrisch-Oskischen.— IF, 1895, Bd. V, S. 94 (примеч.).
29. *Stati S.* Participul latin în *-to-*.— In: Studii şi cercetări linguistice, 1959, t. X.
30. *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1944.
31. *Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955, с. 27—64.
32. *Strachan J.* The compensatory lengthening of vowels in Irish.— In: Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, 1894, Bd. XX.
33. *Niedermann M. Ē* und *ī* im Lateinischen. Darmstadt, 1897, S. 36.
34. *Откупщиков Ю. В.* К этимологии ирландского *brān*.— Уч. зап. ЛГУ, 1961, № 299, сер. филол. наук, вып. 59.
35. *Откупщиков Ю. В.* Об этимологии латинского *frēnum*.— Вестник ЛГУ, 1961, № 20, вып. 4.
36. *Otkupščikov Ju.* The etymology of late Latin *frementum*. Annali [dell' Istituto Universitario Orientale di Napoli], sezione linguistica, 1965, v. VI.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ЛАПТЕВА О. А.

ТИПОЛОГИЯ ВАРИАТИВНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ РЯДОВ В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

I. В современном русском литературном языке существует три рода языковых средств — книжно-письменные, устно-разговорные и общелитературные. Они по-разному участвуют в формировании и функционировании разновидностей литературного языка. Наблюдаются известные ограничения, которым подвергается реальное употребление средства в функциональной разновидности, и эти ограничения для каждой разновидности требуют специального исследования. Разными комбинациями этих средств создается языковой облик функциональной разновидности. Участвуя в выражении одного и того же смысла, эти средства в составе разных функциональных разновидностей вступают между собой в определенные соотношения. Образуются вариативные ряды соотносительных средств. Этими рядами охватываются не все средства, но лишь некоторые из них. Моделировать типы лексических и синтаксических рядов — значит найти параметры функционирования лексической и синтаксической систем современного русского литературного языка. Установить наполнение рядов — значит постичь речевую реализацию этих систем. Не приходится специально обосновывать значимость того и другого для теории литературного языка и практики овладения им.

Почему рядами охватываются не все средства? В идеале ряд мог бы в своем устройстве следовать за изменяемостью факторов ситуации протекания и формы речи на фоне неизменности фактора темы. Действительно, если надо одно и то же содержание передать по-разному в устной или письменной форме, в публичной или непубличной обстановке общения при наличии той или иной ранжировки отношений между говорящими, то из пары взаимосоотнесенных средств устно-разговорного и книжно-письменного характера пользующийся языком может сделать необходимый выбор. Выбор может делаться свободно, исходя из установки речевого акта, а может быть автоматизированным и в таком случае диктоваться узусом. Именно в узусе устанавливается предпочтение одного варианта другому.

Однако это оказывается возможным далеко не всегда. На деле не каждое средство языка способно входить в соотносительный ряд. Это происходит по трем причинам. Во-первых, вся сумма смыслов (содержаний), подлежащих выражению языковыми средствами, может быть передана лишь суммой функциональных разновидностей литературного языка, но не каждой из них самой по себе. В отдельной функциональной разновидности может быть выражено далеко не каждое содержание. Наблюдается закрепленность тематических циклов за определенными функциональными разновидностями. Соответственно распределяются и языковые средства. Поскольку данный тематический цикл может оказаться совсем не свойственным другой функциональной разновидности, в ней может не найтись средства для обозначения относящегося к нему смысла. Вот что пишет Ю. Гладильщиков: «Но, может быть, у „Километров риска“ была чисто практическая цель — предостеречь водителей, выявив причины дорожно-транспортных происшествий (да простят мне казенный язык, но как об этом сказать иначе?): невнимательность за рулем, превышение скорости, неисправность тормозов и пр.?» (Лит. газ., 1982, 2 февр.). Здесь в нейтральном рассуждении для обозначения соответствующей темы использована терминологическая номинация «специального» (по Д. Н. Шмеле-

ву) языка, и автор не видит возможности перевода, т. е. нахождения другого члена виртуального ряда. При этом в разных функциональных разновидностях роль фактора отнесенности к тому или иному тематическому циклу различна. Для научной речи она определяюща, потому что это речь исключительно на темы науки, и здесь фактор темы выступает как в высокой степени гомогенный. Для разговорной речи она мало действенна, потому что это речь в принципе на любые темы с привлечением тех средств, которые наиболее однозначно связаны с обозначением этих тем. Если же это номинация сугубо обиходно-разговорного денотата, то для него, как правило, находится соответствующее общелитературное обозначение, в то время как для научной такого соответствия может не найтись, поскольку она генетически и складывалась на общелитературной основе.

Что касается целеустановочных функций, выполняемых функциональными разновидностями, то они не находятся в отношениях взаимоисключения и могут перекрещиваться по разновидностям [так, функция воздействия свойственна как устным разновидностям литературного языка, так и письменной публицистической разновидности, функция сообщения (информативная) свойственна по сути всем разновидностям, функция общения — и обиходно-бытовой, и публичной устным разновидностям, эстетическая функция — в большей мере художественной разновидности, в меньшей — разговорно-бытовой и публичной]. Это затрудняет или делает вовсе невозможным закрепление выражающих их языковых средств за определенными разновидностями и соответственно организацию рядов.

Во-вторых, общелитературные средства, как правило, передают неварьирующееся содержание. Вот почему не каждое, а только нейтральное к функциональному размежеванию литературного языка содержание может быть выражено соотносительными конструкциями. Взаимоисключающие друг друга темы обычно имеют для своего выражения неварьирующиеся средства. Поэтому особенно редки пары, состоящие из противоположных специфических средств — книжно-письменного и устно-разговорного. Нельзя перевести книжно-письменным средством устно-разговорное — *Он спал ты пришел?* или — *А где авоська здесь лежала?*, равно как нельзя перевести устно-разговорными средствами такую фразу: «Установленный план производства и поставки пальцев режущих аппаратов в запасные части на 9 месяцев 1982 года в объеме 2,8 миллиона штук выполнен» (Крокодил, 1983, № 5).

В-третьих, соотносительность средств и их вариативность осложняются разной представленностью и разным характером употребления средств в разных функциональных разновидностях. Так, по наблюдениям Н. С. Ляпидевской, при сравнении разных способов выражения отношений причинности, необходимого основания, целевых и некоторых других в научной и публицистической разновидностях письменно-литературного типа языка наблюдаются не однохарактерные, но разнохарактерные варианты — в научной по преимуществу структурные, в публицистической — экспрессивные. Кроме того, в центре представленных в научной разновидности вариантов обычно находится некоторая ведущая, наиболее частотная конструкция, а в публицистической — нет, причем и сами варианты в публицистической разновидности не дают показательной картины по структурам. Иногда специфику в функциональной разновидности обнаруживают только структуры какого-либо одного значения, а смежного с ним — нет (так, не обнаруживают специфики собственно целевые предложения, а предложения необходимого основания обнаруживают) [1].

Таковы ограничения на вхождение языкового средства в функциональную разновидность со стороны экстралингвистических факторов и самой разновидности. Если же рассмотреть имеющиеся ограничения со стороны самих рассматриваемых нами разрядов средств и их зависимости от действия экстралингвистических факторов, то можно суммировать эти ограничения следующим образом.

Их совсем не обнаруживают общелитературные языковые средства, нейтральные по отношению к функциональной дифференциации употребления. Такова нейтральная, общелитературная лексика, морфологические

средства языка, большинство синтаксических способов построения словосочетаний и структурных схем предложений. Это — единая основа литературного языка, фундамент для накладывающейся на нее функциональной дифференциации.

Те же общелитературные средства, но прошедшие определенный отбор, организацию и закрепление в функциональной разновидности со стороны своей номенклатуры, системы форм или значений и ставшие языковой приметой функциональной разновидности, такую зависимость обнаруживают. Эти процессы происходят под влиянием действия экстралингвистических факторов.

Книжно-письменные и устно-разговорные средства не подвергаются ограничениям в употреблении в первичных областях своего возникновения и функционирования — первые в «специальных» типах речи, вторые в устно-разговорной разновидности. Ср. всегда возможное в любом «стиле» «специального» типа речи употребление таких слов, как *существенный* («что нанесло *существенный* ущерб государственным интересам» в приговоре суда, Лит. газ., 1983, 23 февр.), *фактически* при общелитературном *большой, по сути*; *ибо, по причине* при общелитературном *потому что, из-за*, падежные цепочки с отглагольными существительными типа *об ограничении накоплений стратегических вооружений* (ЦТ, программа «Время»), *с целью создания видимого благополучия с выполнением планов* (Лит. газ., 1983, 23 февр.). С другой стороны, ср. всегда возможное в устно-литературной речи употребление глагольной, предикативной конструкции в функции именной номинации (вот характерный диалог, где употребление такой конструкции остается совсем незаметным для языкового сознания:— *Кто шарики купил? — Бабушка.— Зачем? — Давай оставим их, е с л и б у д е т у в а с е щ е праздник*, где выделенная часть соответствует общелитературному *на следующий*) или ситуативно обусловленного эллипсиса (еще один характерный обмен репликами между незнакомыми людьми в транспорте:— *Нет, у меня на 10 минут вперед.— Я и смотрю*, где первая реплика прозвучала в ответ на взгляд автора второй реплики на часы автора первой. Эти же два диалога могут служить примером употребления в устно-литературной речи общелитературных средств, допуск которых в книжно-письменный тип ограничен).

Книжно-письменные и устно-разговорные средства подвергаются ограничениям в употреблении в других областях — не первичных для их функционирования и гибридных, пограничных. Приведем пример явной неадекватности языковому сознанию и неполного овладения нормами устно-разговорной речи, когда молодой отец, делая внушение крошечному сыну, старается сделать свою речь соответствующей образцам «специального» типа литературного языка и говорит так: «Шанс быть наказным у тебя резко возрастает. Наше с мамой терпение истощается». Но завершает общелитературными средствами: «Совсем большой парень, а так себя ведешь». Или такая реплика в бытовой речи:— *А. Ф. пользуется тем стаканом*?, адекватная общелитературному — *А. Ф. пьет из того стакана*?, и другие разные случаи неправомерного в функциональном отношении употребления в устно-разговорной речи книжно-письменных средств, которые только, пожалуй, и можно называть иностилевыми вкраплениями, вроде *интересно в том отношении, что...* на месте общелитературного *интересно тем, что..., не только ..., но и* на месте общелитературного (или разговорного?) *не только не..., но даже и не...* Эта функциональная неправомерность («нецелесообразность», по Г. В. Костомарову) ощущается потому, что на употребление книжно-письменных средств в устно-разговорной речи существует ограничение: такое употребление должно быть оправдано тематически (а также большой степенью серьезности отношения к этой теме со стороны говорящего, добавляет О. Б.Сиротинина). В качестве примера ограничений в использовании устно-разговорных типизированных предикативных построений в других сферах можно сослаться на большую неравномерность их привлечения в художественный текст, куда многим из них доступ закрыт.

Такова функциональная типология употребления этих разрядов средств. Ясно, что для идентификации функциональной разновидности одинаково важны все названные возможности, а не только использование общелитературных средств. Умалять значение специфических — значит увеличить число функциональных разновидностей; например, появляется возможность выделения научно-популярного стиля, как это делают некоторые авторы не столько по языковым, сколько по внеязыковым основаниям.

Итак, книжно-письменные и устно-разговорные средства могут быть специфическими в собственном смысле слова для книжно-письменных разновидностей и для устно-разговорной разновидности, а могут употребляться с разным коэффициентом допуска в других разновидностях. Общелитературные в принципе могут использоваться в любой разновидности, но нередко наблюдается также разный коэффициент допуска, проявляющийся в наличии разных структурных вариантов, разной номенклатуры средств и разного набора их значений. В последнем случае они могут послужить базой образования специфических средств за счет частотности варианта или его значения (ср. многие особенности грамматики научной речи или конструкции с постпозицией союзного слова, чаще всего *когда* и *который*, в придаточном предложении в устно-разговорной речи).

Специфические средства представлены в разновидностях литературного языка неодинаково. Будучи по своей природе книжно-письменными и устно-разговорными, они именно в центрах сгущения этих качеств — в письменной научной и деловой речи, с одной стороны, и в устной разговорно-обиходной, с другой, которые противопоставлены друг другу по максимальному количеству показателей, и представлены максимально и неограниченно. А вот в художественной речи специфических средств почти нет, а те, которые можно было бы признать специфическими, складываются на базе отбора общелитературных. Таковы «поэтические» слова и фигуры речи. То же можно сказать о речи публицистики. Здесь складываются свои частотные штампы — на базе общелитературных средств. Типичный газетный заголовок вроде *Быть району образцовым* невозможен в научной или деловой речи, так же как и сама инфинитивная конструкция. Происходит отбор и закрепление общелитературного средства, который может привести даже к противопоставленности средств по линии «книжно-письменное — устно-разговорное» точно так же, как это происходит со средствами, по происхождению относящимися к центру этих областей. Общелитературные по происхождению *в принципе* и *по идее* оказались противопоставленными по этой линии (первое — книжно-письменное, второе — устно-разговорное).

Разная маркированность и поведение общелитературных средств в функциональных разновидностях наряду со специфическими средствами увеличивает возможности синонимических отношений и замен. Это происходит потому, что именно они несут в себе смыслы языка. В. Г. Костомаров пишет: «... в составе литературного языка нормализуются ряды синонимичных, параллельных, соотносительных средств выражения, отдельные члены которых окрашены стилистически (экспрессивными, социальными, возрастными и т. д.) наслоениями или стилевой маркированностью, закрепленностью за сферами употребления (научной, официально-деловой и другими функционально-стилевыми разновидностями), а иногда и просто составляют нейтрально-однозначные варианты. Таким образом, возможность выбора, необходимая ... для воплощения различных композиций и ориентаций речевой типологии и функциональной стилистики, представляется самой нормой, в пределах языковой правильности,— в виде синонимии, в виде линейной или системной стилистики, в виде „стилей языка“» [2][1]. Синонимия может осуществляться только при условии передачи общего значения разными средствами. На фоне сказанного выше о функционировании разных смыслов в разных функциональных раз-

[1] Далее В. Г. Костомаров высказал мысль о том, что норма сковывает возможности выбора. Здесь мы вопросов нормы не касаемся. См. об этом [3].

новидностях и о разной степени участия разных типов средств в передаче одного и того же смысла становится ясно, что роль этих типов в формировании синонимических отношений в языке в его функциональной дифференциации неодинакова.

Специфические средства в случае одно-однозначных отношений с уникальным для данной функциональной сферы смыслом не дают синонимии. Если же этот смысл не уникален или отношения не однозначны, то синонимия возникает. Она может возникать как в пределах своей функциональной разновидности, так и за ее пределами. В первом случае синонимом может стать как другое, но тоже специфическое средство, так и общелитературное, употребляемое в данной разновидности. Возникает гомофункциональный ряд. Во втором случае синонимом становится общелитературное или специфическое средство, употребляемое за пределами данной разновидности. Возникает гетерофункциональный ряд [2]. Вот как соотносятся специфические средства в пределах одной разновидности: «...сообщают, что после тяжелой и продолжительной болезни...» ~ «...извещают о смерти после тяжелой и продолжительной болезни» (извещение о смерти в одной и той же газете.— Веч. Москва, 1977, 29 апр.) — здесь глагольный способ выражения соотносится с именным. А вот как соотносится общелитературное средство со специфическим в пределах одной и той же разновидности: «Напишите, пожалуйста, свое имя и отчество» ~ «Укажите, пожалуйста, свое имя и отчество» (варианты из делового письма). Это гомофункциональные ряды. А вот гетерофункциональные: *При посещении музея мною было обнаружено наличие низкой температуры* (книжно-письменный вариант) ~ *Когда я была в музее, там было холодно* (общелитературный вариант) ~ *Я была в музее, там было холодно* (устно-разговорный вариант) ~ *Я была в музее было холодно* (устно-разговорный вариант). Ср. лексический ряд типа *морозильная установка — морозильник — морозилка* (книжно-письменный, общелитературный и устно-разговорный варианты). Можно найти любопытное соседство его членов в пределах одной газетной заметки: «Двухэтажный холодильник. Возле него останавливаются в удивлении: над обычной дверцей у этого холодильника есть еще одна, поменьше. Потяните ее на себя — и откроется доступ в морозильное отделение, хотя остальная часть по-прежнему останется закрытой. Новый холодильник отличается большой вместительностью: объем нижнего шкафа — 180 литров, „морозилки“ — 45» (Веч. Москва, 1972, 22 авг.). Синонимия общелитературных средств создается в случае полного семантического тождества вариантов, в случае наличия структурно-семантических вариантов и за счет разной представленности средства в разных функциональных разновидностях.

Мы рассмотрели условия формирования соотносительных рядов, ограничения, идущие от экстралингвистических факторов, особенностей самих средств и их функционирования в разновидностях литературного языка, типологию этих средств с точки зрения возможностей их соотносительности и, наконец, факторы, способствующие усилению соотносительности. Наряду с ограничением возможностей соотносительности существует и их усиление. Это диалектическое единство противоположных факторов. Теперь рассмотрим типологию рядов.

II. В межфункциональном варьировании языковых средств особая роль принадлежит синтаксису. Вариативные системные ряды средств наблюдаются и в области фонетики (ср. существование разных типов произношения и в связи с этим наличие разных типов соотнесенных между собой произносительных средств, охватывающих разные произносительные особенности вплоть до способов реализации фонем), и в области лексики (хотя здесь межфункциональных рядов меньше из-за нечастотности закрепленных лишь за определенной функциональной разновидностью синонимических вариантов; «В последнее время,— пишет Т. Г. Винокур,— все большее число ученых склоняется к признанию синонимии чисто се-

[2] О гомофункциональных и гетерофункциональных рядах см. [4].

мантическим явлением» [5, с. 160] [3]). Однако именно синтаксис дает достаточно обширный материал для установления типологии соотносительных рядов. Возможно, между соотносительными рядами в области фонетики, лексики и синтаксиса наблюдаются отношения изоморфизма. Особая роль синтаксиса в организации рядов объясняется наличием некоторых закономерностей построения высказывания (и, шире, текста) в обеих противоположных сферах литературного языка — устно-разговорной и книжно-письменной: каждой из них свойственны свои такие закономерности, принципиально отличающие ее от той, с которой она находится в оппозиции. Общие закономерности синтаксической организации того и другого типов литературной речи описаны; для устно-разговорной речи это сегментация речевого потока [6] и возникающая на ее основе допустимость и нормативность наличия в предложении более чем одного финитного глагола, в связи с чем возникает дублирование синтаксических связей находящегося между глаголами субстантива [7], система типизированных специфических для устно-разговорной речи предикативных построений [8] [4], система выражаемых полипредикативными высказываниями отношений [9, с. 248—249 (табл. 4)]; для книжно-письменной это строгое следование сложившимся в ней структурам, отражающим экономно-логизированный способ изложения [10, 11], и наличие некоторой суммы актуальных смыслов [12, с. 6 и др.] (ср. сказанное выше об ограничениях, налагаемых на языковые средства со стороны темы сообщения). Наличие этих общих закономерностей в маргинальных членах синтаксической дихотомии литературного языка и отсутствие их в среднем, нейтральном члене — общелитературном синтаксисе создает благоприятные условия для складывания рядов и обеспечивает особенности их типологии.

Состоя из разрядов средств, зависящих в своем употреблении от экстралингвистических факторов (как это было показано в разделе I этой статьи), соотносительные вариативные ряды также обнаруживают такую зависимость, но по-разному. В употреблении языкового средства проявляется и свобода выбора со стороны говорящего, и речевой автоматизм, и это сказывается на системно-структурной организации ряда. Зависимость от факторов функции, темы, ситуации, формы речи максимальна в гетерофункциональных рядах и минимальна или вовсе отсутствует в гомофункциональных, а также в рядах, состоящих только из общелитературных членов.

Типология рядов может строиться по следующим признакам: 1) по входящим в состав ряда разрядам средств; 2) по участию ряда в функциональной дифференциации литературного языка; 3) по числу членов ряда и по его полноте — неполноте; 4) по характеру соотносительности членов ряда (соответствие, вариативность, синонимичность).

1. По входящим в состав ряда разрядам синтаксических средств выделяются следующие ряды:

1) Синтаксический ряд, образуемый общелитературной и общелитературной конструкциями. Именно этим рядам посвящена основная литература по синтаксическому варьированию [13, здесь же см. литературу; 14—16 и др.]. Существуют разногласия в понимании оснований синонимичности ряда, но материалом служат общелитературные схемы. Например, ряд образует сложное предложение с союзным и бессоюзным типами связи: *Она была на пруду; там все было тихо* ~ *Она была на пруду, и там все было тихо.*

2) Синтаксический ряд, образуемый книжно-письменной и книжно-письменной или книжно-письменной и общелитературной конструкциями. Сведение этих возможностей в один тип вызвано тем, что на практике отделить книжно-письменную конструкцию от общелитературной не всегда

---

[3] «...в языковом употреблении мы видим очень мало таких (стилистических, по терминологии Т. Г. Винокур.— *Л. О.*) синонимов» [5, с. 159—160]. Стилистическому узусу и синонимии посвящена III глава этой очень богатой мыслями и наблюдениями книги, так же как и ряд более ранних работ ее автора.

[4] Другую интерпретацию явления см. [9].

удается с должной отчетливостью, что объясняется особенностями формирования языка русской письменности, в которой находили отражение и общеязыковые, и собственно письменные явления. Этот тип рядов описан менее полно, чем первый, в основном в литературе, посвященной тем или иным особенностям синтаксиса научной речи [17, 12 и некот. др.]. Ряд создается соотносительностью способов выражения сказуемого, полупредикативных структур и придаточных предложений, обстоятельственных детерминантов и придаточных предложений, предлогов и союзов. Например: *шуметь ~ производить шум, быть в волнении ~ находиться в волнении, при ~ в то время как, при любой как угодно низкой температуре вещества ~ какая бы ни была низкая температура вещества.*

3) Синтаксический ряд, образуемый устно-разговорной и устно-разговорной конструкциями. Такие ряды еще не выявлены и не описаны. Как правило, это ряды иного рода, чем названные выше,— они не соотносительные, а скорее омонимические [18] и основаны на свойстве устно-разговорного синтаксиса представлять в одной форме диффузное значение, за счет чего происходит совпадение в одной реализации разных модификаций разных моделей (если пользоваться номенклатурой, разработанной автором в книге [8]). Например: — *Я вчера заходила в мастерскую мне надо было пришить задничек у меня лопнул* (бесс. подч. модель А модиф. 2, им. темы модиф. 11 разн. 2); *У меня в верхнем ящике стола лежат открытки красивые я купил* (бесс. подч. модель А модиф. 2, им. темы модиф. 11 разн. 2).

4) Синтаксический ряд, образуемый устно-разговорной и общелитературной конструкциями. Такие ряды отчасти выявлены исследователями разговорного синтаксиса [19, 20]. Они представлены формально различными структурами. Например:— *А где авоська здесь лежала?~ — А где авоська, которая здесь лежала?* Этот тип рядов особенно актуален для понимания реального функционирования конструкций в устно-разговорной разновидности, где, как правило, возможны оба варианта с узуальным преобладанием одного из них или без такого преобладания. По существу любая специфическая устно-разговорная конструкция имеет общелитературную соотносительную. Это можно сказать о всем корпусе таких конструкций, описанных в [8], а также о всех конситуативных и полипредикативных высказываниях, недавно описанных Е. Н. Ширяевым [9] с новой и весьма интересной точки зрения. Таким образом, в ряд входит и соотношение полного и неполного конструктивно варианта. О существовании таких рядов говорит Д. Н. Шмелев, правда, выводя общелитературный вариант за пределы устно-разговорной разновидности в «другие типы литературной речи...» [21, с. 126].

5) Синтаксический ряд, образуемый устно-разговорной, общелитературной и книжно-письменной конструкциями. Эти ряды еще предстоит описать. Далеко не каждый маргинальный член (устно-разговорный или книжно-письменный) может войти в такой ряд, поскольку на его существование накладывает наиболее заметное, чем в других типах рядов, ограничение фактор темы (содержания). Например:— *А вот эта, которая внизу фотокарточка, ее специально повесили ~ Эту фотокарточку, которая внизу, повесили специально ~ Находящуюся внизу фотокарточку повесили специально.*

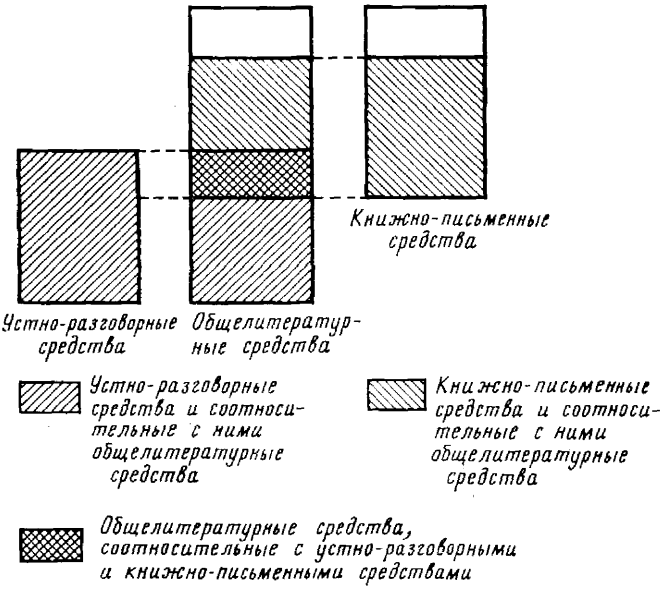
6) Синтаксический ряд, образуемый устно-разговорной и книжно-письменной конструкциями. Таких рядов существует очень немного, их функционирование обычно встречает непреодолимые препятствия со стороны темы (смысла) и ситуации. Тем более интересно выявить имеющиеся случаи, если они есть. Пока такой тип следует считать гипотетическим.

Итак, мы видим, что маркированными членами рядов выступают их маргинальные члены — книжно-письменный (кнп) и устно-разговорный (ур). Общелитературный (ол) член ведет себя как немаркированный, нейтральный. Комбинируясь, ряды образуют синтаксическую систему функциональной разновидности. Если при описании такой системы исключить нейтральный член, мы будем иметь дело со специфической частью системы. Если его включить, что более целесообразно, то получится реальная

модель функционирования синтаксической системы в данной разновидности.

Надо сказать, что ряды могут быть и более сложного состава за счет удваивания одного из членов. Вот пример ряда с двумя или даже тремя общелитературными и одним устно-разговорным членом: *Между прочим, в Индии наводнение, от которого погибло 200 человек* ~ *Между прочим, в Индии наводнение, погибло 200 человек* ~ *Между прочим, в Индии наводнение, от него погибло 200 человек* ~ *Между прочим, в Индии наводнение, погибло от которого 200 человек.* Вот еще сложный ряд: *Вот у моей сестры, у нее куры* (ур) ~ *Вот у моей сестры, у нее куры есть* (ур) ~ *У моей сестры куры* (ол) ~ *У моей сестры есть куры* (ол) ~ *У моей сестры имеются куры* (кнп). Бывает, что устно-разговорный член ряда омонимичен (по 3-му типу) и потому входит в разные ряды: если рассматривать конструкцию *Я видела там коровы* как конструкцию с именительным темы, 2-я разновидность модификации 12, то соотносительной общелитературной будет конструкция *Я там видела коров*; если же это модель В конструкции бессоюзного подчинения, то соотносительным общелитературным членом явится союзная структура *Я видела, что там коровы* или бессоюзная с маркирующей интонацией *Я видела: там коровы.*

Соотношение трех разрядов средств в синтаксических рядах графически можно изобразить так:



2. По участию ряда в функциональной дифференциации литературного языка и в формировании функциональной разновидности ряды проявляют себя следующим образом.

Ряд 1-го типа нейтрален, безотносителен к функциональной дифференциации. Такие ряды представлены во всем континууме литературного языка, свойственны всем его функциональным разновидностям. Ограничения по типу текстов существуют лишь для тех рядов, в состав которых входят средства, на допуск которых в функциональные разновидности имеются те или иные ограничения (незаштрихованная область на схеме).

Ряды 2—4-го типа организованы функционально маркированным и другим таким же (той же функциональной принадлежности) функционально маркированным членом или же функционально маркированным и нейтральным, немаркированным членом. В обоих случаях это гомофункциональный ряд. Кроме ряда 3-го типа (омонимического) этими рядами охватываются явления, про которые Т. Г. Винокур писала: «... помимо межстилевой синонимии существует обширная область синонимии вну-

тристилевой». Члены ее ряда «...можно квалифицировать как однородные в экспрессивном и функциональном отношениях...» [5, с. 164] [5].

Ряд 5-го типа — наиболее богатый соотносительными членами. Сами эти члены представляют собою два функционально маркированных члена разной функциональной принадлежности и один нейтральный, немаркированный член. Это гетерофункциональный ряд. Его маркированные члены вовлекают в отношения соотносительности диаметрально противоположные области литературного языка. Решающие ограничения со стороны фактора темы (и ситуации) делают такие ряды немногочисленными. С точки зрения полноты охвата разрядов средств литературного языка такие ряды можно считать центральными в системе сопоставительных рядов.

Гипотетический ряд 6-го типа организован функционально маркированным и другим функционально маркированным (другой функциональной принадлежности) членом, т. е. функционально разно маркированными членами. Эти ряды интересны контрастностью отношений членов. Они гетерофункциональны.

Естественно, за пределами рядов, вне действия принципа соотносительности, оказывается большая масса средств литературного языка. Это общелитературные и книжно-письменные средства, на нашей схеме они не заштрихованы.

3. По числу членов ряда и по его полноте — неполноте, а также по участию разрядов средств в формировании двух бинарно соотнесенных типов рядов — гомофункциональных и гетерофункциональных ряды устроены так.

Ряды 1—4-й и 6-й бинарны, двучленны. Ряд 5-й трехчленен. С этой точки зрения их можно соотнести как неполные — полный. Однако вне такого соотнесения двухчленные ряды можно рассматривать как самодостаточные, полные.

В гомофункциональных рядах взаимодействуют специфическое средство со специфическим того же разряда (ряды 2-й, 3-й) или специфическое средство с общелитературным (ряды 2-й, 4-й). В гетерофункциональных рядах взаимодействуют специфическое средство со специфическим другого разряда (ряд 6-й) или специфическое со специфическим другого разряда при посредстве общелитературного (ряд 5-й). В нейтральных к функциональному размежеванию литературного языка рядах (1-го типа) взаимодействуют общелитературное средство с общелитературным.

4. По характеру соотносительности членов ряда ряды бывают соотносительными (вариативными) и синонимическими. Эта сторона организации рядов, включающая элемент значения, исследована полнее других. Собственно, все разногласия между исследователями прежде всего касаются вопроса о том, при какой степени совпадения конструктивных элементов,

---

[5] Д. Н. Шмелеву принадлежит мысль о том, что внутристилевая синонимия богаче межстилевой и что неверно было бы считать межстилевую синонимию ведущей. Препятствуют этому стилистические возможности языковых средств. «Наблюдения над стилистической дифференциацией языковых средств,— пишет Д. Н. Шмелев,— делают все более очевидным, что представление о межстилевых модификациях при выражении того же содержания не соответствует языковой реальности» [21, с. 88, примеч.]. Та же мысль звучит у Т. Г. Винокур, на которую ссылается Д. Н. Шмелев: «Было бы весьма заманчиво попытаться построить.. межстилевую парадигматику, усмотреть в ней строгую системность, по законам которой те или иные экспрессивные ряды распределяются по тем или иным функциональным сферам. В то же время хорошо известно, что подобные межстилевые ряды выстраиваются не без препятствий, они прерывисты, в них есть лакуны... Ясно, что такой стилистической синонимией... нельзя обойтись при желании создать по возможности строгую стилистическую классификацию элементов языка. Она недостаточна ни для экспрессивных градаций, ни, тем более, для функциональных, так как не может служить универсальным показателем принципов языковой организации функционально-стилистических подсистем языка» [22, с. 55—56]. Звучащая здесь негативная оценка задачи изучения межстилевой синонимии может быть смягчена двумя обстоятельствами — необходимостью создать типологию самой прерывистости, лакун и принципиальной возможностью отвлечься при построении межстилевой парадигматики от экспрессивно-стилистических значений, того плана языка, который по традиции именуется «стилистическим» (в отличие от «стилевого»).

значений и лексического наполнения ряды могут считаться синонимическими и следует ли считать синонимами варьирующиеся части конструкций или целые конструкции. Г. А. Золотова считает синонимичными конструкции, однородные с точки зрения структурно-смысловой и функциональной, но различающиеся семантическими оттенками (в пределах общего значения) и стилистической окраской [15, с. 180]. Н. Ю. Шведова дает такое определение синтаксического ряда: «... синтаксический ряд — это существующий на определенном этапе развития языка набор структур, находящихся между собой в отношениях взаимозамещения, или, что то же самое, функционально-смысловой соотносительности» [14, с. 209]. При этом вариативный ряд понимается как ряд более узкий — в нем участвуют варианты модели. И. И. Ковтунова полагает, что «в основе о б щ н о с т и, позволяющей отнести ряд конструкций к синтаксическим синонимам, лежит общность грамматического значения», а «в основе р а з л и ч и й между синонимами внутри каждого синонимического ряда лежат различия в оттенках грамматического значения, а также различия стилистического порядка», причем «в каждый синонимический ряд входят конструкции, представляющие собой полный грамматический параллелизм и различающиеся только способами выражения данного грамматического значения»; «синтаксическими синонимами следует считать законченные значащие единицы речи, а не их отдельные составные элементы» [13, с. 141—142], поскольку «оттенки грамматического значения могут быть связаны с самыми различными элементами, входящими в структуру какой-либо синтаксической единицы» [13, с. 127]. Ю. М. Скребнев пишет о «неправомерности трактовки синонимии как множественности способов выражения якобы тождественного значения» [23]. Степень вариативности значения является важным признаком конструкции, несомненно, участвующим в типологии варьирования. Н. М. Лариохина справедливо считает, что синтаксическая система функциональной разновидности создается отбором языковых средств в их значениях, лексико-морфологическим составом и частотностью употребления средства [12, с. 10]. Видимо, недостаточное внимание к стилистико-семантическому плану при возможных попытках конструирования межстилевого варьирования побудило Д. Н. Шмелева и Т. Г. Винокур скептически отнестись к самой идее построения такой парадигмы.

Приведенные нами и многие подобные примеры, конечно, очень различны со стороны соотнесенности значений членов ряда. Мы намеренно позволили себе на предшествующем этапе конструирования рядов временно отвлечься от семантического момента и подключаем его лишь на данном этапе. В языке функционирует именно языковое средство в конкретном наборе его значений, а не значение в обличии разных средств. Поэтому наметить функциональную дифференциацию литературного языка по формально-языковым показателям можно, только идя по пути от средства к значению, а не наоборот. Подключение же значения как различительного признака не поколеблет, но лишь уточнит созданную таким путем типологию, покажет способы вхождения в системные отношения с другими явлениями (по В. В. Виноградову).

При учете этого признака вступают в силу многие нерешенные или не до конца решенные теоретические вопросы. Предстоит выяснить, в каких отношениях находятся между собой разные ступени семантического сближения — соответствие и структурно-семантический вариант, трансформ и синоним, синоним и дублет, и какие типы рядов возникают при этом. Видимо, все возникающие ряды соотносительны, но не все синонимичны. Что касается их вариативности, то мы склонны ее усматривать при любом типе соотносительности, хотя возможно и более узкое понимание вариативности. В. В. Виноградов писал: «...развитой литературный язык представляет собой сложную систему стилей, обладающих разными средствами выражения — соотносительными и нередко синонимическими» [24]. Устанавливая причину того, почему межстилевая синонимия несравненно беднее внутристилевой, Т. Г. Винокур формулирует ее так: «*стилистические коннотации сдвигают смысл*» [22, с. 60]. «Подсистемные

функционально-языковые объединения» в связи с их содержательными ограничениями характеризуются «избирательностью с точки зрения объема и принципов смысловой структуры» [22, с. 59]. Все это мешает возникновению точной синонимии, но не мешает возникновению соотносительности членов ряда как непременного условия существования и функционирования развитого литературного языка, узус которого всегда характеризуется некоторым списком излюбленных вариативных соответствий. Внутристилевая системность не препятствует установлению таких отношений.

Показателен в этом смысле устно-разговорный синтаксис в интерпретации Е. Н. Ширяева. Его системная организация, позволяющая Е. Н. Ширяеву выделить два принципиально различных класса высказываний — конситуативных и полипредикативных,— не препятствует соотносительности обоих классов с общелитературными высказываниями. Соотносительность эта различна — конситуативные соотносятся с теми, в которых вербально восполняется недостающий элемент смысла, полипредикативные в силу недифференцированности значения с несколькими конструкциями с дифференцированным значением,— но она есть. Осложняется она тем, что полипредикативность и конситуативность высказывания могут совмещаться. Здесь уместно вспомнить замечание Н. Ю. Шведовой о грамматической норме: эта норма характеризуется воспроизводимостью явления и вхождением его в системные отношения с другими явлениями [14, с. 211]. В функционально дифференцированном литературном языке эти системные отношения осуществляются в виде парадигматических и соотносительных рядов наряду с другими типами отношений.

Предстоит выявить такие ряды и квалифицировать их члены со стороны их семантики и функционально-стилевой принадлежности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ляпидевская Н. С.* Особенности функционирования сложноподчиненных предложений со значением цели действия в публицистическом и научном стилях.— Русский язык за рубежом, 1979, № 4.
2. *Костомаров В. Г.* Вопросы культуры речи в подготовке преподавателей-русистов — В кн.: Теория и практика преподавания русского языка и литературы. Роль преподавателя в процессе обучения: Доклады советской делегации на IV конгрессе МАПРЯЛ. М., 1979, с. 18.
3. *Лаптева О. А.* Нормативность некодифицированной литературной речи.— В кн.: Синтаксис и норма. М., 1974.
4. *Лаптева О. А.* Гомофункциональные ряды — принцип системности русского некодифицированного устно-разговорного синтаксиса.— ВЯ, 1973, № 5.
5. *Винокур Т. Г.* Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980.
6. *Koževniková Kv.* Některé vztahy obsahové a výrazové výstavby v nepripřaveném mluveném projevu.— Slavica Pragensia X. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 1—3. Praha, 1968.
7. *Лаптева О. А.* О грамматике устного высказывания.— ВЯ, 1980, № 2.
8. *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
9. *Ширяев Е. Н.* Синтаксис.— В кн.: *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
10. *Кожина М. Н.* О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими. Пермь, 1972, с. 322 и др.
11. *Лаптева О. А.* О некоторых синтаксических тенденциях в стиле современной научной прозы.— В кн.: Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1966, с. 191 и др.
12. *Лариохина Н. М.* Вопросы синтаксиса научного стиля речи (Анализ некоторых структур простого предложения). М., 1979.
13. *Ковтунова И. И.* О синтаксической синонимике.— В кн.: Вопросы культуры речи. I. М., 1955.
14. *Шведова Н. Ю.* О понятии синтаксического ряда.— В кн.: Историко-филологические исследования. Сборник статей к семидесятилетию академика Н. И. Конрада. М., 1967.
15. *Золотова Г. А.* Синтаксическая синонимия и культура речи.— В кн.: Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970.
16. *Шенделъс Е. И.* Синтаксические варианты.— ФН, 1961, № 1.
17. *Власова Н. С.* Предложно-падежные сочетания и придаточные предложения как

члены вариативного синтаксического ряда: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
18. *Лаптева О. А.* О влиянии функционального расслоения литературного языка на его грамматику.— В кн.: Синтаксис и стилистика. М., 1976.
19. *Кручинина И. Н.* Конструкции с местоимением *который* в современном русском языке.— ВЯ, 1968, № 2.
20. *Кожевникова Кв.* Принципы построения коммуникатов разговорной речи как проблема лингвистического описания и проблема преподавания.— В кн.: Bulletin ruského jazyka a literatury, 1974, XVIII.
21. *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы). М., 1977.
22. *Винокур Т. Г.* Синонимия в функционально-стилистическом аспекте.— ВЯ, 1975, № 5.
23. *Скребнев Ю. М.* Очерк теории стилистики. Горький, 1975, с. 47.
24. *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания.— ВЯ, 1964, № 3, с. 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

АБДУЛЛАЕВ А. А.

РАЗВИТИЕ ЛАКСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

Проблема развития национально-русского двуязычия включает в себя следующие вопросы: а) выбор необходимого второго языка; б) выделение языка для межнационального общения и школьного обучения; в) развитие национального языка; г) культура речи билингвов. «Языки народов Советского Союза дают наиболее разительные примеры их взаимодействия в самых разнообразных лингвистических условиях. В этой связи следует отметить исключительное значение в условиях многонационального Советского государства проблемы двуязычия. Поэтому изучению типов двуязычия в СССР, особенно двуязычия, где вторым языком служит русский язык — язык межнационального общения народов СССР,— должно быть уделено особое внимание» [1].

Цель данной статьи — освещение места и роли лакско-русского двуязычия в жизни лакского народа и основных аспектов взаимодействия русского и лакского языков.

В Дагестане на территории 50,3 тыс. кв. км живут аварцы, даргинцы, кумыки, русские, лезгины, лакцы, табасаранцы, рутульцы, цахурцы, агульцы, ногайцы, таты, азербайджанцы, чеченцы и другие народности.

Горские народы Дагестана, говорящие на трех десятках языков, связаны между собой общими историческими судьбами, характеризуются общностью обычаев, традиций, бытового уклада, духовной культуры, а также типологической близостью и генетическим родством языков [2].

Лакское население Дагестана по данным переписи населения 1979 г. составляет всего сто тыс. человек [3].

Вследствие крайней скудости полезной земли лакцы издревле занимались разнообразными ремеслами. Они имели свою письменность на арабской графической основе и литературу еще в XVIII в. [4]. Однако социальные функции письменности были ограничены определенными рамками, основная масса населения не была приобщена к письменности. К предреволюционному периоду под непосредственным воздействием прогрессивной русской литературы на зачинателей новой лакской литературы, революционеров С. Габиева и Г. Саидова, появились отдельные произведения лакской литературы лирического, эпического и драматического жанров.

Задолго до Октябрьской революции лакцы-отходники овладевали русским языком и употребляли его почти исключительно за пределами своего края на отхожих промыслах, а частично и в дагестанских городах. Религиозно настроенная часть лакцев сначала с недоверием относилась к русскому языку и к тому духовному влиянию, которое он нес с собой. Однако еще в 70-е годы XIX в. лакцы начали вступать в разносторонние сношения с русскими, грузинами и другими народами немусульманского культурно-исторического ареала. И русский язык усваивали всюду, где его необходимость диктовалась экономическим фактором. После окончательного вхождения Дагестана в Россию лакцы, избрав основным ареалом отходничества русские губернии, постепенно близко сходились с трудовым народом России, перенимали от него элементы русской культуры. Отходники объективно служили проводниками передовой культуры в жизнь своего народа.

В укреплении ориентации лакцев на Россию определенное значение имела деятельность автора этнографических очерков о лакцах, педагога А. Омарова, который, пройдя все ступени арабских наук, принялся за

русский язык и овладел им так, что удостоился высокой похвалы П. К. Услара: «весьма даровитый и трудолюбивый, с которым я мог свободно объясняться по-русски» [5]. Большую роль в укреплении дружбы народов Дагестана с русским народом и развитии национально-русского двуязычия в Дагестане сыграла газета «Заря Дагестана», издававшаяся известным просветителем и революционером С. Габиевым в 1912—1913 гг. в Петербурге на русском и лакском языках. Ее главной целью было пробуждение самосознания и просвещение горцев, содействие открытию светских школ на родных языках народов Дагестана и на русском.

Тем не менее распространение лакско-русского двуязычия до революции шло стихийно и неравномерно: в селениях кустарей-отходников, ориентированных на российские губернии, количество его носителей достигало нескольких сотен, а там, где занимались традиционным сельским хозяйством, их было очень мало. Несмотря на это, социальная значимость русского языка как необходимого в жизни лакцев второго языка неуклонно возрастала.

После Октябрьской революции с установлением подлинно демократического интернационального социального строя и политических, экономических и социально-культурных отношений между русским народом и народами Дагестана наметились новые общественные сферы распространения русского языка как средства межнационального общения. Расширились области применения устной и письменной форм лакского языка: на нем начали обучать детей в школах и взрослое население в ликбезах, издавать общественно-политическую и научно-популярную литературу, учебники и книги для чтения. Конкретные практические шаги в этом направлении показали, что старый лакский алфавит на арабской графической основе, не отражающий полностью звукового состава лакского языка, ограниченность возможностей которого ранее не замечали из-за узости сфер использования, непригоден для решения широких социальных задач. В 1928 г. был принят новый алфавит на латинской графической основе, более полно отражающий фонологическую систему лакского языка. Смена графической основы отвечала интересам не только ликвидации неграмотности и развертывания начального обучения, но и окончательной изоляции мусульманского духовенства от общественно-политической и культурной жизни народа.

В ходе социалистического переустройства всего бытового уклада народности Дагестана особенно остро ощущали потребность в межнациональном общении и средстве для такого общения. Жизнь показала, что в этой функции наиболее эффективным является русский язык. В раннее пореволюционное время наблюдалось распространение лакско-русского двуязычия в социально-экономических, общественно-политических и культурных сферах. К 30-м годам в среде дагестанской творческой интеллигенции русский язык уже функционировал как практически необходимое средство коммуникации разноязычной среды. «Русский язык уже действовал как межнациональный язык, объединяющий всех в единой писательской организации, созданной I съездом писателей Дагестана» [6].

В эпоху научно-технической революции национально-русское двуязычие приобретает огромное значение в народном хозяйстве, стройках и других сферах жизни. Малоземельные колхозы осваивают земли на равнинной части республики. Развитие многоотраслевого хозяйства потребовало активизации мобильности колхозного крестьянства. Возникла реальная потребность в хорошем знании русского языка для свободного общения с нелакцами в процессе ведения отгонного хозяйства, в городских гостиницах, магазинах, транспорте, а также с иноязычными специалистами, механизаторами в своем хозяйстве. За последние три-четыре десятилетия активизировались процессы миграции лакцев, сейчас больше половины их живет в городах. Возросло число национально-смешанных лакских семей. Если межэтнические браки у лакцев в 1939 г. составляли всего лишь 4,2% всех совершенных за год браков [7], то в 1979 г. по данным республиканского архива ЗАГСа их было 22,14%. Нередко одна и та же

большая лакская семья живет частью в селении, частью в городе. Из 173 семей аула Куркли 145 подобных. Из 208 опрошенных курклинцев 116, или 56%, ответили, что вступили в брак вне своего аула, в том числе 50% с русскими [8]. Национально-смешанные семьи — один из наиболее действенных факторов распространения лакско-русского двуязычия. Высокий процент межэтнических браков, подвижность населения и другие характерные особенности лакцев служат причиной относительно высокого уровня развития национально-русского двуязычия у них: в 1970 г. русским языком свободно владело 56,0% лакцев, а в 1979 г.—73,0% [3]. По Дагестану в целом свободно владеют вторым языком народов СССР 60,3% населения [3]. В сельском быту лакцев, начиная с конца 50-х годов, появляются признаки городской жизни: старые сакли перестраиваются в современные дома городского типа, обновляется интерьер. «Несмотря на ограниченность количества населения, расселенность разобщенными группами в горной части республики и на равнине, разбросанность (около 42%) в городах Кавказа, Средней Азии и даже центральных областях РСФСР, лакская народность в условиях Советской власти, в результате всесторонней помощи государства и русской нации достигла выдающихся достижений в развитии культуры. Раньше всех народностей Дагестана она пришла к всеобщей грамотности населения, раньше пришла и к среднему образованию для подрастающих поколений» [9].

Ныне развитие лакско-русского двуязычия протекает в условиях продолжающейся научно-технической революции. Социальное значение двуязычия определяется характером соотношения сфер применения родного языка билингвов и русского языка в данном социуме. Методологическим ориентиром в оценке и адекватной научной трактовке происходящих в данной области процессов служит советская социолингвистическая концепция функциональной природы языков народов СССР [см. 10—12]. Функциональное развитие лакского языка происходит под воздействием социальных факторов, обусловливающих лакско-русское двуязычие и повышение социальной роли русского языка. На лакском языке осуществляется общение в семье и общественном быту. Черты лексико-семантического развития лакского языка в условиях двуязычия выступают как его органическая принадлежность. Молодое поколение усваивает всю совокупность исконных и заимствованных лексических средств как словарный состав родного языка.

В результате технического оснащения сельского хозяйства, увеличения количества квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве, повышения общего уровня образования населения в речи на лакском языке все больше и больше используется русских заимствований. Важность вклада русского языка в лексику лакского языка не заключается только в его количественном объеме, но в неменьшей степени и в высокой частотности употребления, обусловленной актуальностью обозначаемых реалий. Динамика социально-экономической и культурной жизни отражается в бытовом общении через посредство производственной, учебной, общественно-политической сфер, в которых заняты сельские жители разных профессий, специальностей, находящиеся между собой в постоянных коммуникативных связях. Резко увеличился за последние десятилетия объем информации, которой обмениваются билингвы на родном языке, сложной и разнообразной стала тематика делового общения, что отражается на ускоренном развитии лакского языка. Рассмотрим выявленные в результате наших наблюдений некоторые социолингвистические факторы развития двуязычия, следовательно, и лакского языка, в типичном лакском селении Кули. До 1950 г. здесь не было ни одного человека с высшим образованием. В настоящее время из 4800 кулинцев высшее образование имеет 350 человек: 153 учителя, 64 инженера, 42 медицинских и 16 ветеринарных врачей, 14 зоотехников, 10 юристов, 7 агрономов. Из них в самом селении работает 139 человек, или 39,6%. Тем не менее влияние образованной части населения на развитие характера общения весьма заметно. В тесных контактах с жителями Кули находятся 186 студентов-кулинцев, которые учатся в городах Дагестана, разных областей РСФСР.

В распоряжении колхозников 97 грузовых автомашин, более 100 тракторов, комбайнов, бульдозеров и другой техники, 52 частные легковые автомашины, 500 мотоциклов, 760 телевизоров и разветвленная сеть предприятий бытового обслуживания. Функционируют больница, детский сад, магазины, мастерские разного профиля. В двух средних школах обучается более полутора тыс. детей. Таким образом, 3560 жителей села, или 70% кулинцев, двуязычны. Мобильная часть колхозников в той или иной мере двуязычна. В результате воздействия указанных факторов общение на лакском языке в разных производственных сферах приобретает специфический оттенок, обусловливаемый необходимостью употребления специальных терминов. Например, на фермах употребительны термины: *жиромер*, *гранулы*, *дерть*, *контрактация*, *центрифуга*, *сепаратор*, *дежурство*, *смена* и др.; у овцеводов: *агрегат*, *жиропот*, *бирка*, *вакцинация*, *креалин*, *купка*, *элита*, *меринос*, *прогон*, *нагул* и др.; у механизаторов: *гараж*, *жатка*, *гусеница*, *зазор*, *искра*, *карбюратор*, *палец* и др. Наряду с этими заимствованиями широко употребляются исконно лакские сельскохозяйственные термины. Их бытование не ограничивается традиционными отраслями, в которых эти последние численно преобладают: появляются новые лакские термины — семантические кальки, полукальки, например, *чIила* «нож бульдозера», *ччуччия* «горючее», *тормоз бугьан* «тормозить» и т. п. Соответственно различается речь поливальщиков, строителей, дорожников, кормодобытчиков, экспедиторов и т. д.

На лакском языке осуществляется обучение в подготовительном — втором классах. Дети знакомятся с литературным лакским языком, изучают грамматику. Лакский язык преподается в школе как один из предметов в подготовительном — восьмом классах. Родной язык иногда используется как вспомогательное средство при объяснении труднодоступного сложного учебного материала по химии, физике, биологии.

Деятельность советских, партийных и общественных организаций в селениях и в районном масштабе обслуживается лакским языком наряду с русским. Однако восемь лакских селений входит в иноязычные районы, представители этих сел тоже входят в состав районного руководства, дети лакцев учатся в районных школах, дело- и судопроизводство обычно осуществляется на языке преобладающего населения, вследствие чего часть лакцев оказалась трехъязычной. Но заметен переход молодого поколения к двуязычию.

На лакском языке издается учебная и методическая литература, а также художественная литература, оригинальная и переведенная с русского языка. Объем лакской художественной литературы увеличивается. Приведем подсчитанные нами по статистическим ежегодникам «Печать СССР» (М., 1962—1981 гг.) данные. Если в 1961—1970 гг. было издано 163 оригинальных и 129 переводных книг на лакском языке общим тиражом 395 тыс. экземпляров, то в 1971—1980 гг.—184 оригинальных и 42 переводных общим тиражом 463,8 тыс. экземпляров. Общее количество книг на лакском языке за второе десятилетие (1971—1980) по сравнению с предыдущим увеличилось на 21 наименование, а тираж — на 124,8 тыс. экземпляров. За это же время число переводных изданий сократилось на 87 наименований, что объясняется увеличением числа лакцев, свободно владеющих русским языком, за период между двумя последними переписями на 17 тыс. человек, в связи с чем уменьшилась степень надобности в переводе с русского на лакский.

Лакский язык используется в общественно-политической жизни, на нем издаются газеты, журналы, общественно-политическая литература, ведется радиовещание.

Сфера судопроизводства обслуживается лакским языком, однако протоколы оформляются на русском, чтобы облегчить возможное дальнейшее продолжение дел в масштабе республики. Делопроизводство в селениях и районных учреждениях ведется на родном языке, а официальные документы республиканского значения — на русском языке.

Лакский язык является языком профессионального драматического театра им. Э. Капиева, на нем ставит спектакли и народный театр Ново-

лакского Дома культуры, функционируют кружки художественной самодеятельности.

Итак, лакский язык функционирует как основной компонент лакско-русского двуязычия, максимально расширились его потенциальные функциональные возможности. Однако по объективным историческим причинам он не может обслуживать все сферы жизни лакцев, существуют такие области, в которых функционирует русский язык.

До революции лакцы пользовались русским языком лишь для межнационального общения за пределами своего края. В советскую эпоху возникли такие социальные сферы, которые потребовали применения русского языка. Расширение сфер употребления русского и лакского языков у лакцев шло одновременно. Русский язык используется лакцами для общения с нелакцами в районных центрах, в городах и многонациональных населенных пунктах, за пределами Дагестана.

Обучение детей в 3—10 классах с 1966—1967 учебного года осуществляется на русском языке. Его преподают и как предмет во всех классах. Целью преподавания русского языка является развитие лакско-русского двуязычия. Решающее значение в формировании национально-русского двуязычия имеет национальная школа. На русском языке издается вся необходимая для осуществления учебного процесса литература: учебная, методическая, научная, научно-популярная и художественная. Переводить всю эту литературу на лакский язык было бы нецелесообразно, как и вводить среднее и высшее образование на лакском языке.

Параллельно с лакским лакцы используют на русском языке общественно-политическую литературу, средства массовой коммуникации (радио, телевидение, кино, газеты, журналы). Телевидение в Дагестане существует в основном на русском языке. Имеются специальные передачи на основных языках Дагестана (интервью, литературные вечера, выступления фольклорных ансамблей и самодеятельных коллективов, спектакли национальных театров и т. п.). Телеэкран приобщает лакцев к живому русскому слову, содействует развитию слушания и понимания русской устной речи как одной из форм речевой деятельности. Радиовещание в Дагестане в основном ведется на русском языке. На местных языках передачи продолжаются не более 2—3 часов в сутки, что объясняется многоязычием республики. Однако в районных центрах существуют радиоузлы, организуются местные передачи.

Особое место занимает русскоязычное художественно-литературное творчество лакских писателей. Известные не только в Дагестане, книги «Поэт», «Записные книжки» Э. Капиева, «Разрыв» И. Керимова и другие, являясь по содержанию и идейно-эстетической направленности произведениями общедагестанской, советской литературы, отличаются лакским национальным колоритом, образно-метафорической спецификой.

Русский язык служит средством внутрисемейного общения лакцев, живущих за пределами территории их компактного расселения; общение на родном языке наблюдается в основном между представителями старшего поколения.

Анализ функционального соотношения компонентов лакско-русского двуязычия показал, что функции лакского языка сохранились в сфере бытового общения, в устном народном творчестве и в начальной школе для обучения в подготовительном — втором классах. Для русского языка специфичны межнациональное общение, обучение в 3—10 классах, среднее специальное, общее среднее и высшее образование, наука, телевидение. Все остальные сферы обслуживают русский и лакский совместно, что благоприятствует взаимодействию контактирующих языков.

В условиях двуязычия расширяются жанрово-стилистические возможности лакского языка. Язык лакских газет отражает особенности лакского языка как компонента двуязычия, как родного языка билингвов. Язык художественной литературы благодаря переводам с русского языка обогатился новыми эпитетами, метафорами, метонимией, сравнениями, фразеологией. В процессе перевода заимствуется большое количество слов, обозначающих новые понятия и реалии, которые постепенно прони-

кают и в оригинальные произведения, «при соприкосновении языков разного уровня перевод бывает могущественным средством пополнения лексики языка, на который переводят; средством обогащения его новыми возможностями выражения; средством освоения новых стилистических приемов; в художественной литературе — средством освоения нового литературного жанра. Этим путем язык и справляется с трудностями перевода» [13]. Кроме того, «перевод сам по себе — фактор, оказывающий большое влияние на взаимопроникновение соприкасающихся языков и культур» [14].

Закономерным следствием расширения социальных функций и жанрово-стилистических возможностей лакского языка является развитие его лексико-семантической системы. В человеческой истории не было случая, чтобы какой-нибудь народ обходился без взаимно полезных экономических и культурных сношений с другими народами посредством языков. Языки взаимодействуют сообразно характеру отношений между их носителями. Язык с меньшим объемом социальных функций испытывает потребность в заимствовании слов из функционально более развитого языка. Заимствования обогащают язык лексическими средствами, необходимыми для оптимальной коммуникации его носителей в данных социально-экономических условиях. Заимствование обусловлено не только отсутствием в заимствующем языке наименования новой реалии, но и характерными особенностями развития национально-русского двуязычия у данного народа. Так, в лакском языке, устно-разговорные литературные нормы которого еще не устоялись, ни одно из имеющихся локальных названий того или иного всем известного предмета не становится общеупотребительным и поэтому в роли нормативного иногда выступает компромиссное русское заимствование. Например, в одних лакских селениях спичку знают под названием *малища*, в других — *килпитI*, в третьих — *пилта*, в четвертых — *синникI*. Границы ареалов бытования этих синонимов не совпадают с диалектными изоглоссами, так как они заимствовались из разных языков безотносительно к диалектной дифференциации лакского языка, например, *синникI* бытует в тех лакских селениях, которые в прошлом ориентированы были на разные северокавказские регионы, где русское *серник* (серная спичка), может быть, благодаря украинскому посредству воспринято как *сирник*. В лакском это слово подверглось диалектному фонетическому освоению: *-рн-* видоизменилось в *-нн-*, а конечный *-к* превратился в абруптив *-кI*. Общеупотребительным лакским названием стало русское заимствование — *спичка*. Другой пример. Лакские диалектные наименования постели *лун-ялунсса* букв. «подстилаемое-накидываемое», *шану-кIаралу* «матрац-подушка» или разное обозначение посуды *тIахIни-кIичIу* букв. «кувшин-миска», *мурцIу-къатта* «угол-дом» в общении билингвов на лакском не приобретают статуса общеупотребительного разговорно-обиходного названия, и билингвы предпочтительно употребляют русские *постель* и *посуда*. Данное явление объясняется не только взаимным отталкиванием диалектизмов, а иногда и новизной самих обозначаемых реалий.

В лакском языке несколько тысяч слов, заимствованных из русского языка, относящихся к пятидесяти разным тематическим группам. Их анализ не входит в задачи этой статьи. Поэтому остановимся на некоторых аспектах, связанных с употреблением русских заимствований в лакском языке и имеющих особенно важное значение в дальнейшем развитии лакско-русского двуязычия.

В связи с разработкой принципов правописания русских заимствований ставится обычно вопрос о путях их вхождения в лакский до и после революции и способах освоения. Укоренилось стойкое мнение, что до революции русизмы проникали исключительно устным путем и подвергались полному фонетическому освоению, а после революции — устным и письменным путями без фонетической адаптации. Предлагается дореволюционные заимствования писать по лакскому произношению, а послереволюционные — как в русском языке. Наше исследование показало: а) на данном этапе научной разработки лакского языка трудно с достаточ-

ной определенностью разграничить дореволюционные и послереволюционные русские заимствования; б) до революции имело место проникновение русизмов и через письменный язык, в том числе без отражения фонетической адаптации [15]; в) вопросы устного или письменного заимствования и способов адаптации русских слов практически невозможно решить однозначно, так как письменность у лакцев до 1928 г. имела арабскую графическую основу, до 1938 г.— латинскую, а с 1938 г. имеет русскую графическую основу; г) до принятия русской графической основы письма и унификации правописания русизмов все слова, взятые из русского языка, независимо от времени вхождения, писались по существовавшему правилу — как произносят лакцы, например, *учкъула* «школа», *ппараписур* «профессор», *ккалхуз* «колхоз»; д) лакцы-билингвы в непринужденной устной речи и в наши дни и старые и новые заимствования употребляют в адаптированном виде, и это стало признаком социального этикета общения на родном языке.

Лакская дореволюционная лексика все еще не исследована, в частности нет хотя бы индекса заимствований из разных языков, не выявлен фонд русских заимствований. Например, слова *департамент*, *диктатор*, *дума*, *кабинет*, *комедия*, *конституция*, *отставка*, *партия*, *пенсия*, *правительство*, *революция*, *редактор*, *устав*, *учитель*, которые согласно общему соображению, известным социолингвистическим факторам могли бы быть отнесены к разряду заимствований позднего времени, неоднократно встречаются в лакских текстах газеты 1912—1913 гг. «Заря Дагестана». По нашим подсчетам, дореволюционных русских заимствований в лакском языке свыше 500 вместе с ономастической лексикой. Существует и другое мнение [16].

Большую роль в обогащении лакского языка играет калькирование, при котором лакские слова приобретают дополнительное значение или реализуется потенциальная полисемия семантически емкого лакского слова, а также давно укоренившегося заимствования. Например, глагол *ласун* «получить» (урожай, приплод), существительное *сурат* «картина» (в значении «обстановка, ситуация»), прилагательное *куртIсса* «глубокий» (применительно к отвлеченным понятиям), наречия *ялув* «выше», *луве* «ниже» (как отсылочные слова в письменном тексте), наряду с традиционными значениями, в условиях двуязычия часто выступают как семантические кальки.

Специфична терминологическая лексика лакского языка как компонента двуязычия. Подобно другим литературным языкам Дагестана, лакский не располагает терминологической системой, какую имеют русский, украинский, узбекский, грузинский, армянский и другие языки с большим числом социальных функций. Он не обслуживает промышленное производство, научно-исследовательское творчество, обучение в средней и высшей школе. Поэтому терминологической лексике лакского языка присущи оправданное коммуникативной целесообразностью использование заимствованных из русского языка терминов, терминологическое осмысление исконных слов, создание новых терминов способом калькирования и т. п. в рамках принципа минимальных расхождений в языках народов СССР [17]. В реальной действительности под давлением тенденции к взаимной однозначности понятия и термина в русском и лакском языках билингвистическая среда преимущественно употребляет заимствованный термин. Синонимичные лакские новообразования типа *хьхьичIмахъ* «предисловие», *дучIаймур* «доход» встречаются в письменных текстах не строго официального содержания.

В 30-е годы была предпринята попытка создать лакскую научную терминологию с целью обучения на лакском языке математике, физике, химии и другим научным дисциплинам в средней школе. Однако созданные словари математических, физических и химических терминов не пригодились. Темпы социально-экономического и культурного развития лакского народа далеко опережали процесс терминообразования. Народ, видя неперспективность среднего образования на языке малочисленного лакского населения, выступил за обучение на русском языке. Практика убе-

дила в нереальности создания терминологии априорно с намерением с ее помощью организовать учебный процесс. Специальная терминология формируется в результате функционирования языка в определенной отрасли науки, в определенном функциональном стиле, в текстах специального содержания. По объективным обстоятельствам в лакском языке не сложилась своя научно-техническая терминология. Но лакцы благодаря двуязычию овладевают терминологией русского языка и отдельными заимствованиями из нее обогащают свой родной язык.

В области лексики лакского языка обнаруживается сосуществование исконного слова и эквивалентного русского заимствования, которое, по-видимому, можно условно назвать билингвистической синонимией. Такая синонимия недостаточно исследована [18]. Билингвистическая синонимия возникает и функционирует в условиях массового национально-русского двуязычия, когда лексика национального языка интенсивно пополняется заимствованиями из русского языка. Не всякое заимствованное слово, проникшее в лакский язык, способно вступать в синонимические отношения с исконным, например, нет синонимов для таких заимствований, как *телефон*, *экзамен*, *инженер*, *операция*, *стол*, *училище* и т. п. Билингвистическая синонимия имеет место в том случае, если в заимствующем языке есть лексический аналог заимствуемого русского слова, а сами синонимы различаются той или иной семой. Например, исконное слово *мащи* обозначает частновладельческий выселок, хутор, а *ферма* — современную колхозную молочно-товарную ферму. Ватное одеяло в отдельных диалектах лакцы называют *виргъан*, а летнее — *адиял*. Пример из устной речи носителя кулинского говора: *КIира виргъанва кIира адиял ласав ттулба пинсиялух* «Два виргана и два одеяла купила на свою пенсию».

Билингвистическая синонимия устраняет исконную омонимию и способствует совершенствованию номинационной системы лакского языка. Например, слово *хъамаличу* употребляется для обозначения и гостя и хозяина, что обусловлено спецификой института кунака. Однако в конкретной ситуации билингвы используют оппозицию *хъамаличу — хозяин*. Этот последний может быть и постоянным кунаком по отношению к данному гостю, может и не быть им. Если хозяин, принимающий гостя, не является его кунаком, то вместо лакского *хъамаличу* «кунак» билингвы употребляют *хозяин*.

В процессе функционирования билингвистической синонимии существующие гипонимические отношения в исконной лексике трансформируются. Например, существительное *улахъ* служило традиционным обозначением обобщенного понятия гужевого транспорта. Когда лакцы освоили автомобиль, стали пользоваться воздушным и водным транспортом, прежнее родовое обозначение *улахъ*, по отношению к которому, например, *конь* являлось наименованием вида, начало указывать на один из видов транспорта. Родовым считается заимствованное *транспорт*.

В силу экстралингвистических факторов исконное слово превращается в пассивный синоним заимствованного. Например, лакское *ххуллукакканбуву* «дорогу показывающий» не отражает нового значения слова *проводник* (железнодорожный служащий, сопровождающий вагон), поэтому доминантизируется синоним *проводник*.

Лакцы воспринимают и воспроизводят широкую информацию на русском языке, а нередко излагают ее и на родном языке, в котором под воздействием билингвистической коммуникативной практики активизируются внутриструктурные процессы. Одни из многовариантных форм местных падежей стандартизируются, другие становятся редкоупотребительными. Например, вместо *уссихъ* «у брата», *уссил* «брата», *уссихъанний* «в доме брата», указывающих соответственно на временное обладание, постоянную принадлежность, домашнюю обстановку, билингвы употребляют *уссичIа* «у брата», поскольку указанная семантическая детализация не всегда релевантна. Группа переходно-непереходных глаголов расширяется, ранее непереходный глагол ситуативно может выступать и как переходный, например, *На дус хъуна акъав* «Я встретил друга». В период

массового двуязычия глагольная лексика лакского языка пополняется образованиями, созданными по модели: «*русский инфинитив + лакский* вспомогательный глагол», например, *регулировать дуллан* «регулировать», *регулировать дан* «отрегулировать», *растеряться хъанан* «теряться», *растеряться хьун* «растеряться». Круг лексико-семантических разрядов имен существительных, которыми управляет тот или иной лакский глагол, расширяется в соответствии с грамматической валентностью лексически равнозначного русского глагола.

В области фонетики лакского языка изменения происходят в основном в речи билингвов на родном языке. В заимствованных из русского языка словах независимо от давности их освоения билингвы в официальной обстановке отчетливо произносят необычные для лакского звукового строя звуки [э], [о], [ф], [ы], а также сочетания согласных в начале слов. Однако указанные звуки трудны для лакцев-монолингвов, поэтому репрезентируемые ими русские фонемы пока трудно считать заимствованными лакским языком.

В условиях активного функционирования двуязычия и тесного социального и речевого взаимодействия [ср. 19] носителей русского и нерусских языков не только национальные языки заимствуют слова русского языка, но и в русский язык из национальных попадают слова определенных тематических разрядов. Взаимовлияние языков—компонентов двуязычия наиболее активно проистекает на самом проницаемом уровне языковой иерархии — лексике.

Расширение лексического фонда русского языка благодаря заимствованию слов из языков народов СССР наблюдается в практике устного и письменного использования русского языка как средства межнационального общения. Объем и характер вносимого в русский язык иноязычного вклада зависит от степени экономического и духовного воздействия носителей данного национального языка на материальный и культурный потенциал советского общества, от научно-технической, эстетической и социально-бытовой значимости тех реалий, исконно национальные наименования которых могут получить широкое признание носителей межнационального языка в масштабе всей страны для ограниченного ареала его функционирования.

Потребность в заимствовании слов национального языка диктуется условиями билингвистического общения, тематикой диалога или описания, степенью взаимопроникновения сфер функционирования компонентов двуязычия. Реальность того факта, что отдельные национальные языки оказывают лексическое влияние на русский язык, не означает еще обязательного участия всех языков народов СССР в расширении лексической базы русского языка, понимаемого во всей своей глобальности. Однако, подобно тому, как в разных населенных русскими территориях наряду с литературным русским языком функционируют и местные говоры, в национальных регионах наблюдается использование русского литературного языка и русской речи, окрашенной специфическими особенностями родного языка билингвов. В каждом национальном регионе в русской речи по необходимости употребляются названия местных населенных пунктов, гор, рек, разного рода экзотических реалий, музыкальных инструментов, кушаний и т. п., фамилии и имена людей, их обозначение по месту жительства и принадлежности к специфически местной отрасли хозяйства, которые не представляют интереса для всех носителей русского языка. Например, за ареалами своего бытования не могут быть понятны и употребительны названия грузинского виноградно-орехового сухофрукта — *чурчхела*, дагестанского льняного масла с медом — *урбеч*, среднеазиатской сушеной дыни — *как*. Но без использования подобных слов общение на русском языке в билингвистической среде невозможно, они попадают и в различные письменные тексты на русском языке. Отраженная в текстах перевода с национальных языков на русский, в произведениях местных двуязычных писателей, написанных на русском языке, лексика становится ценным материалом для исследования национально-русского двуязычия. Особенный интерес представляют русские

кальки национальных пословиц и поговорок, фразеологических единиц, создающих горский этнокультурный и языковой колорит русскоязычного произведения. Например, в разного рода переводах с лакского и произведениях лакских авторов на русском языке неоднократно использованы следующие выражения: «Кувшин разбился — вода растеклась» (беда непоправима), «К чему надевать бурку после дождя?» (запоздалые предосторожности), «У хромца и тень хромая» (у неправого все криво), «Сорока мнит соколом, а каша — пловом» (неадекватный уровень притязаний), «Скрывался от дождя — попал под желоб» (спасаясь от маленькой неприятности, попал в большую).

Русские кальки лакских сравнений представляют интерес с точки зрения взаимообогащения языков и культур. Например: «Облака лежат в ущельях как расплавленное серебро», «походка как у куропатки», «смелый как волк», «угрюмый как медведь, поссорившийся с лесом» и т. п. «Волк — самый поэтичный зверь в понятиях горцев,— писал П. К. Услар.— Лев, орел изображают силу, они идут на слабого; волк идет на более сильного, чем он сам; недостаток силы заменяет отвагой, дерзостью, ловкостью... Попавшись в безысходную беду, волк умирает молча, не выражая ни страха, ни боли. Эти свойства характеризуют героя, по горским понятиям» [20]. Отражаемая в русских текстах лакская лексика, кальки лакских идиоматических выражений и т. п., сделавшись фактом данного перевода или русскоязычного произведения, могут привлечь внимание и неместного читателя, оказаться полезными в исследовательской работе как материал для сравнения и т. д., так как русский язык как средство межнационального общения служит не только обмену сугубо коммуникативной информацией [21].

Для более или менее регулярного употребления национальной лексики в русском языке как средстве межнационального общения отсутствие эквивалентного русского наименования вызывает необходимость использования иноязычного слова. Распространение такой лексики, например, в Дагестане, где отношения между местными языками всегда были и остаются паритетными, зависит от наличия у всех дагестанцев той или иной реалии с адекватной функцией и формой. Например, аварское *годекан* употребляется в местной русской речи как общедагестанское название места времяпрепровождения в ауле, хотя в каждом дагестанском языке существует его синонимичное наименование, подобное лакскому *ккурчIа*. Слов такого рода не очень много, что обусловлено взаимонеприемлемостью безэквивалентных слов отдельных языков, их необщедагестанским статусом.

В проникающей в русскую речь лексике выделяется пласт слов, общих для многих языков, в прошлом развивавшихся в сфере действия арабовосточного культурно-языкового влияния, например, *адат* «обычай», *джамаат* «общество», *садака* «пожертвование», поэтому их, естественно, нельзя считать лакскими заимствованиями в русском языке.

В тексты на русском языке попадают и лакские слова, полнозначные эквиваленты которых имеются в самом русском языке, например, *балай* «песня», *калайчи* «лудильщик», *лавмарт* «предатель; неверный», *ччисса* «возлюбленная». Их используют современные лакские литераторы как стилистические средства, можно сказать, чаще без особой надобности.

Существенной особенностью русской речи лакцев является интерферирующее влияние системы родного языка. На фонетико-фонологическом уровне наблюдаются такие явления интерференции: произношение гласных после мягких согласных как лакские фарингализованные гласные и фарингализованное произношение гласных соседних слогов, например, [ппаьмаьтI] «память», [ппаьраьдуьк] «порядок»; полнозвучное произношение всех гласных слова независимо от позиции, воспроизводство русского ударения как долготы данного гласного: [малакIо] «молоко», [ппириппадаватIил] «преподаватель»; подмена согласных [к], [п], [т] а) усиленными лакскими согласными: [ккартта], [ппоркка], [ккоркка]; б) смычно-гортанными: [дипIлом] «диплом» [укIлон] «уклон», [атIнашения] «отношение»; в) придыхательными: [акhно] «окно», [утhвирждает]

«утверждает», [uhалан] «план». Наблюдается позиционно обусловленное проявление интерференции согласных в одной и той же морфеме в разных словах, например, [аthкказатI] «отказать», [ппакIазатI] «показать», [отhличатI] «отличать» [22, 23]. Выявляется использование фонетической интерференции как релевантный признак, с помощью которого дифференцируются инфинитив и форма 3-го лица русского глагола, например, [гаваритI] «говорить», [гаворитh] «говорит». Этот случай обусловлен нехарактерностью для лакского языка дифференциации согласных по мягкости—твердости, например, русские слова *быт*, *быть*, *бить*, *бит* носитель «субординативного билингвизма» произносит одинаково — [битI]. Причина фонетической интерференции заключается не только в фонетических расхождениях между лакским и русским языками, непривычности для лакца способов артикулирования специфических звуков русского языка, но и в том, что «фонологическое сознание» [24] части лакцев-билингвов недостаточно развито. Кроме того, явления интерференции становятся непреодолимыми оттого, что билингв воспринимает и воспроизводит фрагменты предметного или идеального мира в соответствии с номинационной спецификой его родного языка, представления о реалиях и их национальные наименования тесно ассоциируются между собой. Интерферентные явления обусловливаются также структурно-типологическими расхождениями между русским языком и лакским. Многочисленные исключения из правил, семантические и грамматические архаизмы и фразеология русского языка представляют для билингвов огромную трудность. Существует и такая серьезная причина интерференции, как переплетение интерференции, обусловленной спецификой родного языка, с контаминацией слабо мотивированных фразеологических единиц русского языка в речи билингвов, например, *Это ему обошлось боком*, *Хитрый от мозга до костей*, *Теперь Магомед ходит кум-королем* и т. п. Весьма характерна так называемая нулевая фразеологическая интерференция, т. е. неумение использовать фразеологическое богатство русского языка в своей речи из-за непонимания структурной сущности и смысла многих фразеологических единиц. Например, выражение *У семи нянек дитя без глазу* билингв А. истолковал следующим образом: «Няньки недосмотрели, ребенок уколол глаз».

Грамматическая интерференция возникает вследствие буквального перевода словосочетаний с родного языка билингва на русский, например: *от людей стыдно*, *женился на красивую аварку*, *мне тошнит*, *попросим ему*, *я вам в отца гожусь*, *народ победили врага*. Причин грамматической интерференции немало, самой же главной является недостаточное развитие русской речевой деятельности, отсутствие языкового чутья.

Лакско-русское двуязычие как социолингвистический феномен представляет важный этап в истории лакского языка. В период зрелого социализма, когда процессы вовлечения лакцев в многонациональные трудовые коллективы значительно активизировались, вопросы культуры речи билингвов на родном языке и на языке межнационального общения приобретают особенно острую актуальность. В условиях многонационального Дагестана культура устной и письменной русской речи является одной из важных социолингвистических проблем, успешное решение которой зависит и от усилий языковедов, занимающихся научным исследованием национально-русского двуязычия, и от национальной школы, которая играет большую роль в формировании русской речевой деятельности, национально-русского двуязычия.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.*, *Дешериев Ю. Д.*, *Решетов В. В.*, *Серебренников Б. А.* Основные итоги и задачи разработки вопросов письменности и развития литературных языков народов СССР.— В кн.: Вопросы развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Алма-Ата, 1964, с. 22.
2. *Бокарев Е. А.* Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков. Махачкала, 1961, с. 18.
3. Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М., 1980, с. 24.

4. *Кассиев Э. Ю.* Очерки лакской дореволюционной литературы. Махачкала, 1959, с. 196.
5. *Услар П. К.* Этнография Кавказа. Языкознание. IV. Лакский язык. Тифлис, 1890, с. 4.
6. *Султанов К. Д.* Этюды о литературах Дагестана. М., 1975, с. 269.
7. *Гаджиева С. Ш., Янкова З. А.* Дагестанская семья сегодня. Махачкала, 1978, с. 30.
8. *Магдиев А. А.* Некоторые аспекты брачно-семейных отношений в городах Дагестана.— В кн.: Социально-этническое и культурное развитие городского населения Дагестана. Махачкала, 1978, с. 108.
9. *Агаев А. Г.* Судьбы народностей. М., 1978, с. 95.
10. *Дешериев Ю. Д.* Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе. М., 1966.
11. *Дешериев Ю. Д.* Развитие общественных функций литературных языков. М., 1976.
12. *Дешериев Ю. Д.* Проблема взаимоотношения между функционально-типологической и другими классификациями языков.— В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
13. *Конрад Н. И.* «Система языкового выражения» и теория перевода.— В кн.: Мастерство перевода. М., 1973, с. 471.
14. *Черняховская Л. А.* Перевод и смысловая структура. М., 1976, с. 248.
15. *Омаров А.* Арифметика на казикумухском языке. Тифлис, 1867.
16. *Апажев М. Л.* Основные законы взаимодействия и взаимообогащения межнационального и национальных языков на Северном Кавказе и их отражение в современной лексикографии.— В кн.: Национальная культура и общение. М., 1977, с. 5.
17. Вопросы терминологии. М., 1961.
18. *Ахунзянов Э. М.* Роль русского языка в развитии татарской синонимии.— В кн.: Вопросы грамматики и лексикологии русского языка. Казань, 1964.
19. *Журавлев В. К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982, с. 190.
20. *Услар П. К.* Кое-что о словесном творчестве горцев.— Сборник сведений о кавказских горцах, I. Тифлис, 1868, с. 9.
21. *Иванов В. В.* Русский язык в дружной семье языков народов СССР.— РЯШ, 1982, № 6, с. 16.
22. *Хайдаков С. М.* Лакский язык.— В кн.: Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. М., 1969.
23. *Шурпаева М. И.* Лингвистические основы обучения русскому произношению учащихся-дагестанцев на продвинутом этапе. Махачкала, 1980.
24. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960, с. 73.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

НИКУЛЕСКУ Р. И.

ОТ БЕЗВИДОВОГО ЯЗЫКА К ВИДОВОМУ

Известно, что развитие категории глагольного вида в истории русского языка сопровождалось «разрушением старой временной системы» [1], изменениями в системе наклонений, в системе сказуемых и т. д. Можно предположить, что виды в эволюции русского языка оказались той архимедовой «точкой опоры», которая «перевернула» всю его глагольную систему, вызвала цепную реакцию взаимосвязанных морфологических и синтаксических процессов, привела эту систему к качественно новому состоянию, отличающему ее не только от древнерусского состояния, но и, во многих отношениях, от состояния глагольной системы ряда европейских языков (французского, немецкого и английского). Даже при наличии определенных видовых оппозиций в упомянутых языках (виды английского глагола, тенденция к оформлению предельного действия у немецкого глагола) можно утверждать, что виды в русском языке являются категорией, получившей максимальное — для данного этапа эволюции перечисленных языков — формальное и смысловое обобщение: видовые оттенки, рассредоточенные в других языках между временами глагола, лексическим значением отдельных глаголов, типом сказуемого, обстоятельственными словами и контекстом вообще, оказались в русском языке собранными воедино, сосредоточенными в одной категории.

Представим суммарно конкретные изменения в глагольной системе русского языка, завершавшиеся параллельно с оформлением видов.

(1) Максимально для современного этапа языкового развития сократилось число глагольных времен, в том числе сложных. Исчезли давнопрошедшее время (плюсквамперфект), аорист (простой перфект), имперфект, настоящее и прошедшее времена сослагательного наклонения (в большинстве случаев функционирующие в упомянутых трех европейских языках). Одновременно получило оформление абсолютное прошедшее время и связанное с ним по образованию атемпоральное сослагательное наклонение. В других языках лишь в современную эпоху обозначились или намечаются тенденции (в основном, в устной речи) к сокращению числа времен, их обобщению. Общепризнано наличие прямой связи между оформлением видов и преобразованием времен: виды вобрали в себя многие оттенки исчезнувших времен. Процесс «перегонки» смысловых значений из временной системы в видовую по всей видимости еще не получил завершения: в современном русском языке еще можно вскрыть затушеванные эволюцией сложные взаимоотношения между временами и видами.

(2) Исчезли спрягаемые формы повелительного наклонения (соотносимые по выражавшимся ими оттенкам с функционирующим в упомянутых трех языках конъюнктивом или сюбжонктивом). Исчез супин (достигательное наклонение).

(3) Произошло фронтальное сокращение спрягаемых глагольных форм. Глагол перестал спрягаться в прошедшем времени (в связи с исчезновением спрягавшегося вспомогательного глагола в составе бывшего древнерусского перфекта), а вследствие этого — и в сослагательном наклонении. В результате русский язык «освободился» от огромного числа окончаний. Фактически всю глагольную систему в русском языке «обслуживают» ныне всего два типа спряжения: две парадигмы используются и для настоящего времени, и для будущего простого (эти времена различа-

ются не спряжением, а видами), а парадигма I спряжения используется и для вспомогательного глагола *быть* в будущем сложном времени (единственном сложном времени русского глагола). К этому следует добавить почти полный охват всех глаголов двумя типами спряжения; исключения (разноспрягаемые глаголы или глаголы особого спряжения) в русском языке составляют единицы (ср. со списками глаголов архаического спряжения в других языках). Следует отметить также, что в устной речи — в связи с преобладанием безударных окончаний — эти два спряжения сводятся, в сущности, к одному типу (*чита́ешь — стро́ишь, чита́ют — стро́ят*), а глаголы с различающимися на слух (ударными) окончаниями уже могут быть отнесены к группе исключений. Такого рода унификация спряжения в устной речи наблюдается и во французском языке. В отношении упрощения спряжения лишь английский язык с его почти неспрягаемым глаголом опередил русский в своей эволюции (что скорее всего объясняется воздействием факторов, вызвавших коренное преобразование именной системы этого языка, чем развитием видовой системы, которое кажется замедленным, если учесть сосуществующую одновременно с видами в этом языке разветвленную систему времен). Нельзя не отметить также упрощения спряжения возвратного глагола в русском языке, вернее, упразднения склонения возвратного местоимения, превратившегося в неизменяемую глагольную частицу, или же отсутствия каких-либо различий в глагольных формах с отрицанием и без него.

(4) Произошло упрощение и упорядочение системы сказуемых. Появилось большое число семантически емких однословных сказуемых: а) за счет видов (*Я* ***давал*** *ему книгу*; *Гостей* ***встречали*** *представители различных организаций*; *Окно уже* ***открывали***; *Он* ***приходил*** *к нам*; *Я* ***уезжал***; *Он* ***умирал***); б) за счет исчезновения спрягаемых форм настоящего времени глагола-связки *быть* (*Алюминий —* ***металл***; *Она* ***хороша***; *Дом* ***построен*** *в XVII в.*; *Волга* ***длиннее*** *Днепра*; *Нас* ***трое***; *Ее* ***нет***; ***Установлено***, *что...*); в) за счет инфинитива, развивающего способность заменять спрягаемые формы и сложные сказуемые (*Мне* ***начинать?***; *Что* ***делать?***; *Как* ***объяснить*** *это?*; *Если* ***применить...***; ***Молчать!***; ***Поехать*** *бы в горы!*; *Этой книги уже не* ***найти***) и др. В большинстве случаев в сопоставляемых с русским трех языках эти сказуемые нельзя передать с той же экономией языковых средств. Из способов выражения сказуемого было исключено деепричастие; вообще произошло четкое разграничение синтаксических функций деепричастий и причастий (ср., например, с герундием английского языка).

Если в сокращении числа времен и наклонений или в падении роли флективности в глагольной системе нетрудно усмотреть связь с развитием видов, то различные синтаксические явления требуют тщательного выявления обусловивших их факторов или комбинации последних. К сожалению, вопрос об исторической взаимосвязанности морфологических и синтаксических процессов в русском языке недостаточно проанализирован. Пока что трудно объяснить, чем вызваны те или иные синтаксические построения — состоянием глагольной или именной систем языка (ср., например, сохранение и развитие в русском языке большого разнообразия сжатых бесподлежащих предложений). Кстати, переводческая практика говорит о наличии разительного сходства в синтаксических построениях даже у неродственных языков, утративших флективность в именной системе.

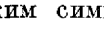
Перечисленные выше изменения свидетельствуют о том, что виды в истории русского языка явились прогрессивной языковой категорией: на смену громоздкой древнерусской глагольной системе приходит новая система, основным показателем которой становится наличие двух видов у каждого глагола, система функционально и семантически емкая, потребовавшая возникновения экономных (однословных) и простых (с точки зрения флективности) форм. Причем в результате перехода древнерусской глагольной системы в современную двувидовую была достигнута не только экономия грамматических средств, не только более высокая степень обобщенности в подходе к глагольному действию, но прежде всего

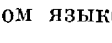
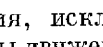
открылись широкие выразительные возможности самого глагола — так называемые «частные реализации видового потенциала» [2]. Так, используя видовые различия, в русском языке можно немногословно, лишь через глагол, без поддержки его обстоятельственными словами, выразить большое число смысловых оппозиций: действие вообще (совершаемое всегда, обычно) и действие конкретное; действие, обозначающее вид занятия, и действие, обозначающее достижение определенной цели; действие в его развертывании и действие в его результате; действие-приказ и действие-просьбу; действие, обязывающее и не обязывающее говорящего к выполнению, и т. п. Виды привносят в речь оттенки вежливости и резкости, привносят даже юмор. В любом случае эта категория страноведчески своеобразна, колоритна (отметим мимоходом, что это редко учитывается составителями учебников для иностранцев, увлекающимися сугубо формальной подачей этой категории).

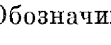
Как же смог произойти в языке этот сдвиг? Каким образом стала возможной эта своего рода «performance»? Какие условия способствовали развитию видов? В качестве одного из таких «условий» исследователи обычно приводят опыт имперфектного и перфектного использования времен (в котором уже наличествовала видовая оппозиция). Однако, на наш взгляд, первым шагом к новой, двувидовой, концепции глагольного действия было «осознание» наличия видового оттенка почти у каждого глагола.

При зарождении двувидовой системы отправной точкой служило то состояние, в котором примерно пребывают современные безвидовые языки, а в этих языках (в частности, романских) исследователями отмечается наличие аспектуального оттенка у большинства глаголов (в особенности оттенка длительности действия). Глаголы в безвидовых языках скорее можно назвать не безвидовыми, а одновидовыми. Таким образом, в большинстве глаголов уже был заложен вид, но лишь один, определяемый природой действия.

С точки зрения русских видовых оттенков одновидовые глаголы современных безвидовых языков (как показывает материал румынского) делятся на три группы, совпадающие с тремя категориями оттенков, выделяемых у видов русского глагола. Самую многочисленную из них составляют глаголы «несовершенного вида» (НВ) — дуративные, обозначающие длительные по своей природе действия (эквиваленты современных русских глаголов *говорить*, *спать*, *молчать*, *жить*, *думать* и т. п.).

Обозначим выражаемое ими действие графическим символом  .

Этим дуративным, процессуальным глаголам противостоит небольшая группа глаголов «совершенного вида» (СВ), обозначающих «короткие» по своей природе действия, т. е. быстрые, выполняемые с помощью одного движения, например, взмаха руки (ср. в русском языке глаголы *ударить*, *нажать*, *уронить* и т. п.). Обозначим их  . В особую, третью группу, выделяются глаголы СВ, заключающие в себе значение обязательной результативности (целостности) действия, исключающие делимость действия во времени (к ним относятся глаголы движения, возникновения — исчезновения и др.). Действие глаголов этой группы невозможно выполнить частично, как, например, действие глаголов первой группы (нельзя не до конца «уехать» или «умереть»). Обозначим их  или

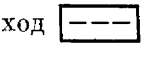
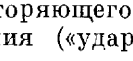
 .

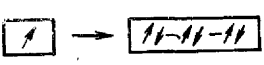
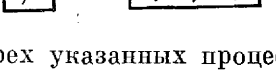
Кроме того, в безвидовых (а, точнее, одновидовых) языках наличествуют глаголы, природа действия которых не поддается однозначному (одновидовому) толкованию. Это прежде всего глаголы, обозначающие не конкретно-осязательные, а более «абстрактные» действия и состояния (ср. в русском глагол *относиться*). Можно предположить, что видовой транс-

формации подверглись в первую очередь глаголы более конкретного действия (которые в далеком прошлом наверняка преобладали); глаголы же более абстрактного характера (создаваемые языком по мере накопления человеком опыта познания природы, самого себя, различных взаимосвязей, предполагающих уже философский подход к действительности) оформлялись в видовом отношении намного позднее. Примечательно, что в русском языке глаголы, не получившие двувидового оформления (типа *зависеть*, *принадлежать*), не только обозначают более абстрактные действия (состояния), но и позволяют двувидовое истолкование (зависимость, например в глаголе *зависеть*, может быть длительной и короткой, полной и неполной), т. е. в языке еще в период зарождения двувидовой системы уже, возможно, имелись отдельные образцы глаголов, совмещавших в себе оба вида.

Итак, предположим, что в период зарождения двувидовой системы глагольного действия основную массу глаголов составляли одновидовые глаголы. При этом каждый глагол воспринимался только в одном качестве (виде), диктуемом природой действия. Вид глагола, у которого ощущалась двоякая природа действия, уточнялся в контексте. И такое восприятие, основанное на природе действия, казалось (и кажется в современных безвидовых языках) совершенно естественным. Двувидовость глагола потребовала внешне «неестественного», даже «нелогичного»: длительные по природе действия оказались одновременно и короткими, короткие — длительными, а целостные, результативные — процессуальными, «безрезультатными». По-видимому, это как раз логический тупик, в который попадает сознание изучающего русский язык учащегося с родным безвидовым (одновидовым) языком.

Как известно, кажущееся логически невозможным новое восприятие глагольного действия оказалось возможным благодаря нескольким произошедшим в языке процессам. И именно в этих процессах мы усматриваем «performance» языкового мышления, сопоставимую в определенном смысле с теорией Эйнштейна, преодолевшей механистическое толкование природы Ньютоном (при одном лишь отличии, что подобную «революцию» в языке осуществило не индивидуальное мышление одного ученого, а коллективное мышление народа, пользующегося одним и тем же языком и развивающего, шлифующего этот язык).

При «укорочении» действия процессуальных (дуративных) глаголов первой группы происходило прежде всего ограничение действия во времени, по всей вероятности, с помощью приставки *по-*, затем подобную же функцию, видимо, стали выполнять и другие приставки (в частности, *про-*), придававшие глаголам дополнительные семантические оттенки — быстроты и завершенности действия. Обозначим графически этот переход  . В этом случае видовая пара образовывалась в направлении от НВ к СВ. «Продление» короткого по природе действия глаголов второй группы строилось на основе неограниченного повторения одного и того же движения (от *ударить* к *ударять*, от СВ к НВ); при этом исходному глаголу СВ (по природе «точечному», т. е. содержащему в себе возможность повторяющегося действия) не «позволялось» отныне более одного движения («удара»). Графически этот переход можно представить в виде  . Наконец, значение «безрезультативности» результативных, целостных глаголов возникало за счет «продления» действия путем его повторения, но каждый раз совершаемого «туда и обратно», т. е. новообразованные глаголы должны были сочетать в себе два противоположных по направлению действия (*уезжать* = *уехать* + *приехать*; *давать* = *дать* + *взять* и т. д.), в результате чего действие оказывалось невыполняемым, «недействительным» в момент речи. И в этом случае переход происходил от СВ к

НВ (от *ехать* к *уезжать*). Графически этот переход можно представить в виде  или  . Лишь действием трех указанных процессов можно объяснить преобладание того или иного оттенка в видовых парах современного русского языка. В непонимании этих трех процессов и их результатов и коренятся, на наш взгляд, основные ошибки учащихся-иностранцев: «мысля» глаголами родного языка, они не ждут «подвоха» (непривычного эффекта) от соответствующих глаголов в русском языке — того, что длительные действия могут производить эффект быстро выполненного действия, короткие, «точечные» — бесконечно повторяющегося действия, а результативные — и повторяющегося и «не действительного» к моменту речи.

Эволюцию глагольной системы языка нельзя рассматривать, на наш взгляд, вне эволюции именной системы, во избежание одностороннего представления о языке в целом и неправомерного противопоставления языков. На преобразование глагольной системы в русском языке потребовалось несколько столетий, примерно столько, сколько понадобилось указанным европейским языкам на преобразование именной системы [3]. И если в отношении глагольной системы современное состояние английского, французского и немецкого языков является для русского языка давно пройденным этапом (за исключением феномена английского глагола — его неспрягаемости), то в отношении именной системы русский язык в своей эволюции проявил такой же «консерватизм», как данные языки в области глагола, сохранив до настоящего времени давно изжитые этими языками формы (максимально для данного этапа — английским, не совсем полностью — французским, неполно — немецким). Известно, что на протяжении эволюции обе системы во всех четырех рассматриваемых нами языках подвергались изменениям, «прорыв» же (качественный «скачок») в эволюции оказался возможным лишь в одной системе: в русском языке — в глагольной, в других языках — в именной. Остается открытым вопрос: почему в русском языке наиболее «податливой» оказалась глагольная система? Или: почему именная система русского языка так упорно «сопротивляется» радикальной трансформации (упразднению склонений?).

Факторы, способствовавшие разрушению системы склонений в других языках, известны. В отношении английского языка этими факторами явились: сокращение состава слова — переход к одночастной структуре слова, который осуществлялся за счет изменения долготы — краткости гласных; развитие артиклей, взявших на себя функции бывших именных окончаний; развитие предложно-именных конструкций, в которых предлоги не дублируют, а полностью берут на себя синтаксические функции окончаний; закрепление прямого порядка слов, требующего обязательного присутствия в предложении подлежащего (что вызвало появление формального подлежащего в безличных конструкциях). Можно отметить также развитие вводных слов и частотности их употребления (компенсирующих утраченные вместе с окончаниями четкие связи между предложениями — их «нанизывание», как в русском языке): определенное построение сложного предложения, когда даже пунктуация в письменной речи получает дополнительную связеразличающую функцию. Именно взаимодействие всех этих факторов привело к качественно новому состоянию именной системы в данных языках.

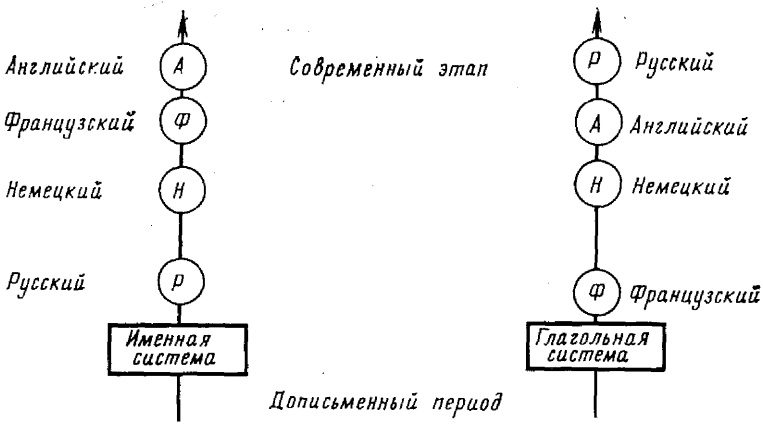
«Тормозом» изменения именной системы в русском языке была и остается, по всей видимости, четырехчастная структура слова: она не «позволила» развиться появившимся было в языке артиклям, подобным артиклям болгарского языка, и она же послужила формальной основой для создания видовых пар (за счет префиксов, суффиксов и т. д.). «Пристрастие» к четырехчастной структуре слова или отказ от нее можно объяснить, вероятно, вслед за С. Аверинцевым [4], различными культурными традициями, в частности, эллинистическим (через византийскую культуру) или латинским влиянием с их неодинаковыми тенденциями — к услож-

ненному слову (эллинистическая тенденция) и «рационально» упрощенному слову (латинская тенденция).

В настоящее время исследователями русского языка отмечается усиление отдельных тенденций к разрушению его системы склонений [5]. Помимо приводимых ими факторов, отметим еще один, представляющийся нам наиболее симптоматичным: возрастающее значение ударения в словах; разделение слов, в особенности «длинных», надвое ударением, позволяющим провести произносительную границу в конце смысловой и начале формальной части слова (*увеличи́-тельный*, *истори́-ческий*, *вспомога́тельный*, *применя́-ющийся*); участившийся разнобой ударения в словах с тенденцией к закреплению ударения в неустойчивых случаях на значимой (корневой) части слова; перенос ударения в заимствованных словах с окончания на значимую часть слова; усиление ударения в речи молодых поколений, порой «режущее слух»,— все это говорит о том, что в языке на данном историческом этапе происходит постепенный процесс отделения формальной части слова, ставшей «обременительной», от его значимой части. Пока что сокращение слова хотя бы на одну часть (окончания) задерживается наличием относительно небольшого количества слов с ударными окончаниями; стоит произойти перемещению ударения на один слог, с финального на предфинальный,— в языке будут созданы фонетические условия для фронтальной редукции окончаний в именной системе (по крайней мере, в устной речи), что поможет, в свою очередь, и глагольной системе освободиться от последних окончаний. Кроме ударения, к числу тенденций, говорящих о том, что несклоняемость слов стала для русского языка «назревшей проблемой», следует отнести, на наш взгляд, участившееся употребление слов *этот*, *тот*, *такой*, *один*, *какой-либо*, *какой-нибудь* в той роли, в которой в других языках выступают определенные и неопределенные артикли. Немаловажную роль, с нашей точки зрения, сыграют в процессе освобождения от окончаний устанавливающиеся в настоящее время нормы научного стиля, все более проникающего в общелитературную речь: закрепление определенного порядка слов в словосочетаниях и в предложениях — постпозиция прилагательного (ср. заголовок технической инструкции: «Осциллограф светолучевой»), построение предложения по схеме «от темы к реме» (последняя тенденция является преобладающей в научном стиле международных языков). И, наконец, следует обратить внимание на намечающуюся тенденцию к постановке склоняемого слова в такое положение в предложении, при котором оно может выступить в своей начальной форме, что уже становится почти нормой при передаче, например, иностранных собственных имен, статистических данных, при перечислении, следующем после двоеточия, и т. д.

Наличие большого сходства в проявлении определенных тенденций при преобразовании глагольной или именной систем четырех сопоставляемых нами языков позволяет предположить, что грамматика данных языков следует в целом единой для всех четырех языков эволюции. Учитывая новые исторические условия, можно также предположить, что выравнивание состояния именной и глагольной систем этих языков произойдет гораздо быстрее, чем происходили подобные «performance» в прошлом.

Наглядное представление о переходном периоде, в котором пребывают в настоящее время сопоставляемые нами четыре языка, может дать приводимая ниже схема. Место каждого языка в эволюции именной системы определяется нами на основе трех критериев: степени уничтожения флективности (склоняемости), деграмматизации (несклоняемости) артиклей, переосмысления древнего грамматического рода. Место каждого языка в эволюции глагольной системы определяется также на основе трех критериев: степени развития видовой системы, степени упрощения системы времен, наклонений, сказуемых, степени уничтожения флективности (спрягаемости). По этой схеме можно приблизительно определить место и любого другого языка, не рассматриваемого нами в данной статье (так, болгарский язык в своей эволюции обеих систем близок английскому, румынский — французскому и т. д.). Имеющиеся между языками разрывы в эволюции помогают определить



степень трудности освоения грамматики одного из языков носителями другого языка. Так, наибольшая дистанция наблюдается между русским и французским языками, наименьшая — между русским и немецким языками. Наименьшие «крайности» в развитии обеих систем характеризуют немецкий язык. Наибольшие «крайности» в развитии одной из систем отличают русский и английский языки.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965, с. 292 и сл.
2. *Бондарко А. В.* Вид и время русского глагола. М., 1971.
3. *Иванова И. П., Чахоян Л. П.* История английского языка. М., 1976, с. 66, 74, 79, 108, 180.
4. *Аверинцев С.* Славянское слово и традиция эллинизма.— Вопросы литературы, 1976, № 11.
5. *Акимова Г. Н.* Новые явления в грамматическом строе современного русского языка.— ВЯ, 1980, № 5.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1984

ЧЕРНЫШЕВА М. И.

ЭКВИВАЛЕНТЫ, ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИ В ПЕРВЫХ СЛАВЯНО-РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ С ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Интерес к вынесенной в заголовок проблеме важен, во-первых, с точки зрения выявления места заимствований и калек в общей системе иноязычных элементов в переводе; во-вторых, определение взаимосвязей эквивалентов, заимствований и калек поможет объяснить такое интересное явление, отмечаемое исследователями славяно-русских переводов с греческого языка, как взаимозаменяемость этих трех феноменов.

Заимствования и кальки возникают в одном языке под влиянием другого языка, с которым он контактирует. Этот бесспорный факт вызвал представление о том, что кальки являются видом заимствований, или, по другой терминологии, видом «иноязычных элементов». Так, Я. К. Грот в своих «Филологических разысканиях» расчленил виды заимствований следующим образом: 1) усвоение чужих слов без всякого изменения (кроме окончаний — по законам языка); 2) переделка слова по-своему, т. е. по фонетическим и морфологическим правилам заимствующего языка; 3) перевод слова, составленного по чужому образцу [1]. В разряд «иноязычных элементов» вводит кальки и Э. Рихтер. Ее классификация «иноязычных элементов» такова: 1) заимствование чужой формы и чужого значения; 2) заимствование чужой формы для выражения своего значения; 3) заимствование чужого значения в родной форме [2]. Использование у Э. Рихтер двух показателей характеристики «иноязычных элементов» — форма и значение — оказалось полезным для определения разницы между кальками и заимствованиями. Б. Унбегаун разграничивает кальки и заимствования таким образом: заимствование — это перенос формы звуковой и формы значащей; в кальке заимствовано значение, внешняя же форма принадлежит заимствующему языку. Б. Унбегаун дает следующее определение кальки: «Калька есть заимствование внутренней формы» [3, с. 19].

Традиционно заимствования и кальки изучаются как самостоятельные явления — им посвящено большое число исследований. Предлагались самые разнообразные классификации калек (см. цитированную работу Б. Унбегауна [3], монографию К. Шумана [4]; в специальной статье Н. Мольнар делает попытку создать универсальную терминологию, в которой учитываются все типы калек [5]). Итогом наблюдений над природой калек явилась книга Л. П. Ефремова [6].

Среди работ, посвященных анализу калек, неожиданно мало таких, в которых бы разрабатывались проблемы семантических калек в славяно-русских переводах с греческого языка. Их природа и функционирование, видимо, несколько иные, отличные от качеств семантических калек, возникающих в современном состоянии языка (об отдельных явлениях, характерных для семантических калек, появившихся в сербохорватском языке под влиянием греческого языка, см. [7, 8]). На русском языке нам известна статья М. М. Копыленко, где рассматриваются семантические кальки в первых славяно-русских переводах, дошедшие до современного русского языка [9]. Однако до сих пор не обоснованы причины появления семантических калек в языке славяно-русских переводов, не выявлены признаки их вычленения, не объяснено отличие семантических калек от эквивалентов, с одной стороны, и от неадекватных переводов, с другой. И главное — не определена языковая природа этого феномена. Таким образом, проблема семантических калек в славяно-русских переводах оста-

ется теоретически не разработанной. Можно признавать или не признавать существование в языке отдельных, интуитивно выделенных семантических калек, однако науке нужны надежные критерии их определения. Вплотную подходит к этим вопросам Е. М. Верещагин. Он разбирает четыре приема: транспозицию — «перенесение лексической единицы из всеобщего языка в групповой» (например, «переведение обиходного, вполне повседневного слова *слово* в разряд терминов, перенесение на него... особого комплекса сведений и ассоциаций» [речь идет о связи с семантикой греческого λόγος.— *Ч. М.*]) [10, с. 107]; заимствование; калькирование; и, наконец, ментализацию. Автор пишет: «Сущность приема осмысления, или ментализации, заключается в следующем. Если переводчик, прибегающий к трем известным приемам, работает исключительно на уровне лексических понятий, то ментализация — это переход с понятийного на более сложный и разветвленный фоновый уровень, перевод не исходного слова-термина, а какой-либо семантической доли из его смыслового объема» [10, с. 111]. Исследователь обращается, безусловно, к самой сути семантических калек — то, что названо транспозицией и ментализацией, является двумя сторонами одного явления. Заметим при этом, что Е. М. Верещагин ни разу не использовал само понятие «семантические кальки». Наблюдения, приведенные в статье, и само появление работы такого рода еще раз свидетельствует о необходимости теоретического осмысления этого языкового феномена.

Обратим внимание на тот факт, что исследователи переводных славянорусских памятников так или иначе сравнивают между собой заимствования и кальки. Видимо, это не случайно. Между ними существует и некое родство, и взаимосвязи во внутренней природе. Важно понять картину взаимоотношений заимствований и калек, с одной стороны, между собой и их контакты с эквивалентами, с другой. Тогда только можно обратиться к вопросу об их поведении в переводном тексте и, в частности, к проблеме лексического варьирования. Речь идет о следующей разновидности лексического варьирования: о функционировании в переводе на равных правах заимствований (по другой терминологии, грецизмов) и славянских слов, сходных с ними по семантике. Об этом явлении В. Ф. Дубровина, исследовавшая заимствованную лексику в «Синайском патерике», писала: «Употребление грецизма и перевода могло быть вызвано разными причинами: принадлежностью отдельных частей памятника разным переводчикам, инициативой русских переписчиков в переводе встретившихся грецизмов, желанием внести разнообразие в язык памятника и т. д.» [11, с. 58]. Иначе трактует вопрос Е. М. Верещагин, анализируя особенности переводов Кирилла и Мефодия: «Лексическое варьирование — это свойство переводческой техники первоучителей славян». Это варьирование автор объясняет не внешней (редактирование текста и переписки с модификациями), а внутренней характеристикой текста. «Оно... возникло... одновременно с созданием первоначального перевода» [12]. Такая противоречивая трактовка вопроса двумя исследователями побуждает путем анализа взаимосвязей эквивалентов, заимствований и калек попытаться определить внутриязыковые возможности взаимозаменяемости интересующих нас феноменов в переводе.

Характеризуя эти явления, опираемся на две характеристики любой лексемы (т. е. лексемы оригинальных и переводных памятников): внешняя форма (звуковой облик) и внутренняя форма (семантические данные). Однако поскольку в данном случае мы имеем дело с переводными памятниками, то следует также учитывать еще один важный показатель — способ семантического наполнения внутренней формы лексемы переводящего языка. Можно указать на два таких способа: перевод (т. е. подбор лексемы с нужной семой в переводящем языке) и перенос семантики слова исходного языка. Необходимо принимать во внимание также и генетический признак, характеризующий условия появления того или иного феномена в переводе.

Эквиваленты в переводе имеют внешнюю форму переводящего языка, их существование возможно на основе общности или близости семантики

лексемы исходного языка и лексемы переводящего языка, т. е. внутренние формы лексемы исходного языка и лексемы переводящего языка характеризуются единой семантической наполненностью, в то время как внешние формы — разные. Удобнее всего иллюстрировать подбор эквивалентов на лексическом уровне, труднее — на любом другом. Ниже приводятся два примера, в которых более или менее точно наличествуют описанные признаки эквивалентов (о некоторых синтаксических сдвигах здесь не говорим — речь идет, главным образом, о совпадении семантики исходных и переводящих слов): ὅτι δὲ ψυχῆς νόσημά ἐστι τὸ κακῶς καὶ περιέργως ζητεῖν περὶ θεοῦ, καὶ μάλιστα μετὰ ἀπιστίας, πᾶσι φανερόν — а яко[1] же душьныи недугъ есть, еже зълѣ и облишиемь пытати о бзѣ, паче же безвѣриемь (Изб. Св. 1073 г.[1], л. 4; безмѣриемь), вьсѣмъ е‹сть› явѣ. Изб. Св. 1073 г.[2], с. 1; ὁ δὲ Ἀδὰμ ἐγέννησεν υἱοὺς τρεῖς καὶ θυγατέρας δύο, τὸν Κάϊν καὶ τὸν Ἄβελ καὶ τὸν Σὴθ καὶ τὴν Ἀζούραν καὶ τὴν Ἀσουάμ...ὁ μὲν Κάϊν ἔλαβε γυναῖκα τὴν πρώτην ἀδελφὴν αὐτοῦ Ἀζούραν, ὁ δὲ Σὴθ τὴν δευτέραν Ἀσουάμ Georg. Hamart., с. 6 — Адамъ роди сыны·г·, а дщьри двѣ, Каина, Авеля и Сифа и Азуру и Асуаму... Каинъ поятъ женѣ свою сестру ·а··ю Азуру, Сифъ же·в··ю Асуаму. Хрон. Г. Амарт., с. 31.

Следует добавить, что эквиваленты могут иметь сложную морфологическую структуру, не копируя строение исходного слова. Таким образом, внешняя форма словообразовательных эквивалентов (условно назовем их так) в ряде случаев может совпадать с внешней формой словообразовательных калек (ниже о них будет сказано подробнее), хотя сами они будут отличаться друг от друга по условиям возникновения, т. е. по генетическому признаку. Многочисленны примеры словообразовательных эквивалентов в переводных памятниках. Укажем немногие. Например, в Хрон. И. Малалы: περιστερά Mal., с. 106 — *бголюбица* V с. 13; καταγύναιος с. 104 — *любодѣивъ* V с. 11; τελεία с. 106 — *добролѣпа* V с. 12; φελλός с. 258 — *нѣморѣчивъ* X с. 25 и др. В Ефр. Корм. Л. В. Вялкина насчитала 34 двукоренных эквивалента, соответствующих однокоренным греческим словам: «ἀδελφότης — *братолюбие*; ἅγιος, ἀποκάλυπτος — *богословьць*; ἁγία — *благовѣщение*; χρηστεύομαι — *благовѣствовати*; ἀγαθότης, χάρις — *благодать, благодѣть*; γενικός — *благородьный*; ἀρετή — *добродѣтель*; δίς — *дъвократъ*» и т. д. [14, с. 108].

В заимствованиях сохраняется внешняя форма исходного языка (о морфологической адаптации здесь не говорим), их семантическая зависимость выражается в переносе семантики лексемы исходного языка в переводящий язык. Таким образом, заимствование отличается от эквивалента по двум показателям — т. е. это явление абсолютно иное.

Прежде чем перейти к определению взаимосвязей калек с заимствованиями и эквивалентами, следует, хотя бы в общих чертах, расчленить кальки. Можно выделить два типа калек: структурный и семантический. Структурные кальки представляют собой воспроизведение морфологической решетки исходных слов. В данной работе разбираем только один вид структурных калек — словообразовательные кальки. Что касается семантических калек, то на данном уровне разработки проблемы можно лишь отметить существование одноразовых семантических калек, т. е. встретившихся однократно в каком-либо переводном произведении (это, так сказать, семантические кальки-гапаксы), и семантических калек, воспринятых языком (именно о них идет речь в упомянутой выше работе М. М. Копыленко, поскольку автор имеет в виду перспективную связь с современным русским языком).

Семантические кальки по своей внешней форме принадлежат переводящему языку, во внутренней же форме произошел перенос семантики лексемы исходного языка в язык переводящий. Таким образом, по внешней форме семантические кальки родственны эквиваленту — именно поэтому так трудно отличить в переводе семантическую кальку от эквивалента,

[1] Здесь и далее упрощаем графику по правилам, принятым в «Слова е русского языка XI—XVII вв.» (СлРЯ XI—XVII вв.) [13, вып. 1, с. 15].

[2] При ссылке на Хрон. И. Малалы римской цифрой указываем номер книги.

и выявление каждой семантической кальки представляет собой серьезную филологическую работу; по способу семантического наполнения внутренней формы семантические кальки родственны заимствованиям — на этом-то основании некоторые исследователи считают семантические кальки разновидностью заимствований.

Ниже приводятся два образца семантических калек в переводных текстах. Πάντα δουλεύοντα πρὸς γυμνασίαν τοῦ λογικοῦ Cosm. Ind., стлб. 153 — четвероногиа чстыа на пищу и на одежду, а скотъ на работу и на упокои, а звѣри на красоту и въ страхъ, гад же такожде работаа всему обножению словеснаго, и потребьное имуща чловка ради Козма Инд., с. 47. Семантика слова *обнажение* (здесь: *обножение*) по данным картотеки СлРЯ XI—XVII вв. такова: «оголение», «нагота», «лишение чего-либо»; у Срезневского «оголение», «лишение» (Срезн., т. II, стбл. 564), в SJS: «обнажение, нагота»; fig. solitudo (вып. 22, с. 480). Однако здесь, как показывает общий смысл отрывка, реализовано вторичное значение исходного греческого слова γυμνασία «умственные упражнения» или, может быть, «опыт, практика», ср.— первоначально γυμνασία означало «упражнения обнаженных борцов и атлетов». Такая семантика отмечена в словаре Лидделл — Скотта (т. I, с. 362), данные Софоклеса (с. 341) не противоречат материалам Лидделл — Скотта. Таким образом, следует признать, что в данном контексте в слово *обнажение* привносится значение исходной греческой лексемы, и — в результате — появляется семантическая калька. Другой пример. В Хрон. И. Малалы, писателя VI в., разбирается архаическое понимание происхождения мира: ... ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἀνεδείχθη τῷ χρόνῳ ὁ αἰθὴρ ἀπὸ τοῦ θεοῦ δημιουργηθείς, καὶ ἐντεῦθεν κἀκεῖθεν τοῦ αἰθέρος ἦν χάος, καὶ νὺξ ζοφερὰ πάντα κατεῖχε καὶ ἐκάλυπτε τὰ ὑπὸ τὸν αἰθέρα Mal., с. 74 — суть же, яже списа Орфеусъ си: яко ж⟨е⟩ испрьва быс⟨ть⟩ от бга сътворенъ въздухъ лѣту и потомъ подъ въздухомъ бѣ пропасть, нощь темна все одръжащи и покрывающи яже бяху под воздухомъ IV с. 357. Рассмотрим семантику слова *пропасть*, которое соответствует греческому χάος. По данным картотеки СлРЯ XI—XVII вв., значения исследуемой лексемы таковы: «глубокая яма, рытвина, провал»; «ущелье, пропасть»; «гибель, могила». У Срезн.: «яма, овраг (?)»; «ущелье, горная расселина»; «пропасть»; «бездна, глубина»; «гибель» (т. II, стлб. 1554—1555). В SJS: «расселина, яма» — ὀπή, τρώγλη; «пропасть», бездна» — χάσμα, σχισμή (вып. 30, с. 362). Сравним эти данные с семантикой слова χάος. В словаре Лидделл — Скотта χάος — «первичное состояние мира»; «воздушное пространство»; «бесконечный мрак»; «бездонная пропасть, бездна» (т. II, с. 1976). Таким образом, оказывается, что первое, специальное, значение слова χάος перенесено на славянское *пропасть*, которое становится вследствие этого семантической калькой. Интересно, что в латинском переводе «Хроники» к исходному греческому слову не подыскивался латинский эквивалент, что свидетельствует о стремлении выделить его специфику: Aeterem autem Chaos undique cinxisse Mal., с. 74.

Внешняя форма словообразовательных калек принадлежит переводящему языку: «из исконного языкового материала создается слово,... воспроизводящее строение иноязычного образца» [15], однако при этом не происходит (специально подчеркиваем это!) переноса смысловой наполненности каждой морфемы, входящей в состав сложного слова, или результата их сложения в исходной лексеме во вновь созданное слово в переводе, поскольку в словообразовательной кальке для получения сходного смысла играют роль сочетания морфологических элементов переводящего языка, иными словами, чтобы понять словообразовательную кальку, не нужен оригинал — смысл слова возникает в результате сложения морфем и их оформления по правилам переводящего языка. По словам Б. Унбегауна, сложные слова всегда ощутимо представляют внутреннюю форму [3, с. 22]. Вспомним также в связи с этим важное высказывание Л. А. Булаховского о самостоятельной значимой роли сочетания морфологических элементов в языке: «Если оставить в стороне переносное словоупотребление, одинаково невозможное вне контекста во всех языках во-

обще, то нужно заметить, что, хотя любой язык... в принадлежащих его словам значениях сильнейшим образом зависит от контекстов, живых сочетаний слов,— языки отличаются друг от друга по степени значения для понимания изолированных слов... Чем богаче языки морфологически, тем большую, хотя и относительную, независимость проявляют принадлежащие к ним слова» [16, с. 30]. Как доказательство этого положения заметим, что не меняет семантики словообразовательных калек встречающаяся (хотя и редко) мена мест компонентов в словах такого типа: φιλαδελφίας — *братолюбие* Изб. Св. 1076 г., с. 465 и τὸ φιλάδελφον Greg. Naz., стлб. 724 — *любобратие* Гр. Наз., с. 175; *властолюбие* (встретилось только в памятнике XVI в.) [13, вып. 2, с. 221], у Срезн. т. I, стлб. 273 зафиксировано слово того же состава *властолюбьць* из Ефр. Корм.— ср. в Панд. Ант. (Амф.) φιλαρχίας — *любовластие* (с. 63).

Примеры словообразовательных калек можно привести из статьи Л. В. Вядкиной, посвященной анализу сложных слов в «Ефремовской кормчей»: «*баснословие* — μυθολογία (μῦθος «слово, миф», λόγος «слово»); *златоустыи* — χρυσόστομος (χρυσός «золото», στόμα «рот, уста»); *новопросвѣщеныи* — νεοφωτίστος (νέος «новый», φωτίζω «освещать», «открывать») и др. [14, с. 108]. Значение словообразовательных калек в чистом виде вполне определимо вне контекста. Таким образом, словообразовательные кальки очень близки к словообразовательным эквивалентам, единственное, однако немаловажное, отличие их друг от друга заключается в разности происхождения (генетический признак): если эквиваленты становятся собственно эквивалентами только в переводе с другого языка, существуя в качестве самостоятельной лексемы в языке, то словообразовательные кальки, будучи следствием перевода, являются новообразованиями, возникающими под влиянием исходного языка.

Однако если бы дело обстояло только так, как описано выше, в основном были бы уже ясны взаимосвязи эквивалентов, заимствований и двух типов калек. Но материал переводных памятников оказывается сложнее. Остановимся на отдельных моментах. Так, в переводах встречаются лексемы, по внешней форме представляющие собой либо словообразовательные кальки, либо словообразовательные эквиваленты (т. е. двукорневое или приставочно-суффиксальное образование), однако семантика их без привлечения оригинала остается неясной, что говорит об их внутреннем родстве с семантическими кальками. Следовательно, можно говорить о существовании семантического подтипа словообразовательных калек, если признать ведущим признаком внешнюю форму, или, что абсолютно равнозначно, структурного подтипа семантических калек, если признать ведущим признаком условия наполнения внутренней формы. Назовем их семантическими словообразовательными кальками. Эта разновидность калек обнаруживает единство в диалектически противоположных явлениях — в структурном и семантическом типах. К примеру, в «Космографии» Козьмы Индикоплова встретились такие слова: *образнопишюще* (нѣции бо ветхихъ философъ до конца вселенную разсмотривше и образнопишюще...) Козма Инд., с. 28 —... ἱστοριογραφήσαντες Cosm. Ind. 116 и *образописець* (съ бо Ефоръ бысть образописець, якоже в четвертомъ его писании сиа списавъ повѣда...) Козма Инд., с. 28 — ἱστοριογράφος... Cosm. Ind., 116. Семантика второго компонента исходных и переводящих слов совпадает, что касается первого, то разница очевидна. Приведем значения слова *образъ* из «Материалов» И. И. Срезневского: «вид, образ»; «вид, подобие»; «призрак»; «изображение»; «икона, образ»; «образец, пример»; «знак, символ»; «чин, сан»; «способ, образ»; «форма»; «естество»; «грамматический термин» (Срезн. т. II, стлб. 539—542); по данным картотеки СлРЯ XI—XVII вв.: «вид, образ»; «внешний вид»; «облачение, одежда»; «изображение, изваяние, портрет»; «икона, образ»; «символ, знак»; «вид, форма, род»; «прообраз, образец»; «иллюстративный пример»; «способ, образ»; «образ действий»; «сущность, идея»; «грамматический термин». В SJS: «вид, образ»; «облачение, одежда», «звание», «сословие»; «вид», «форма», «внешний вид, форма», «persona»; «color»;

«изображение, образ, икона, изваяние»; «символ, знак»; «прообраз, образец, пример»; «пример»; «способ, образ»; «нравы, поведение» (вып. 22, с. 484—486). Как видим, памятники письменности не дают оснований говорить о наличии у слова *образъ* значения «история, историческое сочинение», которое выявляется в первом компоненте разбираемых слов. С другой стороны, интересно отметить, что Софоклес фиксирует в своем словаре у ἱστορία значение «picture, painting», т. е. «картина, рисунок» (помимо главного: «historia, history» и производных ἱστοριογραφέω — «to write history»; ἱστοριογράφος — «historiographus, historian» с. 607), что вполне соотносится с возможным славянским переводом *образъ*. Кстати добавим, что в Хрон. Г. Амарт. сходным образом переданы исходные греческие слова того же корня: ἱστορικοί... Georg. Hamart., с. 1 — образници... с. 27; ἱστόρησαν... ἐκ παλαιᾶς ἱστορίας Georg. Hamart., с. 40 — изъобразиша... из ветхаго образъствия с. 51. Видимо, и в том, и в другом памятнике мы имеем дело с семантическими кальками, поскольку происходит переосмысление славянских слов под влиянием семантики исходных греческих лексем; в примерах из «Космографии» Козьмы Индикоплова скопированы внешние формы переводимых слов, что побуждает нас считать *образнопишюще* и *образописець* семантическими словообразовательными кальками. Приведем еще в качестве примера слово *лежахъ*, мн. *лежеси* [в глоссарии Р. Айтцетмюллера *лежахъ* (*-съ*?)] (более поздние варианты *лежяси*, *лежасы*), встретившееся в «Шестодневе» Иоанна Экзарха: Блсвите, море и рѣкы, господа, блсвите, лежеси и вьсе ходещее въ водах Joann. Ex., 255b [3]. Суммируя семантические данные, которые дает морфологическая структура слова и смысловое значение корня, можно привести такое предположительное толкование: «то, что лежит; вообще о чем-либо лежащем». Внешней формой славянская лексема отражает строение исходного греческого слова τὰ κήτη, соотнесенного переводчиком с глаголом κεῖμαι «лежать». Однако семантика славянского слова вполне конкретна и терминологична — *лежахъ* «кит, крупное морское животное». Этот факт побуждает нас признать слово *лежахъ* семантической словообразовательной калькой.

Итак, сравнив интересующие нас феномены между собой, мы замечаем, что внутренняя форма отдельно взятой искомой лексемы в переводящем языке (семантические данные) остается независимой от изменений, происходящих извне: варьируется внешняя форма и условия семантического наполнения. Таким образом, гипотетически можно представить себе некое греческое слово, передающееся в переводе путем подбора: 1) эквивалента, 2) словообразовательного эквивалента, 3) заимствования, 4) семантической кальки, 5) словообразовательной кальки, 6) семантической словообразовательной кальки. Хотим заметить, что картина вариантности в переводах гораздо многообразнее. Всестороннее описание ее еще предстоит науке. Развивая гипотезу, можно предсказать взаимозаменяемость этих феноменов в каком-либо переводе. В действительности же в любом отдельно взятом памятнике такого разнообразия в передаче одного греческого слова не наблюдаем, однако некоторые из описанных видов сосуществуют.

В славянском переводе Хрон. Г. Амарт. находим примеры передачи исходного греческого слова со сложной морфологической структурой то эквивалентом, то словообразовательной калькой: 1) εὐδοκήσω ἐν αὐτῷ... Georg. Hamart., с. 392 — и съзижѣте домъ, и блгоизволю на нь... Хрон. Г. Амарт., с. 272, εὐδοκήσας ... с. 627 — бие слово изволи възискати... с. 411; 2) θανατηφόρον ... с. 258 — [вода] смртоносна... с. 181, θανατηφόρου ... с. 74 — отрава... смртьная... с. 70; 3) ὡς θεομύστην ... с. 703 — прознаменуа яко бгоучителя... с. 452, ὁ θεομύστης Χρυσόστομος ...с. 683 — учтль Златаустець... с. 441 и мн. др.

[3] Слово зафиксировано в СлРЯ XI—XVII вв. [13, вып. 8, с. 198], автор-составитель этой словарной статьи А. Н. Шаламова. Кстати, *лежахъ* как пример «усердного пуризма» приводится (без ссылки на источник) у Л. А. Булаховского [16, с. 126].

В славянском переводе Хрон. И. Малалы можно отметить такие варианты передачи одной исходной лексемы.

1. Заимствование — семантическая словообразовательная калька: ἐφιλοσόφει παρ' Ἕλλησιν Ἀναξίμανδρος ... Mal., с. 158 — философъ же бѣ въ Еллинѣхъ Анаксимадръ... VI с. 9, ἐν δὲ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις ἐφιλοσόφει Ἱπποκράτης ... с. 85 — въ та ж⟨е⟩ лѣта любомудрствоваше Ипократисъ... IV, с. 364.

2. Заимствование — эквивалент: ... καλοῦσι γίγαντας ... с. 202 —... нарицяють гиганты... VIII с. 5, ... ὦρεν ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ γίγαντας οἰκήσαντας ... с. 202 — обрѣте бо въ тои странѣ щюды живша... VIII с. 5.

В Патерике Син. встречаются следующие разновидности лексического варьирования [4].

1. Заимствование — семантическая калька μὴ προσκυνήσῃς ταύτῃ τῇ εἰκόνι ... Joann. Mosch., стлб. 2900 — не покланяи ся сему образу... с. 97, εἶχεν δὲ ἡ εἰκὼν τὸ ἐκτύπωμα τῆς Δεσποίνης ἡμῶν ... (там же) — бяаше бо икона влдчця нашея бця Мария (там же).

2. Заимствование — эквивалент: ὁ εὐνοῦχος ... стлб. 2892 — авва Козма скопьць... с. 88, τοῦ εὐνούχου... стлб. 3056 — въ манастърь оца Иоана каженика... с. 292, εὐνοῦχος... стлб. 3057 — тъ же авва Иоанъ емнохъ... с. 294.

3. Заимствование — словообразовательная семантическая калька: εὐλογίαν ... стлб. 2896 — мы одино блгвление... с. 93, ἀπὸ πέντε εὐλογιῶν ... стлб. 2941 — възимати... по·еі·евлогии и мѣдяниць·е·... с. 153.

4. Заимствование — словообразовательная калька σύγκελλος ... стлб. 2896 — быс⟨ть⟩ же блаженыи сь Евстохию съклѣтьникъ... с. 94, ὡς ἡμην σύγκελλος ... стлб. 3012 — сущю ми суклѣтьнику стго оца Евлогия... с. 241, σύγκελλος... ... стлб. 2989 — сункелъ с. 213.

Примеры можно увеличить. И без того сложная, картина лексического варьирования, отражающая технику и методику раннеславянского перевода на этапе формирования литературного языка, на самом деле еще сложней. Мы не учитывали здесь особую роль глосс в системе лексического варьирования, оставили без внимания неологизмы, иноязычные вкрапления, включающиеся во взаимоотношения рассмотренных феноменов, и многие другие явления. Возвращаясь к приведенным в начале статьи противоречивым объяснениям причин появления лексического варьирования в переводных памятниках, скажем, что в данном исследовании мы стремились не к определению мотивировки возникновения этого явления, а к выяснению внутриязыковых возможностей переводящего языка, которые выражаются в самом существовании факта лексического варьирования.

ИСТОЧНИКИ

Изб. Св. 1073 г. [1] — Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года. Спб., 1880.

Изб. Св. 1073 г. [2] — ЧОИДР, октябрь — декабрь, 1882, кн. 4. М., 1883.

Georg. Hamart.— Georgii Monachi Chronicon. Ed. C. De Boor. V. I—II. Lipsiae, 1904.

Хрон. Г. Амарт.— *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Т. 1. Пг., 1920.

Хрон. И. Малалы — *Истрин В. М.* «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе: кн. 4 — Летопись Ист.-филол. общ-ва при Новороссийском ун-те (Летопись), т. XIII. Одесса, 1905; кн. 5 — Летопись, т. XVI. Одесса, 1910; кн. 6 — Сб. ОРЯС, 1911, т. LXXXIX, № 3; кн. 8 — Сб. ОРЯС, 1912, т. LXXXIX, № 7; кн. 10 — Летопись, т. XVII. Одесса, 1913.

Mal.— Joannis Malalae Chronicon, rec. L. Dindorf. Bonnae, 1831.

Ефр. Корм.— Древнеславянская кормчая. XIV титулов без толкований. Труд В. Н. Бенешевича. Спб., 1907.

Патерик Син.— Синайский патерик. Изд. подготовили Голышенко В. С., Дубровина В. Ф. М., 1967.

Козма Инд.— Книга глаголемая Козмы Индикоплова. Изд. общества любителей древней письменности, № 86. Спб., 1886.

[4] Подробный материал по лексическому варьированию в этом памятнике, трактуемый иначе, см. [11, с. 54—57].

Cosm. Ind.— *Migne J. P.* Patrologiae cursus completus. Series graeca (PG), t. 88 Parisiis, 1860.

Срезн.— *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. Спб., 1893; т. II. Спб., 1895.

SJS — Slovník jazyka staroslověnského. Вып. 22. Praha, 1972; Вып. 30. Praha, 1976.

Лидделл — Скотт — *Liddell H. G., Scott R.* A Greek-Englich Lexicon. T. I—II. Oxford, 1940.

Софоклес — *Sophocles E. A.* Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods. Boston, 1870.

Изб. Св. 1076 г.— Изборник 1076 г. Изд. подготовили Голышенко В. С., Дубровина В. Ф., Нефедов Г. Ф. М., 1965.

Greg. Naz.— PG, t. 35. Parisiis, 1857.

Гр. Наз.— XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рукописи имп. Публ. Библиотеки XI века. Критико-палеографический труд А. Будиловича. Спб., 1875.

Панд. Ант. (Амф.).— Словарь из Пандекта Антиоха XI века. Труд архимандрита Амфилохия. М., 1880.

Joann. Ex.— *Aitzetmüller R.* Das Hexaemeron des Exarchen Joannes. V. 1—7. Graz, 1958—1975.

Joann. Mosch.— PG, t. 87, ps. 3. Parisiis, 1860.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Грот Я. К.* Филологические разыскания Я. Грота. 2-е изд. Т. I. Спб., 1876, с. 2.
2. *Richter E.* Fremdwortkunde. Leipzig, 1919, S. 86.
3. *Unbegaun B.* Le calque dans les langues slaves littéraires.— RÉS, 1932, t. XII.
4. *Schumann K.* Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. Berlin — Wiesbaden, 1958.
5. *Molnár N.* The Calques of Greek Origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts.— Studia Slavica, 1964, t. X, fasc. 1—2, p. 131.
6. *Ефремов Л. П.* Основы теории лексического калькирования. Алма-Ата, 1974.
7. *Crepajac L.* Prilog proučavanju grčkih semantičkih pozajmljenica i prevedenica u srpskohrvatskom.— Živa antika, 1978, t. XXVIII.
8. *Crepajac L.* Značaj grčkih prevedenica i semantičkih pozajmljenica za obrazovanje evropske kulturne leksike.— Živa antika, 1980, t. XXX.
9. *Копыленко М. М.* Кальки греческого происхождения в языке древнерусской письменности.— Византийский временник, 1973, т. 34.
10. *Верещагин Е. М.* У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества.— ВЯ, 6, 1982.
11. *Дубровина В. Ф.* Из наблюдений над употреблением грецизмов в переводном тексте русской рукописи XI в.— В кн.: Источниковедение и история русского языка. М., 1964.
12. *Верещагин Е. М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972, с. 61.
13. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—10. М., 1975—1983.
14. *Вялкина Л. В.* Сложные слова в древнерусском языке в их отношении к языку греческого оригинала (на материале Ефремовской кормчей).— В кн.: Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.
15. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979, с. 108.
16. *Булаховский Л. А.* Введение в языкознание. Ч. II. М., 1953.

№ 2 1984

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. **Функциональные типы русской речи.**— М.: Высшая школа, 1982. 224 с.

Около 30 лет, прошедших со времени дискуссии в отечественном языкознании по проблемам стилистики, были плодотворными для данной лингвистической области. Появились многочисленные труды, в которых вопросы стилистики освещаются на разнообразном материале и в разных направлениях. Вместе с углубленным изучением стилистической проблематики возникла и настоятельная необходимость суммировать накопленный опыт и наблюдения. Актуальность такого труда обусловлена и теоретическими аспектами, и практикой преподавания: не говоря уже об отдельном предмете — стилистике русского языка — целый ряд других вузовских дисциплин: культура речи, современный русский язык, язык художественной литературы — органически включает в себя вопросы стилистики. Публикация рецензируемой книги, жанр которой определяется как «учебное пособие», является вполне своевременной. Ее содержание составляют три части: I. Основные положения стилистики языка и речи, II. Функциональные стили языка, III. Композиционные типы речи. Хотя само название книги, как и названия частей, ориентируют читателя главным образом на речевые феномены, поставленные вопросы рассматриваются в тесной связи со структурой языка. Так, система общелитературных норм представлена в своем поуровневом распределении: лексика, фразеология, морфология, синтаксис, словообразование, орфоэпия, правописание (с. 30—31). В то же время стилистические нормы выступают в виде организующего начала в использовании «как элементов общелитературного языка и как стилевых „скреп“ его функциональных разновидностей» (с. 36).

Понятие стилистических норм связывается с понятием стилистических средств, однако между ними устанавливается дифференциация в аспекте реализации языковых единиц (для первого понятия) и в аспекте маркированности (для второго понятия), ср.: «стилистические средства — это элементы языка, обладающие стилистической окраской, т. е. способностью выражать дополнительную стилистическую (экспрессивно-оценочную, экспрессивно-эмоциональную, функционально-стилевую) информацию» (с. 46—47). В соответствии с приведенной формулировкой и традиционным взглядом на данный объект стилистические средства делятся на две группы: «1) функционально окрашенные средства, являющиеся принадлежностью книжно-письменной или устно-разговорной речи; 2) экспрессивно-окрашенные средства, придающие речи определенный вид стилевой окраски (ласкательный, иронический, интимный, фамильярный, неодобрительный, торжественный и т. п.)» (там же).

Мы остановились на некоторых отдельных формулировках потому, что в них учитывается, на наш взгляд, взаимодействие речевых и языковых явлений. Это взаимодействие подчеркивается при рассмотрении стиля как многоаспектного лингвистического термина (с. 48—49). С его разнообразным использованием отчасти связана и та «синонимичность», которая возникает при исследовании «функциональных типов (литературного языка)», «функциональных языков» и «функциональных стилей». В сущности, авторы квалифицируют данные языковедческие термины как адекватные. Вместе с тем стремление проследить динамическую связь языка и речи в области стиля ведет к тому, что иногда ставит под сомнение само разграничение этих категорий. Сравни, например, следующее определение: «Стили речи — это стилистически отмеченные разновидности или жанрово фиксированные вариации литературного языка...» (с. 57).

Как следует из названия второй части, здесь поставлены вопросы главных характеристик функциональных разновидностей русского языка. С этой точки зрения исключение стилистики художественной литературы из общей проблематики лингвистической стилистики (с. 65) не представляется бесспорным. Ссылка на взгляды В. В. Виноградова по поводу разграничения «трех стилистик» (языка, речи и художественной литературы) не проясняет вопроса, так как В. В. Виноградов имел в виду разные объекты и направления исследований, но не совокупность разновидностей, составляющих функциональную систему русского языка.

Следует признать принципиально верной трактовку, предложенную авторами, экспрессивных речевых средств в их соотношении с классификацией стилей, где учитываются дифференциации языка и речи: «по всей видимости, правильнее было бы говорить в данном случае о многообразных разновидностях экспрессивно-эмоциональной окраски речи, а не о стилях языка» (с. 66). Анализ оценочных эмоциональных и экспрессивных категорий и средств их выражения занимает заметное место в рецензируемой книге. С одной стороны, констатируется факт взаимосвязи, но не тождества между оценочностью и эмоциональностью: эмоциональные слова не всегда оценочны,

но оценочные слова обычно эмоциональны (с. 72). С другой стороны, эмоционально-экспрессивная категория анализируется с позиции ее выражения в системе языка и в речевом употреблении. В дальнейшем изложении эти вопросы разрабатываются в плане маркированности слова. Приводя высказывания некоторых языковедов (И. Р. Гальперина, Н. М. Разинкиной, М. Н. Кожиной) по проблеме эмоционального значения, стилистического значения, эмоциональной окраски и эмоциональной окрашенности, авторы приходят к выводу, что стилистическое значение создается под воздействием нескольких факторов, среди которых известную роль играют экстралингвистические условия — ситуация общения и «коммуникативная установка говорящего» (с. 82—83).

Принцип поуровневого рассмотрения общелитературных норм, постулируемый в первой части, получает свое последовательное продолжение во второй части, где стилистические ресурсы русского языка анализируются в соответствии с отдельными ярусами языковой системы: фонетикой, лексикой, фразеологией, словообразованием, морфологией и синтаксисом. Правда, данный раздел отличается некоторой иллюстративностью, что обусловлено, как отмечают авторы, достаточной разработанностью этих вопросов в лингвистике (с. 84).

Наиболее значимым разделом второй части является раздел, посвященный функциональным стилям, среди которых выделены: научный, официально-деловой, газетно-публицистический и разговорно-обиходный. Характеристики указанных разновидностей опираются на лингвистические показатели, определяемые назначением того или иного стиля. Так, обобщение и абстрактность, присущие научному стилю, находят свое выражение на уровне словообразования, морфологии, лексики (последнее проявляется в области терминологии, а также в использовании глаголов широкой семантики и в десемантизации). Наряду с характерными признаками указаны и признаки, не характерные для данной разновидности, а именно — периферийность для научного стиля образных и эмоционально-экспрессивных элементов. Приблизительно по тем же параметрам проводится обзор других разновидностей. В целом эти характеристики сопровождаются разнообразным материалом и являются объективными. Однако некоторые положения нуждаются в уточнении и в дополнительной аргументации.

Так, исходным понятием при определении специфики научного стиля является точность (с. 92); это же понятие выступает как исходное и при определении официально-делового стиля (с. 104). В данном случае следовало бы подчеркнуть, что признак точности имеет разную направленность, обусловленную функциональными качествами одной и другой разновидности литературного языка, обладает разной ориентированностью на внешнюю среду, которая представлена специалистами в конкретной научной области (для научного стиля) и которая в целом безразлична к профессиональной квалификации (для официально-делового стиля).

Второе замечание касается рассмотрения разговорно-обиходного стиля. Авторы правы, указывая на то, что статус разговорно-обиходного стиля еще недостаточно определен в соотношении с проблемой функциональных стилей, что само понятие «разговорной речи» не однородно и имеет разные формы проявления. Однако включение разговорно-обиходного стиля в систему литературного языка вызывает возражение, а сама аргументация авторов с ссылкой на точку зрения А. К. Панфилова далеко не выглядит убедительной. Конечно, между разговорно-обиходным стилем и стилями литературного языка не существует раз и навсегда установленных границ: в разговорной речи могут использоваться элементы разных литературных разновидностей, правда, иногда совсем с иной установкой; литературные стили, в свою очередь, также пополняются средствами разговорной речи, что свойственно, в частности, газетно-публицистическому стилю. Боязнь того, что противопоставленность разговорной речи литературному языку «приводит к далеко идущим выводам об отсутствии единого литературного языка» (с. 127), видимо, не может считаться серьезной. Напротив, рассмотрение разговорно-обиходной речи в системе литературного языка таит в себе угрозу того, что границы и пределы литературного языка неправомерно расширяются, а при этом снимается необходимая для национального языка оппозиция «литературного» и «нелитературного». Возражение вызывает и то, что в своем подавляющем большинстве иллюстрации к разговорно-обиходному стилю приводятся из художественной литературы: как известно, разговорная речь в художественном произведении подвергается существенным изменениям, что определяется спецификой художественного отображения. А. Н. Толстой, например, так писал по этому поводу: «Я пробовал заводить записные книжки и подслушивать фразы. Когда я вклеивал их затем в ткань рассказа, получалось почти то же, как если бы живописец приклеил к портрету нос, отрезанный у покойника» [1].

Третья часть книги посвящена композиционно-структурным особенностям речи. Одним из главных тезисов здесь выступает тезис о единстве формы и содержания, которое определяет структуру текста. Организация текста предстает в зависимости от двух типов структур — рационально-логических и эмоционально-риторических с преобладанием одного из этих двух типов в каждом конкретном случае. Структурные особенности текста связываются с внутристилевыми различиями, обуславливающими жанровую принадлежность, ср.: «...жанр можно определить как выделяемый в рамках того или иного функционального стиля вид речевого произведения, характеризующийся

единством конструктивного принципа, своеобразием композиционной организации материала и используемых стилистических структур» (с. 156).

Значительное внимание в третьей части отводится вопросам построения текста по разным параметрам: с позиции содержательно-логического членения, с позиции выделения основных композиционных типов, с позиции структурных единиц речи, куда отнесены, в частности, средства речевой выразительности.

К числу общих достоинств книги следует отнести и тот факт, что авторы неоднократно прибегают к историческим экскурсам при анализе поставленных вопросов (см., например, комментарии к использованию грамматических форм в конце XIX — начале XX вв., с. 87; замечания о классической риторике, с. 140 и др.).

Таким образом, в книге суммированы многие проблемы функционального изучения современного русского языка. Разнообразные труды, на которые ссылаются авторы, дают достаточно полную картину состояния исследований в этой области. Вместе с тем здесь находят отражение и такие вопросы, которые могут разрабатываться при дальнейшем изучении русского языка в самых разных ситуациях общения. В плане перспективы работы отметим, что учебное пособие «Функциональные типы русской речи» может с успехом послужить основой для единого учебника «Стилистика русского языка», столь необходимого для вузовского преподавания.

Михайловская И. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Толстой А.* О драматургии: Доклад Первому съезду писателей.— Собр. соч. Т. 13. М., 1949, с. 359.

Walter H. **Enquête phonologique et variétés régionales du français.**— Paris: Presses Universitaires de France, 1982. 252 p.+ 1 карта.

Книга известного французского фонолога Г. Вальтер вышла в серии «Le linguiste», которая издается под руководством А. Мартине, написавшим предисловие к рецензируемой книге (с. 9—11). В той же серии были опубликованы книги А. Мартине, Ж. Мунена, М. Филипп, К. Ажежа и др. Всего было издано 23 тома (их список прилагается в конце рецензируемой книги).

Основная идея книги Г. Вальтер связана с положением о том, что фонология современного французского языка должна изучаться с учетом особенностей региональной речи французского языка. Как известно, региональная речь, точнее ее варианты (variétés), является одной из ведущих тем, над которыми работают современные французские лингвисты. В романистике наших дней (как во Франции, так и за ее пределами) по-разному понимается проблема региональной вариативности и вариативности вообще, что видно из многочисленных исследований, посвященных этим вопросам [1—3].

Учение о регионализмах восходит к трудам О. Брена [4], А. Доза [5] и др. (50-е — 60-е годы XX в.). Проблема «регионализмов» обычно понимается двояко: региональные языки — языки нацменьшинств (баскский, бретонский, эльзасский и др.) и региональные разновидности французского, итальянского и др. языков, т. е. регионализмы внутри системы этих языков (например, региональный французский язык северной Франции — Пикардии [6]). Только в современный период развития французского языка его региональные разновидности становятся самостоятельной единицей (слоем, статусом) структуры французского языка, имеющим свои системные особенности, а, соответственно, и особую функциональную значимость [7]. Именно этому вопросу и посвящена рецензируемая книга, построенная на материале произносительных (фонологических) норм разных регионов Франции.

Вопросы, связанные с регионализмами, уже давно интересуют Г. Вальтер. В соавторстве с А. Мартине Г. Вальтер издала «Словарь произношения современного французского языка» [8]. Этот «Словарь» отличается от других уже имеющихся словарей французского литературного произношения (например, словарей Л. Варнана и П. Фуше) тем, что в нем зафиксировано произношение региональных разновидностей разговорного французского языка.

При работе как над рецензируемой книгой, так и над «Словарем», была использована методика полевого анкетирования, которое связано с изучением разных слоев языка и особенно тех его аспектов, которые обусловлены его социальной стратификацией. Произносительные особенности изучались во всех регионах Франции, включая зоны функционирования иноязычных «региональных языков» (германоязычная Лотарингия, Эльзас, кельтская Бретань; Баскония, Корсика). Схематическая карта, приложенная к книге, включает 35 регионов обследования. Всего было опрошено 111 информантов (примерно по три информанта в каждом регионе). Возраст информантов в среднем от 45 до 65 лет (65 человек из 111); при этом было опрошено 56 женщин и 55 мужчин. При описании идиолектов учитывались не только фонологические данные, но также интонация и ударение.

В небольшом введении (с. 13—16)

описываются планы изучения сельских и городских регионализмов специально созданными творческими группами, работающими под руководством Г. Вальтер. В главе I (с. 17—46) поясняются методы, способы и техника работы над материалом. Глава II (с. 47—86) посвящена описанию подготовительной работы для проведения анкетирования: характеризуются информанты и вопросник, определяются критерии выбора информантов, их количество, обосновывается выбор соответствующего типа вопросника, адекватно отражающего инвентарь региональной речи, приводятся описания разных систем вопросников и комментарии к ним, анализируется связь фонологии с лексикой, техника беседы с информантами (с. 85). Глава III (с. 87—201) является итоговой. Далее следуют глава IV (с. 202—207) «Заключение», гл. V (с. 208—232) «Документация» и гл. VI (с. 233—252) «Библиография».

Как видно, основной является третья глава, в которой приводятся результаты исследования. Эта глава начинается с описания идиолекта как языка анкетируемого. После предварительных пояснений и комментариев к описанию идиолектов (см. с. 96—99) приводятся таблицы, в которых суммированы основные характеристики идиолектов 35 регионов Франции (с. 100—201). В каждом из регионов исследовано несколько идиолектов.

Оценивая в целом труд автора, следует отметить, что книга Г. Вальтер весьма актуальна и своевременна и представляет значительный интерес прежде всего в практическом плане — перед нами фундаментальная разработка техники полевого анкетирования, направленного на выявление социально-территориальной стратификации языка.

Однако нельзя не отметить и некоторые недочеты в книге, к которым мы прежде всего относим то, что автор не останавливается подробно на социальной обусловленности различных уровней языка, о чем во французской лингвистике неоднократно писал Ж.-Б. Марселлези и что является одним из наиболее актуальных предметов исследования в советском языкознании (труды В. М. Жирмунского, Г. В. Степанова, А. И. Домашнева и др.). В книге не определяется также термин «вариативность» языка, не проводится различие между диалектизмами и регионализмами. В «региональное» включаются как региональные языки на территории Франции (баскский, бретонский, фламандский и др.), так и различные разновидности французского языка, т. е. собственно регионализмы. Недостаточно четко раскрыт и термин «идиолект», который понимается автором как язык одного информанта. Термин «идиолект» получил широкое распространение в современной лингвистике. Однако под «идиолектом» обычно имеется в виду не язык одного человека, а язык нескольких человек, часто составляющих одну семью или семейную группу разных поколений. Мы полагаем, что идиолект представляет собой низшую ступень в языковой стратификации, как социальной, так и территориальной, после которой следует говор (patois). Определение идиолекта в исследовании Г. Вальтер как фонологических характеристик одного говорящего в определенный период его жизни (с. 22) представляется не столько неправильным, сколько чересчур узким.

Для более глубокого определения своих теоретических позиций автору следовало бы четче отделить полевое анкетирование от собственно диалектного анкетирования. В отличие от диалектного анкетирования, которое строится на территориальном принципе, полевое анкетирование можно было бы определить как социально-территориальное. В тех редких случаях, когда Г. Вальтер отмечает историческую и этнологическую направленность своего исследования (см. гл. IV), автор все же подходит к такому решению проблемы.

Интересно было бы сопоставить социально-территориальное анкетирование с принципами Ж. Жильерона: ведь по сути дела задача Г. Вальтер, так как и задача Ж. Жильерона, заключалась, по образному выражению последнего, дать как бы «мгновенную фотографию» речевых ситуаций в разных территориях (регионах) Франции [9].

Как видно из изложенного, монография Г. Вальтер примыкает к работам социолингвистического плана с элементами территориальной (пространственной) дистрибуции и с использованием отдельных приемов, характерных для лингвистической географии. Она является глубоким и хорошо проведенным исследованием современной французской региональной устной речи и представляет значительный интерес для изучения теоретических вопросов социолингвистики, включая и речевой узус современной Франции.

Бородина М. А., Рахматулаева Т. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Taverdet G.* Le français régional de la Côte bourguignonne. Paris, 1977.
2. *Carton F.* Usage des variétés de français dans la région de Lille.— Ethnologie française, 1973, v. 3, № 3—4.
3. Les français régionaux. Colloque sur le français parlé dans les villages de vignerons. Paris, 1977.
4. *Brun A.* Parlers régionaux. France dialectale et unité française. Paris — Toulouse, 1946.
5. *Dauzat A.* Les patois. Évolution — classification — étude. Paris, 1946.
6. *Бородина М. А.* Лингвистическая ситуация в современной Пикардии.— В кн.: Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков. М.,
7. *Бородина М. А.* Диалекты или региональные языки? — ВЯ, 1982, № 5.
8. *Walter A., Martinet A.* Dictionnaire de prononciation française dans son usage réel. Paris, 1973.
9. *Gilliéron J.* Notice servant à l'intelligence des cartes. Paris, 1902.

Цыхун Г. А. **Типологические проблемы балканославянского языкового ареала.**— Минск: Наука и техника, 1981. 230 с.

Книга Г. А. Цыхуна относится к числу тех работ, которые созданы в момент, когда ощущается насущная необходимость в разработке поставленных в ней проблем. Примечательно, что ее выход в свет совпал с началом подготовки многотомного труда «Основы балканского языкознания», работа над которым ведется коллективом ученых Института языкознания АН СССР, Института славяноведения и балканистики АН СССР, учеными-балканистами и славистами Москвы, Ленинграда, Минска, Кишинева и Вильнюса.

В последнее время проблемы изучения языков балканского ареала, объединенных целым рядом симптоматических общностей в их структуре, а также некоторыми общими тенденциями развития, явившимися результатом длительного исторического взаимодействия, стали объектом всестороннего рассмотрения. Особое место в изучении языков балканского ареала занимает вклад славянских языков в формирование особой ареальной языковой общности — балканского языкового союза (БЯС). Основная задача, которую поставил перед собой автор, состоит в системном анализе и интерпретации специфических явлений языковой структуры южнославянских языков, контрастирующих с конститутивными чертами славянского языкового типа. Это прежде всего те черты, которые связаны с развитием аналитических способов образования морфологических и синтаксических структур.

Исследование этих «экстраславянских» языковых признаков имеет существенное значение в связи с тем, что их зарождение и динамика развития осуществлялись в рамках балканского языкового союза, объединяющего языки различных индоевропейских групп — албанской, греческой, романской и славянской — не по генетическому, а по ареально-типологическому принципу.

Со времени выхода в свет выдающейся работы датского лингвиста К. Сандфельда «Балканская лингвистика» [1], впервые давшего описание нелексических схождений в балканских языках (общности в лексике на материале всех языков балканского ареала исследовались Ф. Миклошичем, Г. Мейером, Н. Йоклем и др.), началось усиленное изучение балканизмов на разных уровнях, в первую очередь в морфологии и синтаксисе. Отечественная славистика внесла и продолжает вносить заметный вклад в становление и развитие сравнительно нового комплексного направления — лингвистической балканистики. Достаточно назвать работы А. М. Селищева [2], крупнейшего диалектолога-слависта XX в., который в 1925 г. (раньше Сандфельда) высказал ряд основополагающих принципов балканистики, исходя главным образом из южнославянских языковых данных. (Подробно о становлении и развитии лингвистической балканистики см. работы В. Шаллера и П. Асеновой [3, 4]).

Спустя некоторое время исследование балканских языков получило дальнейшее развитие. Была открыта общность нового типа — языковой союз, теоретическое определение лингвистического статуса которого дал в 1928 г. Н. С. Трубецкой [5]. После этого балканистические исследования развивались по двум почти не связанным направлениям. Одно из них шло по линии углубленного изучения отдельных балканизмов (линия К. Сандфельда), другое разрабатывало общетеоретические положения Н. С. Трубецкого, (Р. Якобсон, В. Скаличка, Х. Бирнбаум и др.). Одновременно с этим велись серьезные споры по поводу правомерности выделения балканского языкового союза в общность особого типа.

Проблема балканского языкового союза стала предметом оживленной дискуссии на Международном коллоквиуме балканистов, состоявшемся в Болгарии (Варна) в 1976 г. [1].

И все же, как недавно отметила А. В. Десницкая, современная балканистика стала переживать определенный кризис из-за отсутствия широких обобщающих исследований, направленных на изучение процессов межъязыкового существования на Балканах, приведших к языковому союзу [6].

Монография Г. А. Цыхуна, на наш взгляд, являет собой успешную попытку преодоления такого неудовлетворительного для науки положения. Она органически сочетает в себе сплошное обследование южнославянского диалектного пространства с целью выявления совокупности балканославянских инноваций с глубоким теоретическим системным обобщением общебалканских тенденций развития славянских языков. Важнейшим результатом исследования Г. А. Цыхуна следует считать создание разрешающей концепции развития балканославянских инноваций в южнославянской диалектной зоне. Модель описания зарождения, истории развития и распространения балканославянских инноваций, выдвинутая в работе, имеет теоретико-эвристическое значение и служит основным приемом интерпретации материала южнославянских языков. Однако ценность модели состоит также в том, что она может быть экстраполирована на балканские языки в совокупности и, как мне представляется, с успехом найти применение при обследовании как других славянских диалектно-контактных зон, так и инославянских междиалектных ареалов. Практически эта модель уже может быть использована при подготовке комплексного труда «Основы балканского языкознания» в целях инвентаризации общих черт языков балканского ареала — так называемых балканизмов.

Проблемы изучения балканизмов, т. е. структурных общностей и некоторых общих явлений развития балканских языков, стали привлекать внимание специалистов не только в области балканского

[1] Материалы дискуссии опубликованы в журнале «Балканско езикознание», 1977, 1—2.

языкознания или же отдельно славянского, романского, греческого и албанского языкознания, но также исследователей, специализирующихся в области общетеоретического, исторического, ареального и типологического разделов языкознания.

Основы теории языковых союзов, построенные на материале балканских языков, получили дальнейшее развитие и апробацию на материале других языковых ареалов (волжско-камского — Б. А. Серебренников, центрально-азиатского — В. Н. Топоров, Д. И. Эдельман и др.). В этой связи углубленная разработка методики ареально-типологических исследований южнославянского языкового континуума, осуществленная Г. А. Цыхуном, имеет существенное значение как для славистики, так и для ареальной типологии в целом.

Предметом своего исследования автор избрал комплексное ареально-типологическое обследование южнославянских языков с точки зрения их участия в формировании особой ареальной общности, каковой является БЯС. Балканский языковой союз представляет собой уникальный феномен, изучая который можно выявить механизм интеграционных межъязыковых процессов, преобразующих не только структуру, но и сам тип контактирующих языков.

Известный болгарский лингвист И. Леков предложил даже выделять особое лингвистическое направление, исследующее языковые контакты,— контактологию.

В книге Г. А. Цыхуна впервые в балканском и славянском языкознании осуществлено обоснование целей и задач ареально-типологического направления в исследовании балканского ареала. Особое значение для славистики в исследовании Г. А. Цыхуна имеет то, что в нем прослеживается влияние инославянских языковых контактов на развитие славянского языкового типа.

Хотя мысль о необходимости разграничивать понятия южнославянский и балканославянский уже высказывалась ранее (см. работы Х. Бирнбаума), первое системное обоснование необходимости такой демаркации также изложено в работе Г. А. Цыхуна. Приводя список общностей южнославянских языков, развившихся на Балканах, в том числе таких, как: 1) утрата флективных форм и замена их конструкциями с предлогами, 2) утрата классических форм инфинитива и форм простого будущего, компенсируемых конструкциями с глаголом *хотеть* и так называемыми *да*-конструкциями, 3) постпозитивный членный артикль 4) местоименные повторы дополнения, 5) аналитические формы сравнения,— Г. А. Цыхун вводит для их обозначения важное терминологическое определение — б а л к а н о с л а в и з м (с. 5 et passim). Балканославизмами автор называет инновационные черты южнославянских языков, развившиеся на Балканах, а балканославянским ареалом — территорию их распространения.

Автор точно и с чувством должной осторожности формулирует те основные понятия и положения, которыми он оперирует в работе. Это относится к таким терминам и сочетаниям как, «балканославянский ареал», «балканославизм», «прогрессивная» и «регрессивная инновации». Весьма бережно автор обращается и с установившимися или употреблявшимися в лингвогеографических работах понятиями «центр» и «периферия», «диффузная зона» (иногда ее называют «зона вибрации»), возрождает удачный термин П. Бузука «фронт» распространения инновации и т. д.

Методика, используемая в исследовании, может быть названа ареально-типологической, поскольку в ней основное внимание уделено выявлению диалектной дистрибуции балканославизмов и их типологической характеристике. Одновременно в ней постоянно присутствует историко-генетический подход, так как объектом исследования служат близкородственные языки. Одним словом, в рассматриваемой работе используется метод ареальной типологии близкородственных языков.

Автор формулирует не только задачи и цели своего исследования, но и затрагивает широкий круг вопросов балканского языкознания, славянской лингвистической географии взаимодействия родственных и неродственных языков, теории языковых контактов, которые в свою очередь являются важнейшей частью этнолингвистической проблематики — языковой интеграции (с. 3—23).

В центре внимания исследователь ставит проблему балканизации южнославянских языков, поэтому ареальная характеристика балканских инноваций в балканославянских языках занимает основное место. Автор исходит из постулируемого им тезиса о центральном положении балканославянских языков в балканском языковом союзе (с. 6, 21), что, на наш взгляд, является спорным.

В своей книге Г. А. Цыхун пересматривает методологические принципы предшествующих исследований, которые ориентировались при рассмотрении общебалканских и балканославянских черт на межъязыковые отношения. На передний план им выдвигается задача анализа формирования балканославизмов на диалектных подсистемах. Такой подход представляется единственно правильным при изучении проблем становления балканославизмов и общей проблемы формирования балканского языкового союза.

Кажется уместным здесь высказать мысль о том, что балканский языковой союз — это не межъязыковая общность, как обычно подразумевается, а «междиалектно-языковая общность». Процессы балканизации, как общей, так и славянской, совершаются не на языковом, но на диалектном уровне. И это убедительно показано в работе Г. А. Цыхуна. Хотя в ней об этом и не говорится прямо, но выводы, сделанные автором, однозначны. Не случайно он сознательно исключил из рассмотрения показания письменно-литературных памятников. Источниками Г. А. Цыхуна явились многочисленные описания и атласы диалектов и говоров Южной Славии.

Одной из центральных задач исследо-

вания является определение центров зарождения и путей распространения (иррадиации) балканизмов в балканославянском ареале. Задача эта весьма сложна, она имеет целый ряд аспектов общебалканских и балканославянских в плане ареальном и диахроническом. Рассматривая ту или иную балканскую инновацию (будь то постпозитивный член или категория определенности), автор шаг за шагом прослеживает движение наблюдаемой инновации по всему ареалу, выявляет ее характерные черты и ограничения в ее развитии. Важным выводом Г. А. Цыхуна при изучении процессов формирования балканославянской ареальной общности и балканского языкового союза в целом следует считать его положение об открытости балканославянской ареальной общности (у автора «раскрытость») в сторону остальных славянских диалектов с потенциально установившейся траекторией балканизации на северо-запад.

Другая позитивная сторона работы состоит в детальном исследовании балканославизмов на всей южнославянской диалектной территории. Автор при анализе каждого конкретного балканославизма показывает диффузность границ балканославянской ареальной общности. Это говорит о том, что здесь наблюдается неустоявшийся, живой процесс балканизации. Весьма наглядно это показано в анализе конструкций с косвенным объектом — адресатом действия. Существенным является вывод Г. А. Цыхуна об асимметричности структуры балканославянского ареала в плане центр — периферия. Специфическое значение приобретает изучение роли данных сербохорватских диалектов, представляющих периферию балканославянской общности и балканского языкового союза в целом.

В ходе работы, которая подчинена основополагающей идее выявления путей формирования балканославянской ареальной общности, автор устанавливает центры важнейших балканских инноваций, а также траектории их экспансии. Г. А. Цыхун справедливо считает, что решение перечисленных казалось бы чисто славистических проблем приблизит решение такой фундаментальной лингвистической сверхзадачи, как разъяснение причин возникновения БЯС.

Со времени К. Сандфельда, разграничившего лексические и нелексические балканизмы, внимание к сходным чертам тождественного развития в морфологии и синтаксисе балканских языков не ослабевало. В этой области, однако, до сих пор отсутствовало системное описание общих структурных признаков как в балканославянском, так и в общебалканском языковом ареале.

В книге Г. А. Цыхуна даются первые в балканском и славянском языкознании описание и интерпретация комплекса морфолого-синтаксических инноваций в балканославянском ареале. В ней изучены предложно-падежные отношения с преимущественной потерей именных падежных форм и конструкций, категории определенности (артикль — член и членная морфема *-то* у относительных местоимений), модальные отношения, исчезновение инфинитива и *да*-конструкций, временные отношения с преимущественным вниманием к описательным формам будущего времени с вспомогательным глаголом *хотеть*, степени сравнения (постепенное исчезновение синтетических форм и их замена аналитическими).

В ходе исследования автор выделяет в балканославянском ареале три зоны — архаическую, инновационную и диффузную. Эти зоны, как отмечает автор, характеризуют три стадии пространственной экспансии инновации от центра ее зарождения к периферии. Автор разработал методику выявления центров инноваций, которая состоит в системном наблюдении неравномерности охвата инновацией категориальной сферы. Ему удалось установить, что экспансия балканизмов внутри категориальной сферы имеет ряд ограничений, а именно: ограничения, связанные с некоторыми классами слов, и ограничения, связанные с некоторыми типами форм и конструкций. В то же время в работе показано, что при экспансии балканославизмов эти ограничения в ряде говоров снимаются. Выяснилось, что экспансия отдельных балканизмов имеет тенденцию выйти за рамки своей категориальной сферы и создает тем самым новую категориальную сферу со всеми присущими ей функциональными показаниями. Значительный интерес представляет анализ развития степени сравнения в балканославянском ареале, приводящий Г. А. Цыхуна к важному лингвистическому открытию, которое заключается в том, что в этом ареале категория степени сравнения становится универсальной грамматической категорией для всех частей речи. Это редкий случай почти полной реализации потенций отдельной грамматической категории (с. 190 и сл.).

В целях описания внутрисистемной экспансии балканских инноваций Г. А. Цыхун строит особую модель. При интерпретации этой модели формулируется правило, своего рода «закон ареального взаимодействия» — чем меньше различного рода ограничений в употреблении данной балканской инновации, тем ближе к гипотетическому центру зарождения инновации находится рассматриваемый говор. Думаю, что это правило можно с успехом экстраполировать и на другие контактно-языковые ситуации.

Своим исследованием автор дал целостное описание совокупности балканославизмов, выявил основные зоны балканских инноваций, проследил пути их распространения и тенденции их развития, установил границы и относительную хронологию выявленных балканославянских инноваций. Г. А. Цыхуну удалось выявить особенности развития языков и диалектов балканославянского ареала, формирующейся балканославянской ареальной общности нового типа, существующей наряду с южнославянской общностью. Его исследование по существу открывает новое направление на стыке славистики и балканистики, которое можно определить как балканославистика. Оно также раздвигает перспективы даль-

нейшего комплексного изучения взаимодействия славянских языков на Балканах с инославянским языковым миром.

Нерознак В. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Sandfeld K.* Balkanfilologien. En oversigt over dens resultater og problemer. København, 1926. (Франц. перевод: *Sandfeld K.* Linguistique balkanique. Problèmes et resultats. Paris, 1930).
2. *Seliščev A.* Des traits linguistique communs aux langues balkaniques: un balkanisme ancien en bulgare.— RÉSL, 1925, 5.
3. *Schaller H. W.* Die Balkansprachen. Eine Einführung in die Balkanphilologie. Heidelberg, 1975.
4. *Asenova P.* Aperçu historique des études dans le domaine de la linguistique balkanique.— Балканско езикознание, 1979, № 1.
5. *Trubetzkoy N. S.*— In: Actes du Premier Congrès International de Linguistes, tenu à la Haye du 10—15 avril 1928.— Proposition 16, Leiden, 1930, p. 17—18.
6. *Десницкая А. В.* «Языковой союз» как категория исторического языкознания.— В кн.: II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания «Диалектика развития языка»: Тезисы докладов. М., 1980.

Кумахов М. А. **Сравнительно-историческая фонетика адыгских (черкесских) языков.**— М.: Наука, 1981. 288 с.

Рецензируемая монография представляет собой первый опыт реализации намеченной М. А. Кумаховым программы внедрения в западнокавказскую компаративистику принципа релятивной хронологии, ставшего в сравнительно-историческом языкознании определяющим. Одно из достоинств программы — требование отказа в практике исследования западнокавказских языков от младограмматической методики подведения «правил» действующей системы генетически родственных языков под рубрику инноваций, а «исключения из правил» — под категорию внепространственного и вневременного архетипа. Не подлежит сомнению актуальность установления регулярных звукосоответствий между западнокавказскими языками, но описание механизма фонетических корреспонденций при всей его научной значимости «является лишь начальным этапом сравнительно-исторического анализа генетически родственных языков» (с. 33). Более существенным является то, что может обеспечить решающий успех в сравнительно-историческом изучении абхазо-адыгских языков — внедрение в западнокавказскую компаративистику принципа релятивной хронологии анализируемых и реконструируемых языковых явлений. Таков лейтмотив рецензируемой книги.

Первая глава монографии посвящена рассмотрению схемы исторической дифференциации западнокавказских языков. Здесь подвергнуто критике традиционное представление об одновременном распадении исходного западнокавказского языка «на три ветви — абхазскую, убыхскую и адыгскую, где убыхский язык занимает промежуточное звено» (с. 8). Вместе с тем выдвинуто новое положение, согласно которому из общезападнокавказского языка непосредственно развились два ареала — праабхазский и адыгско-убыхский. Первая ветвь — прямой предок современных абазинского и абхазского языков, вторая — «совместное развитие диалектной группы на протяжении отрезка времени, охватывающего период от эпохи распада западнокавказской языковой общности до образования двух самостоятельных ареалов — адыгского и убыхского» (с. 3). Компаративист основывается на структурном исследовании современных западнокавказских языков, на всех уровнях языковой структуры каждого из которых сохранились унаследованные от более древних языковых состояний архаизмы и в то же время возникли специфические элементы, и идет к реконструкции западнокавказского языка-основы. В результате анализа материала выявлен целый ряд праязыковых особенностей.

Вторая глава содержит краткое изложение истории сравнительно-исторического изучения фонетики адыгских языков, задач по дальнейшему обследованию звуковой системы изучаемых языков, взглядов автора рецензируемой монографии на содержание сравнительно-исторической фонетики и принципы ее построения.

В третьей главе, являющейся одной из основных, дается разработка вокализма адыгских языков в свете современного состояния теоретической фонологии и широкого использования внутренней и внешней (сравнительной) реконструкции.

М. А. Кумахов рассматривает а) состав общеадыгского вокализма, б) отношение общеадыгского вокализма к общезападнокавказскому, в) общезападнокавказские, общеадыгско-убыхские, общеадыгские явления и адыгские инновации, г) проблему долгих гласных, д) проблему носовых гласных, е) явления конца слова и ж) проблему моновокализма.

По мнению М. А. Кумахова, общеадыгский вокализм включал в себя три гласные, различающиеся степенью открытости: гласный максимальной открытости *а*, гласный средней открытости *э* и гласный минимальной открытости *ы*. Основанием для реконструкции этой

системы гласных послужили фонетические показания наиболее устойчивой части лексики адыгских диалектов.

Более простая система вокализма из двух гласных — максимально открытого *а* и минимально открытого *ы* — представлена в других западнокавказских языках (абхазском и абазинском). Эта модель продолжает общезападнокавказский вокализм. Ее исходность для убыхского языка также очевидна: третий член трехчленной системы убыхского вокализма долгий гласный *ӓ*, обладающий минимальной функциональной нагрузкой и реализуемой лишь в медиальной позиции,— результат стяжения *аа*, например: *йафын* < **йаафын* «они едят» (Ж. Дюмезиль). Любопытно, что многие слова западнокавказских языков, содержащие гласные *а* и *ы*, принадлежат древнейшему лексическому фонду данных языков. Это также позволяет приписать двухчленную модель вокализма из *а* и *ы* общезападнокавказскому языковому состоянию.

На основании фонетических соответствий в словах фундаментального слоя лексики реконструируются: а) для общезападнокавказского языка гласный *а* в начальной и неначальной позициях и гласный *ы* в неначальной позиции; б) для общеадыгско-убыхского уровня инлаутный *а*, представленный в адыгских и убыхских основах и не находящий надежных соответствий в абхазском и абазинском, и убыхский конечный *а*, которому в адыгских отвечает локальная инновация *э*, а также гласный *ы* в неначальной позиции; в) для общеадыгского языка третий член трехчленного вокализма — гласный средней открытости *э*, фонетически (не акцентологически) обусловленный переход *э* > *а* (в интерконсонантном положении), превращение вторичного *а* в *э* в сочетаниях типа *нэпэшхуэ* «большое лицо», переход *ы* > *э* (в абсолютном исходе слова и конечном слоге производных глагольных основ) и аблаутные чередования *э* : *ы*, *э* : *нуль* в корневых и аффиксальных морфемах глагола. Морфонологические изменения гласных рассматриваются (в гл. V) как средства дифференциации переходных и непереходных основ, объектных и безобъектных основ, иллативных и элативных основ. Предпринята серьезная попытка обоснования хронологической и этимологической гетерогенности аблаутных чередований, установления их относительной хронологии и т. д.

Достоинством рецензируемой книги является выявление в адыгских языках собственно адыгских инноваций, т. е. инноваций, относящихся к периоду индивидуального развития этих языков (гл. III). Опираясь на данные адыгских языков, диалектов и говоров, исследователь выделяет различные по своему ареалу новообразования, а также отмечает изоглоссы, показывающие территориальное распространение диалектных явлений. Вывод, вытекающий из этих наблюдений, не является неожиданным: в области вокализма адыгских новообразований больше в адыгейском, нежели в кабардинском.

Уравнением со многими неизвестными оставались фонологический статус сегментов, обозначаемых графемами *е*, *и*, *о*, *у*, и проблема дифтонгов в адыгских языках. Правомерным считалось в адыговедении возводить так называемые долгие гласные *е*, *и*, *о*, *у* в ранг самостоятельных фонем (Н. Ф. Яковлев, Д. А. Ашхамаф и др.), но такое объяснение наталкивалось на сильное сопротивление языкового материала.

Сегменты *е*, *и*, *о*, *у* имеют в начальной позиции вокалический исход, несущий дистинктивную функцию и, следовательно, обладающий свойством фонемы. Это дало основание М. А. Кумахову квалифицировать сегменты *е*, *и*, *о*, *у* в указанной позиции как бифонемные сочетания (сонант + гласная фонема). Таковыми, по мысли автора монографии, являются эти сегменты и в конечной позиции в адыгейском языке, а в кабардино-черкесском они не имеют фонологического статуса в силу того, что здесь конечные *е*, *и*, *о*, *у* находятся с дифтонгами в отношениях свободного варьирования. В адыгских языках (особенно в кабардино-черкесском) долгие гласные *е*, *и*, *о*, *у* могут в интерконсонантном положении находиться в альтернации с дифтонгами, в силу чего дифтонги и долгие гласные являются здесь вариантами одного инварианта. Именно в интерконсонантном положении намного интенсивнее протекает процесс монофтонгизации дифтонгов. На процесс монофтонгизации стимулирующее влияние оказывают содержащиеся в заимствованных из русского языка словах долгие гласные *е*, *и*, *о*, *у*. Происходящий процесс монофтонгизации дифтонгов знаменует начало другого процесса — разрушения трехчленного вокализма адыгских языков, хотя на данном этапе существования этих языков долгие гласные остаются фонетическими вариантами.

С традиционной трактовкой назализации гласных как древнейшего явления в адыгских языках принципиально расходится мнение М. А. Кумахова. В результате сравнительного анализа показаний адыгских языков, их диалектов и говоров исследователь приходит к выводу о том, что «постулирование носовых гласных для общеадыгского (или праадыгского) вокализма становится невозможным из-за отсутствия сколько-нибудь убедительных данных как внутренней, так и внешней реконструкции» (с. 72). Вместе с тем автор признает назализацию гласных на фонетическом уровне характерной для индивидуальности бжедугского и шапсугского диалектов адыгейского языка. Существует и противоположное мнение [1].

В рецензируемой книге обсуждаются существенные вопросы вокализма конца слова: а) отпадение конечного *ы*, б) развитие конечного *ы*, в) отпадение конечного *э*, г) развитие конечного *э* и д) относительная хронология законов конца слова.

Вокализм конца слова претерпел в адыгских языках значительные изменения, связанные с действием неодинаково интенсивных в этих языках двух противоположных тенденций — отпадения

конечных *э*, *ы* и развития конечных *э*, *ы*. В итоге между адыгскими языками установились качественно различные отношения: с точки зрения устойчивости конечного *ы* адыгейский оказался зоной консервации, а кабардинский — зоной инновации, с точки зрения устойчивости конечного *э*, наоборот, адыгейский стал зоной инновации, а кабардинский — зоной консервации. Продолжая общеадыгское состояние, адыгские языки оказались зоной консервации, а то, что делает их зоной инновации, относится к эпохе раздельного существования этих языков.

М. А. Кумахов впервые специально поставил вопрос об историческом вокализме адыгских языков в статье «Теория моновокализма и западнокавказские языки» [2] и продолжает его разработку в рецензируемой книге. В этих работах отстаивается тезис о необоснованности теории моновокализма. Опираясь на данные внутренней и сравнительной реконструкции, М. А. Кумахов, как уже отмечалось, постулирует для западнокавказского языка двухчленную систему вокализма (*а* — *ы*), а для праадыгского языка — трехчленную (*а* — *э* — *ы*).

Одной из важнейших задач сравнительно-исторической фонетики родственных языков является реконструкция консонантизма. Решению этой проблемы посвящена четвертая глава монографии. Сравнительный анализ фонологических систем адыгских языков предварен синхронной характеристикой системы согласных этих языков.

Большой заслугой М. А. Кумахова следует считать не только во многом убедительное описание консонантизма адыгских языков и диалектов, а также систематическое освещение значительных расхождений между ними, но и — особенно — выяснение истории и относительной хронологии целых подсистем консонантизма адыгских диалектов и осуществление надежной реконструкции общеадыгского консонантизма.

Как известно, в адыгском языкознании стало традиционным мнение Г. В. Рогава о первичности четырехчленной системы смычных согласных, представленной в западных (бжедугском и шапсугском) диалектах адыгейского языка. С этой точки зрения глухие непридыхательные (минимально аспирированные) согласные, которые он именует прерутивами, исторически имелись также в восточных (абадзехском и чемгуйском) диалектах адыгейского языка, в диалектах кабардино-черкесского языка и даже во всех кавказских языках.

Признавая за этим положением право на существование, автор рецензируемой работы предлагает свое решение вопроса, согласно которому четырехчленная система смычных бжедугского и шапсугского диалектов — явление вторичное. Главное в новой концепции — признание подсистемы глухих непридыхательных (смычных и шипящих спирантов) консонантизма бжедугского и шапсугского диалектов адыгейским новообразованием.

Вторичными М. А. Кумахов справедливо, на наш взгляд, считает также глухие придыхательные (смычные и шипящие спиранты) в бжедугском и шапсугском диалектах адыгейского языка. Глухие придыхательные (максимально аспирированные) отсутствуют в других адыгских диалектах. Этих звуков не знают также ни убыхский, ни абхазский, ни абазинский языки. Следовательно, в отношении глухих придыхательных (как и в отношении глухих непридыхательных) бжедугский и шапсугский диалекты адыгейского языка стоят особняком не только среди адыгских диалектов, но и во всей западнокавказской языковой области.

Актуальной для западнокавказского языкознания считается проблема ларингальных согласных: адекватное объяснение генезиса ларингалов может дать ключ к решению существенных вопросов системы и истории системы адыгских языков. Этих вопросов не решает, например, предположение об исконности ларингальных *гI*, *гIу* в адыгских языках. Это мнение не подтверждается ни исконным материалом адыгских и родственных им языков, ни лексическими заимствованиями из других языков в адыгские или из адыгских языков в другие языки.

Адыгские языки, их диалекты и говоры в своем исконном лексическом материале не сохранили даже следов ларингальных *гI*, *гIу*. Эти звуки представлены только в лексических заимствованиях из арабского языка, но в языке-источнике, как правило, арабские ларингалы встречаются в тех же фонетических позициях, в которых ларингалы представлены в арабских заимствованиях адыгских языков. «Поэтому данные внутренней реконструкции не позволяют постулировать ларингальные *гI*, *гIу* ни для общеадыгского состояния, ни для эпохи раздельного существования адыгских языков» (с. 154).

Общеадыгские заднеязычные спиранты *гъ*, *гъу* имеют в западнокавказских языках разные корреспонденции. Особенно показателен в этом отношении абазинский язык, в адыгском слое лексики которого адыгским заднеязычным *гъ*, *гъу* отвечают ларингалы *гI*, *гIу*, ср.: адыг. *фитныгъ*, каб. *хуитныгъэ*, абаз. *хуитныгIа* «свобода»; адыг. *гъуындж*, каб. *гъуыджэ*, абаз. *гIуыга* «зеркало» и т. д. Адыгским звонким заднеязычным спирантам могут в абазинском соответствовать и звонкие заднеязычные спиранты, ср.: адыг. *гуыбзыгъ*, каб. *гуыбзыгъэ*, абаз. *гуыбзыгъа* «умный».

Говоря о соответствии адыгских заднеязычных спирантов *гъ*, *гъу* ларингальным *гI*, *гIу* в адыгизмах абазинского языка, следует отметить, что образование адыгского слоя абазинской лексики относится главным образом к сравнительно позднему периоду массовой миграции кабардинцев за Кубань. Поэтому было бы неправомерно усматривать в указанных ларингалах, представленных в адыгизмах абазинского языка, отражение более древнего состояния адыгских языков, предполагая в то же время бесследно утраченным это состояние адыгскими языками.

Здесь, как отмечает М. А. Кумахов, ларингалы *гI*, *гIу* в адыгских заимство-

ваниях абазинского языка являются не продолжением общеадыгских ларингалов *гI*, *гIу*, а субституцией адыгских заднеязычных спирантов *гъ*, *гъу*. Последнее подкрепляется общей тенденцией к ларингализации адыгских заднеязычных в абазинском языке (с. 156).

Из всего сказанного вытекает вывод, что «данные как внутренней, так и внешней реконструкции не позволяют включить ларингальные спиранты *гI*, *гIу* в систему общеадыгского консонантизма» (с. 157).

Аксиомой является невозможность создания сравнительно-исторической грамматики адыгских языков без предварительной разработки вопроса о структуре общеадыгского корня и его отношении к западнокавказскому корню. Исследователь анализирует наиболее распространенные теории общеадыгского корня: а) теорию Н. Ф. Яковлева, согласно которой односложные слова типа «согласный + гласный» (*нэ* «глаз», *пэ* «нос» и т. п.) представляют единственную и застывшую модель корня, восходящую к «аморфному этапу» развития адыгских языков; б) теорию Г. В. Рогава о вторичности односложных открытых основ, возникших от многосложных образований типа «классный показатель — корень + + детерминатив» в результате отпадения от корня или превращения в окаменелый морфологический инвентарь префиксов грамматических классов и детерминативных суффиксов; в) положение А. Койперса о «проточеркесском корне» — нечленимых основах (корневые морфемы) и членимых основах (производные от корня). По мнению М. А. Кумахова, статические теории не базируются «на методике лингвистической процедуры, учитывающей различие между разными хронологическими уровнями» (с. 256).

Автор рецензируемой монографии предлагает динамическую теорию, допускающую развитие и последовательные трансформации общеадыгского корня, и постулирует для общеадыгского состояния структурно разнотипные корневые морфемы — односложные и многосложные, основываясь при этом на «понимании корня как части слова, не мотивированной живым процессом деривации» (с. 263). К общеадыгскому состоянию возводится более десятка различных типов корневых морфем — CV, CV_1, CCV, CCV_1, CVCV, CV_1CV, CV_2CV, $CVCV_1$, CV_1CV_1, CCV_2CV и др. (где C — согласный, V — гласный *э*, V_1 — гласный *ы*, V_3 — гласный *а*).

Вполне естественно, что при чтении книги М. А. Кумахова нам встретились отдельные спорные положения.

Говоря об инновациях, возникших в адыгских языках в эпоху их индивидуального развития, автор монографии отмечает, что «во многих случаях адыгейский язык сохраняет после ларингальных *хь*, *I* этимологический гласный *э*», и иллюстрирует это положение примерами: *хьэджашъуэ* «охотничья собака», *хьэжъу* «щенок», *хьэжъы* «старая собака», *тхьэлъанэ* «клятва», *тхьэльэIу* «молебен», *тхьэмафэ* «неделя», *Iэгу* «ладонь», *Iэгъуап* «рукав» (с. 57). Однако положение М. А. Кумахова верно лишь в отношении западных (бжедугского и шапсугского) диалектов адыгейского языка, и приведенные автором примеры отражают бжедугско-шапсугское произношение. Что касается восточных (абадзехского и чемгуйского) диалектов адыгейского языка, то в них после ларингальных *хь*, *I* не употребляется гласный *э*, и в показанных выше примерах в восточных диалектах после ларингальных *хь*, *I* будет гласный *а*: *хьаджашъуэ*, *хьажъу*, *хьажъы*, *тхьалъанэ*, *тхьалъэIу*, *тхьамафэ*, *Iагу*, *Iагъуап*. Ср. также в конечной позиции: бжед.-шапс. *хьэ*, абадз.-чем. *хьа* «собака», бжед.-шапс. *шъхьэ*, абадз.-чем. *шъхьа* «голова» бжед.- шапс. *тхьэ*, абадз.-чем. *тхьа* «бог», бжед.-шапс. *Iэ*, абадз.-чем. *Iа* «рука», бжед.-шапс. *шъхьаIэ*, абадз.-чем. *шъхьаIа* «главный» и т. д.

Анализ аблаутных чередований, используемых для противопоставления пллативных и элативных слов, автор подкрепляет удачными примерами (адыг. *йы-шьэ-н*, каб. *йы-шэ-н* «вводить» — адыг. *йы-шьы-н*, каб. *йы-шы-н* «выводить»; адыг., каб. *те-дзы-н* «сбросить» — *тедзэ-н* «бросить на что-то»), но пояснения к ним, даваемые в скобках, оказались переставленными, в результате чего *шьы-//шы-* «выводить» и *дзы-* «сбросить», в которых *ы* фиксирует понятие движения изнутри наружу (т. е. имеет центробежное значение), превратились в иллативные основы, а *шьэ-//шэ* «вводить» и *дзэ-* «бросить на что-то», в которых *э* выражает понятие вхождения внутрь предмета (т. е. обладает центростремительным значением), стали элативными (с. 238).

Встречаются в рецензируемой книге случаи неточной подачи иллюстративного материала (особенно материала адыгейских диалектов): чем. *цыгъэ* (вм. *цыхьа*) «надежда», чем. *куыхьэ* (вм. *куыхьа*) «воз», бжед. *пIыл* (вм. *пIилэ*) «слон», бжед. *чъап* (вм. *чъэп*) «иней», бжед. *Iатын* (вм. *Iэтын*) «поднять» и др.

Разумеется, наши замечания носят сугубо частный характер, и они ни в коей мере не снижают значения большой работы, проделанной М. А. Кумаховым в области сравнительно-исторического изучения фонетики адыгских языков, и не меняют общего впечатления о конечном результате этой работы — фундаментальной монографии, в которой подверглись непредвзятой и весьма корректной переоценке многие выводы сравнительно-исторического адыговедения, а также намечены новые пути компаративного освоения адыгских (и шире — западнокавказских) языков. Лингвистическая общественность вправе приветствовать пополнение фонда науки о западнокавказских языках интересным и глубоким исследованием и выразить уверенность в том, что высказанные в нем идеи получат признание и дальнейшее развитие.

Зекох У. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Зекох У. С.* Некоторые вопросы синтаксиса адыгейских падежей.— Уч. зап. Адыгейск. НИИ, 1966, т. V, с. 43—44.
2. *Кумахов М. А.* Теория моновокализма и западнокавказские языки.— ВЯ, 1973, № 6.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

13 января 1983 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись четырнадцатые ежегодные чтения, посвященные памяти академика В. В. Виноградова. Открывая заседание, директор Института чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов отметил широту научных интересов акад. В. В. Виноградова, указал на непреходящее значение выдвинутых в его трудах идей, которые плодотворно развиваются в работах советских языковедов. Чтения 1983 г. были посвящены проблеме значений на разных уровнях языковой системы: значениям, заключенным в слове и в форме слова, и значениям, заключенным в звучащей, эстетически ориентированной речи и в тексте.

Доклад В. П. Вомперского (Москва) «В. В. Виноградов о работе языка над значениями своих единиц» был посвящен анализу взглядов выдающегося советского филолога на проблему системности в лексике. Докладчик подчеркнул, что В. В. Виноградовым впервые применительно к русскому языку была сформулирована идея связи развития и совершенствования словарного состава языка, происходящего в процессе его функционирования в обществе и обусловленного целым рядом многообразных причин, с пониманием системности в лексике. В. В. Виноградов понимал лексику как систему, состоящую из единиц данного уровня в их единстве и взаимосвязанности; эта система характеризуется, с одной стороны, относительной закрытостью, устойчивостью, а с другой — открытостью лексического знака. В концепции В. В. Виноградова понятие системы в лексике дает возможность раскрыть целостность лексического объекта, показать различные типы семантико-грамматических связей между составляющими его единицами, представить этот объект как отражение внеязыковой действительности. С изучением в трудах В. В. Виноградова проблемы системности в лексике тесно связано описание лексических микросистем, отдельных лексико-семантических рядов, различных слоев лексики и отдельных слов и выражений в синхронном и в историческом аспектах. Занимаясь изучением истории отдельных слов и выражений, особенностей их функционирования, В. В. Виноградов одновременно ставил и решал такие важнейшие теоретические вопросы, как определение понятия слова как единицы языка, определение формы слова, лексического значения и его типов, семантических вариантов слова, проблемы полисемии и омонимии и т. д. В заключение докладчик отметил, что в настоящее время Комиссия по научному наследию В. В. Виноградова приводит в порядок для последующей публикации рукопись не завершенной при его жизни монографии «Материалы и исследования в области исторической лексикологии русского литературного языка», в которой В. В. Виноградов хотел осветить историю лексики русского литературного языка XVII—XX вв., проблему слова и значения как объекта исторической и описательной лексикологии, вопросы тождества слова, историческую специфику понятий «славянизм» и «русизм», «заимствование»; роль народной лексики в развитии литературного языка — все основные категории русской лексикологии и семантики.

Н. И. Толстой (Москва) в докладе «О понятии семантического регистра в лексикологии и ономастике» указал на необходимость введения в научный оборот понятия «семантический регистр», что позволит выявить и описать связи, существующие между целыми рядами слов, функционирующих одновременно в разных тематических группах лексики. Например, исходя из того факта, что терминология частей тела часто переносится в строительную терминологию и в географическую терминологию, можно говорить о существовании физиологического регистра (который является базовым), регистра строительного и регистра географического. Введение семантических регистров важно не только для синхронного описания лексики, но и для диахронического, для этимологических исследований: если известно о существовании лексемы в одном из регистров, то можно искать ее и в других регистрах. В заключение докладчик остановился на анализе базового регистра названий деревьев и соответствующего регистра географических названий населенных пунктов.

В докладе И. С. Улуханова (Москва) «Семантические закономерности в словообразовании и их лексическая реализация» речь шла об изучении узуальной и окказиональной реализации возможностей появления единиц словообразовательной системы более крупных, чем слово: способов словообразования, словообразовательных формантов, их значений, словообразовательных типов. В узуальной лексике русского языка представлены семь чистых способов

словообразования: 1) суффиксация, 2) префиксация, 3) постфиксация; 4) субстантивация, 5) сложение, 6) сращение, 7) усечение по аббревиатурному типу. В смешанных способах эти чистые способы сочетаются по два, по три и по четыре. Сочетаясь попарно, они дают 21 математически возможную комбинацию. Из них в литературе по словообразованию описано восемь. Между тем, в узуальной лексике представлено 12 парно-смешанных способов словообразования, в окказиональной — еще два. Остальные семь способов либо не реализованы, хотя реализация их теоретически возможна, либо их реализация и теоретически невозможна. Сочетаясь по три, указанные семь способов могут дать 35 смешанных способов. Из них три реализовано в узуальной лексике и три — в окказиональной. Комбинации четырех способов отмечены лишь среди окказионализмов. В докладе рассмотрены были также обратные способы словообразования в их отношении к «прямым» и комбинации «прямых» и обратных способов. Автор исследовал также возможности появления новых аффиксов, например, новых префиксов *внутри-*, *вне-*, *вдоль-*, окказ. *возле-*, возникших под влиянием предлогов, а также новых значений у аффиксов. Появление новых словообразовательных типов (без изменения значения аффикса) описано в докладе как следствие его соединения с теми частями речи, с которыми он ранее не сочетался. Все рассмотренные в докладе процессы являются заполнением «пустой клетки», предусмотренной словообразовательной системой.

М. А. Шелякин (Минск) в выступлении на тему «О лексико-семантическом уровне категории аспектуальности в русском языке», опираясь на тезис В. В. Виноградова о двух типах грамматических категорий в языке, различающихся между собой по степени связи с лексико-семантическими особенностями слов, и на вытекающее из этого тезиса определение лексико-семантической базы категории вида как совокупности семантических признаков глаголов, являющихся одноплановыми с грамматическими значениями видов, обратился к анализу семантической основы аспектуальности (как она представлена в учении о функционально-семантических полях). По мнению М. А. Шелякина, семантическая основа аспектуальности, позволяющая аспектуальным значениям вступать в отношения взаимосвязи и взаимодействия, выявляется при сравнении аспектуальных категорий — предельности/непредельности и вида и сводится к показателям наличия/отсутствия временной перспективы в проявлении действия: непредельные глаголы и несовершенный вид имеют признак наличия временной перспективы в протекании действия, предельные глаголы и совершенный вид — признак отсутствия временной перспективы в протекании действия. Категория предельности/непредельности рассматривается как лексико-семантический уровень аспектуальности. Подчеркнув, что вопрос об аспектуально-семантической классификации глагольной лексики в сфере предельных/непредельных глаголов нуждается в дальнейшем изучении, докладчик остановился затем на проблеме иерархического строения лексико-семантического уровня аспектуальности, представленного классификацией предельных/непредельных глаголов по аспектуальным разрядам, характеру и типам действий.

Доклад Л. К. Граудиной (Москва) «Семантические преобразования языковых единиц в пограничных зонах литературного языка» был посвящен проблеме исследования активных семантических процессов, протекающих в пограничных зонах литературного языка и связанных с явлением детерминологизации в языке. На пути внедрения слова в новые стилистические сферы термин нередко выходит за рамки специального значения. В процессе детерминологизации, проходя определенные ступени семантического преобразования, слово оказывается под давлением узуально-стилистических норм литературного языка. Причем преодоление профессионально-технических навыков употребления слова становится одним из условий его прочного закрепления в системе общелитературного языка. Каждое из новообразований такого рода, отметила автор доклада, нуждается в четких нормативных квалификациях.

В. Я. Дерягин (Москва) выступил с сообщением «Проблема семантического тождества слова в исторической лексикологии». Общая историческая лексикология языка имеет дело как с изменениями в словарном составе (в реестре единиц словаря), так и с изменениями в строении семантической системы языка, а следовательно, по определению В. В. Виноградова, и в объеме и содержании обозначаемых словами понятий. Обладая на разных этапах истории различными наборами значений, имея различные предметно-смысловые связи и объемы отдельных значений, слово, между тем, может оставаться собою: непрерывность историко-смыслового развития слова признается важнейшим показателем исторического тождества слова. История слова учитывает фонетико-морфологические и предметно-смысловые превращения слова, применение его в разнообразных текстах. В исторической лексикологии всегда важны только полные жизнеописания слов, поэтому для ее создания необходима мобилизация всего исторического и современного, диалектного и литературного словарного материала, материала богатейшей русской письменности, начиная с древнейших письменных памятников XI в.

В совместном докладе Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова (Москва) «О национально-культурной специфике фонетико-интонационного уровня современного русского языка» на обширном материале было показано, что особенности фонемного состава слова, его звуковой формы, отнюдь не нарушая коммуникации, способны нести самостоятельную, никакими другими язы-

ковыми единицами не передаваемую национально-культурную информацию. Во-первых, живое или отраженное в письменном тексте индивидуальное произношение говорит о человеке: его территориально-диалектной принадлежности, социальном происхождении, степени образования, профессии. Во-вторых, оно же свидетельствует о тексте: времени и месте его создания, назначении. Кроме того, по мнению докладчиков, фонетико-интонационный уровень языка не только отражает внешний мир, но в известной мере и «творит» его, поскольку «звуковая игра» (особенно в художественной, прежде всего в поэтической речи) сообщает неповторимую эстетико-национальную информацию, объединяя по смыслу слова, близкие своей внешней формой. В качестве примера авторы проанализировали «творящую смысл» звукотехнику «Поэмы горы» М. И. Цветаевой.

Л. А. Новиков (Москва) в докладе «Значение как эстетическая категория языка» предложил целостное рассмотрение семантики языковых единиц и всего художественного текста в аспекте основных составляющих «образа автора» в понимании В. В. Виноградова (выразительные средства языка — жанрово-композиционная структура — идейное содержание произведения). При таком рассмотрении эстетический знак оказывается наделенным не только словесным значением, но и композиционным и идеологическим смыслом. Значение как эстетический феномен обнаруживает в своей структуре два компонента: М, С, где М символизирует субъективную модальность, понимаемую как выражение в языке оценочного отношения говорящего (в художественном произведении — автора в его различных ипостасях: рассказчика, персонажей и т. п.) к обозначаемому факту, т. е. эстетическую информацию, а С — само содержание факта, т. е. семантическую информацию. Благодаря такой структуре значения поэтического слова оно оказывается ориентированным не только относительно обозначаемого (художественно моделируемого) мира, но и относительно самого субъекта (автора, персонажа), становясь его характеризующим, образным атрибутом, элементом композиционной структуры и общего содержания текста. В докладе также рассматривался вопрос об объективной модальности образного текста.

В докладе О. Н. Селиверстовой (Москва) «Синтаксическое значение и актуальное членение» была сделана попытка обобщить некоторые идеи, сформировавшиеся как в рамках теории актуального членения, так и за ее пределами (к их числу относятся: представление о том, что в объекте теории актуального членения выделяется несколько гетерогенных явлений; представление о существовании более мелких коммуникативных единиц, чем тема и рема, и т. д.). Автор доклада предложила разграничивать следующие четыре явления в рамках теории актуального членения: 1) систему отношений характеризации, объединяющую предложение в смысловое единство; 2) «известное»/«новое» («пресуппозиционное/сообщаемое»); 3) акцентное выделение; 4) членимость/слитность. Термины «характеризуемое» и «характеризующее» приблизительно соответствуют терминам «модифицируемое» и «модифицирующее» Д. Болинджера. Под модифицирующим понимается такой элемент сообщения, который уменьшает степень неопределенности модифицируемого или, точнее, той характеристики, которую модифицируемый член дает своему денотату. О. Н. Селиверстова указала, что следует выделять понятия основного характеризуемого (модифицируемого) и основного характеризующего (модифицирующего), которые близки к понятиям темы и ремы, но отличаются от них тем, что могут быть применимы и к коммуникативно нечленимым высказываниям. Тема отождествляется с основным характеризуемым коммуникативно членимого высказывания, а рема — с его характеризующим. Считается, что тема коммуникативно нечленимого высказывания задается в денотативной ситуации или в предшествующем контексте. Выбор основного характеризующего и основного характеризуемого определяет функциональную перспективу предложения. В докладе рассматривались факторы, влияющие на направленность отношения характеризации (т. е. на то, что выступает в качестве характеризуемого, а что — в качестве характеризующего), а также факторы, определяющие коммуникативную членимость/слитность высказывания. Был проанализирован характер взаимодействия между отношением характеризации, соотношением «известного»/«нового», акцентным выделением и коммуникативной членимостью. О. Н. Селиверстова подчеркнула, что все перечисленные явления, связанные с организацией семантической информации, должны рассматриваться как элементы синтаксического значения, если в языке существуют специальные синтаксические модели, служащие для их выражения.

А. И. Горшков (Москва) в докладе «Содержание текста и семантика образующих его языковых единиц», напомнив известное высказывание акад. В. В. Виноградова о том, что состав речевых средств в структуре литературного произведения органически связан с его «содержанием» и зависит от характера отношения к нему со стороны автора, остановился на двух вопросах, вытекающих из этого высказывания: 1) о взаимообусловленности содержания и состава (семантики) языковых единиц и 2) о границах, пределах лингвистического исследования. А. И. Горшков, в частности, высказал мысль о том, что семантика языковых единиц в тексте связана не только с «левым и правым окружением» (контекстом), но и со словесными рядами, которые можно определить как последовательность (не обязательно непрерывную) представленных в тексте языковых единиц разных ярусов, объединенных соотнесенностью с определенной манерой или определен-

ным приемом языкового выражения. Границы лингвистического исследования, по мнению докладчика, не замыкаются на уровне языковых единиц, но охватывают и уровень текста как «системы динамического развертывания словесных рядов в сложном единстве целого»[1].

Белоусова А. С. (Москва)

[1] Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971, с. 49.

CONTENTS

Information on a Plenary Meeting of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union; Speech by General Secretary of the CPSU Central Committee K. U. Černenko; Speech by Member of the Politbureau of the CPSU Central Committee, Chairman of the Council of Ministers of the USSR N. A. Tixonov; Speech by Member of the Politbureau of the CPSU Central Committee, Secretary of the CPSU Central Committee M. S. Gorbačev; Konstantin Ustinovič Černenko; Address of the CPSU Central Committee, the Presidium of the USSR Supreme Soviet, the USSR Council of Ministers to the Communist Party, the Soviet People.

Articles: Alekseev M. P. The role of the Russian language in the cultural life of the world; Trubačev O. N. (Moscow). Linguistics and the ethnogenesis of the Slavs; Solncev V. M. (Moscow). Variability as a general property of the language system; **Discussions:** Sanidze A. G. (Tbilisi). Grammatical notes; Gadžieva N. Z. (Moscow). Problems of areal linguistics (founded on the materials of languages of the peoples of the USSR); Cvetkov N. V. (Moscow). On the methods of the componential analysis; Agricola E. (Leipzig). Micro, medio-and macrostructures as indicators of information in the dictionaries; Otkupščikov Yu. V. (Leningrad). The law of Lachmann in the light of the Indo-European data; **Materials and notes:** Lapteva O. A. (Moscow). Typology of the variative syntactic rows from the point of view of functional regularities of the literary language. Abdullaev A. A. (Makhachkala). The development of Lakian-Russian bilingualism; Niculescu R. I. (Bucharest). The development of languages without the aspect-category into languages with aspect differences; Černyšova M. I. (Moscow). Equivalents, loans and calques in the earliest Slav-Russian translations from the Greek; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Information sur la Session Plénaire du Comité Central du Parti Communiste de l'Union Soviétique; Discours du Secretaire Général du Comité Central du PCUS K. U. Černenko; Discours du Membre du Politbureau du Comité Central du PCUS, Président du Conseil des Ministres de l'URSS N. A. Tixonov; Discours du Membre du Politbureau du Comité Central du PCUS, Secretaire du Comité Central du PCUS M. S. Gorbačev; Konstantin Ustinovič Černenko; Appel du Comité Central du PCUS, Présidium du Soviet Suprême, le Conseil des Ministres de l'URSS au Parti Communiste, au Peuple Soviétique.

Articles: Alekseev M. P. Le rôle de la langue russe dans la vie culturelle mondiale; Trubačev O. N. (Moscou). La linguistique et l'ethnogenèse des slaves; Solncev V. M. (Moscou). Variabilité en tant que propriété générale du système linguistique; **Discussions:** Sanidze A. G. Notes grammaticales; Gadžieva N. Z. (Moscou). Problèmes de linguistique aréale (étudiés d'après les langues des peuples de l'URSS); Cvetkov N. V. (Moscou). Sur la méthodologie de l'analyse componentielle; Agricola E. (Leipzig). Micro-, médio- et macrostructures — porteurs d'information dans les dictionnaires; Otkupščikov Yu. V. (Léningrad). La loi de Lachmann à la lumière des données des langues indo-européennes; **Matériaux et notices:** Lapteva O. A. (Moscou). Typologie des séries syntaxiques variatives sous l'aspect du fonctionnement de la langue littéraire; Abdullaev A. A. (Makhatchkala). Le développement du bi la linguuisme: lakien-russe; Niculescu R. I. (Bucarest). De la langue sans aspects à la langue à aspects; Černyšova M. I. (Moscou). Équivalents, empunts et calques dans les premières traductions slaves-russes du grec; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 28.12.83 Подписано к печати 14.03.84 Т-02348 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0+2 вкл. Усл. кр.-отт. 84,2 тыс. Уч.-изд. л. 16,3 Бум. л. 5,0
Тираж 5867 экз. Зак. 3527

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10

Генеральный секретарь ЦК КПСС
КОНСТАНТИН УСТИНОВИЧ ЧЕРНЕНКО

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

13 февраля 1984 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова участники Пленума ЦК почтили память Юрия Владимировича Андропова минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, пламенный патриот, ленинец, неутомимый борец за мир и коммунизм.

Находясь по воле партии на важнейших постах партийной и государственной работы, Юрий Владимирович Андропов отдавал все свои силы, знания и огромный жизненный опыт осуществлению политики партии, упрочению ее связей с массами, укреплению экономического и оборонного могущества Советского Союза.

Много внимания уделял Ю. В. Андропов проведению в жизнь выработанной XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС линии на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, совершенствование управления народным хозяйством, усиление ответственности кадров, организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа.

Большой вклад внес Ю. В. Андропов в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку справедливой борьбы народов за свою свободу и независимость. Под его руководством последовательно и настойчиво осуществлялся на международной арене ленинский внешнеполитический курс нашей партии и государства — курс на устранение угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным происках империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ленинской внутренней и внешней политики партии.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому вопросу выступил член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР тов. Н. А. Тихонов. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно избрал тов. Черненко Константина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он выразил сердечную благодарность за высокое доверие, оказанное ему Центральным Комитетом партии.

Тов. К. У. Черненко заверил Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный опыт для успешного выполнения задач коммунистического строительства в нашей стране, обеспечения преемственности в решении поставленных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении ленинской внутренней и внешней политики, которую проводят Коммунистическая партия и Советское государство.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

Речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К. У. ЧЕРНЕНКО

Дорогие товарищи!

Сердечно благодарю членов Центрального Комитета за оказанную мне высокую честь — избрание Генеральным секретарем ЦК. Я полностью сознаю громадную ответственность, которая ложится на меня. Понимаю, какая важная, какая исключительно сложная предстоит работа. Заверяю Центральный Комитет, партию, что приложу все свои силы, знания, весь свой опыт, чтобы оправдать доверие, чтобы вместе с вами продолжить ту принципиальную линию нашей партии, которую последовательно и настойчиво проводил в жизнь Юрий Владимирович Андропов.

Организаторский талант, ясный творческий ум, верность ленинизму в теории и политике, острое чувство нового и способность аккумулировать живой опыт масс, непримиримость ко всему, что чуждо нашему мировоззрению и образу жизни, нашей морали, личное обаяние и скромность — все это снискало Юрию Владимировичу огромный авторитет и уважение в партии и народе.

Партия поручала ему сложные и ответственные участки работы. Особенно ярко раскрылись лучшие политические и человеческие качества Юрия Владимировича Андропова на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он не щадил себя, стремясь всегда быть на высоте стоящих перед ним задач.

Юрий Владимирович внес весомый личный вклад в коллективную деятельность Центрального Комитета, Политбюро ЦК по разработке всесторонне взвешенного и реалистичного курса партии на современном этапе — курса на совершенствование развитого социализма. Под его руководством прошли ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС, которые стали важными вехами в жизни партии и народа. В решениях Пленумов получила дальнейшее творческое развитие и конкретизацию политическая линия XXVI съезда КПСС.

Много сил и энергии отдавал Ю. В. Андропов борьбе за обеспечение мирных условий созидательного труда советских людей, за упрочение позиций социализма на международной арене.

Юрий Владимирович хорошо понимал: источник авторитета партии в том, что свое руководящее положение, свою почетную авангардную роль она завоевала и подкрепляет самоотверженным служением народу, умением точно выразить интересы трудящихся, вооружить их верной марксистско-ленинской программой действий.

Убедительным свидетельством правильности внутренней и внешней политики КПСС, ее соответствия требованиям и духу времени является

горячая всенародная поддержка этой политики. Партия твердо идет избранным путем — путем коммунистического созидания и мира.

Так было раньше. Так будет всегда!

Но все мы понимаем, товарищи, что одного желания идти этим путем мало. Нужно уметь не только поставить правильные цели, но и упорно добиваться их, преодолевая любые трудности. Нужно реалистически оценивать достигнутое, не преувеличивая, но и не преуменьшая его. Только такой подход предохраняет от ошибок в политике, от соблазна принять желаемое за действительное, позволяет отчетливо видеть, как говорил Ленин, «что́ именно мы «доделали» и чего не доделали...» [1].

Недолгий, до обидного недолгий, товарищи, срок суждено было Юрию Владимировичу Андропову трудиться во главе нашей партии и государства. Всем нам будет не хватать его. Он ушел из жизни в самый разгар большой и напряженной работы, направленной на то, чтобы придать мощное ускорение развитию народного хозяйства, преодолеть трудности, с которыми столкнулась страна на рубеже 70—80-х годов. Но все мы знаем, как много удалось сделать партии за это короткое время, как много нового, плодотворного получило права гражданства и утвердилось на практике. Продолжать и коллективными усилиями двигать дальше начатую под руководством Юрия Владимировича работу — лучший способ воздать должное его памяти, обеспечить преемственность в политике.

Преемственность — не отвлеченное понятие, а живое, реальное дело. И суть ее прежде всего в том, чтобы, не останавливаясь, идти вперед. Идти, опираясь на все достигнутое раньше, творчески обогащая его, концентрируя коллективную мысль, энергию коммунистов, рабочего класса, всего народа на нерешенных задачах, на ключевых проблемах настоящего и будущего. И это всех нас ко многому обязывает.

Сила нашей партии — в ее единстве, верности марксизму-ленинизму, в способности развивать и направлять творческую активность масс, сплачивать их идейно и организационно, руководствуясь испытанными ленинскими принципами и методами. Вы знаете, товарищи, какое огромное внимание уделяли в последнее время наш Центральный Комитет, Политбюро ЦК, Юрий Владимирович Андропов вопросам совершенствования работы государственного аппарата, улучшения стиля партийного руководства. Один из них — четкое разграничение функций партийных комитетов с задачами государственных и хозяйственных органов, устранение дублирования в их работе. Это крупный вопрос политического значения. И не все, говоря откровенно, отлажено тут как следует. Бывает, что работники Советов, министерств, предприятий не проявляют необходимой самостоятельности, перекладывают на партийные органы вопросы, которые должны решаться ими самими. Практика подмены хозяйственных руководителей расхолаживает кадры. Более того, она таит в себе опасность ослабления роли партийного комитета как органа политического руководства. Для партийных комитетов заниматься хозяйством — значит прежде всего заниматься людьми, ведущими хозяйство. Это надо помнить всегда.

Товарищи! Полтора месяца назад, на декабрьском Пленуме ЦК, мы дали всестороннюю оценку положения дел в области социально-экономического развития страны. В принятом постановлении особо подчеркнуто, что сейчас важно сохранить набранный темп, общий настрой на практическое решение задач, неуклонно повышать уровень партийного и государственного руководства экономикой, активнее развивать позитивные тенденции, придать им устойчивый характер. Последовательно выполнять эти установки Пленума — наша прямая обязанность.

Весь наш опыт подтверждает: важнейшим источником силы партии всегда была, есть и будет ее связь с массами, гражданская активность

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 44, с. 417.

миллионов трудящихся, их хозяйский подход к делам на производстве, к проблемам общественной жизни.

Долг партии коммунистов — постоянно сверять свой курс, свои решения, действия прежде всего с мыслями рабочего класса, с его громадным социально-политическим и классовым чутьем. Владимир Ильич Ленин всегда высоко ценил прямоту, жизненную обоснованность и ясность суждений рабочего человека, чутко прислушивался к его мнению, оценкам событий и людей, искал и находил в них ответы на самые злободневные вопросы.

Прислушиваться к слову, идущему из рабочей среды, с переднего края социалистического строительства, держать совет с людьми труда — это и сегодня должно быть первейшей обязанностью, глубокой внутренней потребностью каждого коммуниста-руководителя.

Уметь вовремя увидеть и поддержать народную инициативу, причем в самом широком смысле — от хозяйского, творческого отношения к делу на рабочем месте до активного участия в управлении государством, обществом,— в этом величайший, можно сказать, неисчерпаемый резерв нашего прогресса. Каждым крупным своим достижением наша экономика в той или иной мере обязана творческим починам трудовых коллективов, их собственным, как принято говорить, встречным планам.

Глубокое удовлетворение вызывает широкий отклик трудовых коллективов страны на призыв декабрьского Пленума — добиться сверхпланового повышения производительности труда на 1 процент и дополнительного снижения себестоимости продукции на 0,5 процента. Патриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми трудящиеся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации взялись за решение этой задачи, вселяют уверенность, что успех будет обеспечен.

Думаю, что следует рассмотреть вопрос о том, чтобы все средства и ресурсы, которые будут получены за счет этого, а они немалые, направить на улучшение условий труда и быта советских людей, медицинское обслуживание, строительство жилья. Это полностью отвечало бы высшей цели политики партии — всемерной заботе о благе человека.

Вообще, товарищи, нам, видимо, следует подумать о том, чтобы творческие начинания, новаторство трудящихся лучше стимулировались материально и морально.

В самой основе советского строя заложена социальная справедливость. И в этом его огромная сила. Потому столь важно, чтобы она неукоснительно соблюдалась в повседневных делах, идет ли речь о заработной плате и премиях, распределении квартир или путевок, о награждениях,— словом, чтобы все делалось по справедливости, в соответствии с трудовым вкладом каждого человека в наше общее дело.

Здесь есть над чем поработать партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, хозяйственным руководителям. Многое зависит от самих трудовых коллективов. У них сейчас — большие, закрепленные в законодательном порядке права. Дело за тем, чтобы полнее их использовать.

За последнее время партия обогатилась новым опытом руководства социалистическим обществом. Мы стали лучше использовать преимущества, возможности нашего строя. К их числу, безусловно, относятся организованность и сознательность масс. Отсюда наше внимание к укреплению порядка, дисциплины.

Вопрос об организованности, о порядке — для нас ключевой, принципиальный. Насчет этого двух мнений быть не может. Всякая разболтанность, безответственность оборачиваются для общества не только материальными издержками. Они причиняют серьезный социальный, нравственный ущерб. Это хорошо понимаем мы, коммунисты, понимают миллионы советских людей. И вполне закономерно, что поистине всена-

родное одобрение получили меры, принятые партией в целях повышения трудовой, производственной, плановой, государственной дисциплины, по укреплению социалистической законности.

В этой области удалось уже кое-что сделать. И все знают, как это благотворно подействовало на производственные дела, на нашу общественную жизнь, да и просто на настроение людей. Но неверно было бы полагать, что сделано уже все. Нет, товарищи, жизнь учит, что тут расслабляться никак нельзя.

Что касается основных направлений развития нашей экономики, они четко определены партией. Интенсификация, ускоренное внедрение в производство достижений науки и техники, осуществление крупных комплексных программ — все это в конечном счете должно поднять на качественно новый уровень производительные силы нашего общества.

В серьезной перестройке нуждаются система управления экономикой, весь наш хозяйственный механизм. Работа в этом плане только началась. Она включает в себя широкомасштабный экономический эксперимент по расширению прав и повышению ответственности предприятий. Идут поиски новых форм и методов хозяйствования в сфере услуг. Несомненно, они дадут много полезного, помогут нам решить стратегически важную проблему — поднять эффективность всего народного хозяйства.

Давайте, однако, спросим себя: а не получается ли так, что для иных хозяйственных руководителей ожидание результатов экспериментов служит прикрытием их пассивности, стремления работать по старинке? Конечно, обновление экономических структур — дело ответственное. Здесь не мешает соблюдать и старое мудрое правило: семь раз отмерь, один отрежь. Но это вовсе не оправдывает тех, кто вообще не желает считаться с изменившимися условиями, с новыми требованиями жизни.

Проявлять на всех уровнях больше самостоятельности, смело вести поиски, идти, если надо, на оправданный риск во имя повышения эффективности экономики, роста благосостояния народа — вот чего мы ждем от наших хозяйственных кадров.

Вы знаете, что в минувшем году ЦК КПСС и правительство разработали и приняли ряд постановлений по принципиальным вопросам развития экономики. Эти решения дали в руки партийных и хозяйственных органов определенные рычаги повышения эффективности производства, ускорения экономического развития страны.

Намеченные меры, а они имеют не только хозяйственное, но и большое политическое значение, будут претворены в жизнь лишь в том случае, если их выполнение станет главным содержанием повседневной работы каждой партийной организации, каждого работника.

Решая задачи сегодняшнего дня, мы создаем предпосылки для достижения гораздо более высоких рубежей в будущем. Может быть, о нашем завтрашнем дне, о двенадцатой пятилетке, еще рано говорить в деталях, но главные проблемы, главные направления предстоящей работы видны уже сейчас.

Новая пятилетка прежде всего должна стать началом глубоких качественных изменений в производстве, пятилеткой решающего перелома в деле интенсификации всех отраслей нашего народного хозяйства. Современная материально-техническая база и система управления должны обрести новые, более высокие качества.

Не менее важно сейчас обеспечивать все более тесную взаимосвязь экономического, социального и духовного прогресса советского общества. Невозможно поднимать экономику на качественно новый уровень, не создавая необходимые для этого социальные и идеологические предпосылки. Равным образом невозможно решать назревшие проблемы развития социалистического сознания, не опираясь на прочный фундамент экономической и социальной политики.

Строить новый мир — это значит неустанно заботиться о формировании человека нового мира, о его идейно-нравственном росте. Именно под этим углом зрения, как известно, рассмотрел вопросы идеологической, массово-политической работы июньский Пленум ЦК. В соответствии с его установками партия будет добиваться, чтобы эта работа полностью отвечала характеру больших и сложных задач совершенствования развитого социализма.

Осмыслить эти задачи в их комплексе, наметить четкую долгосрочную стратегию их решения, показать связь наших текущих дел с коммунистической перспективой — вот что должна нам дать новая редакция партийной программы. Ее подготовке Центральный Комитет придает огромное значение.

Товарищи! Разрабатывая планы дальнейшего развития нашей страны, мы не можем не учитывать положения, складывающегося в мире. А оно сейчас, как вы знаете, сложное и напряженное. Тем большее значение приобретает в этих условиях верный курс партии и Советского государства в области внешней политики.

Борьба за дело прочного мира, свободы и независимости народов всегда была в центре внимания Юрия Владимировича Андропова. Под его руководством Политбюро ЦК и высшие органы нашей государственной власти формировали активную внешнюю политику, отвечающую этим благородным принципам. Политику, направленную на избавление человечества от угрозы мировой ядерной войны. Эта ленинская политика мира, основные черты которой на современном историческом этапе определены решениями последних съездов КПСС, отвечает коренным интересам советского народа, да, в сущности, и других народов мира. И мы решительно заявляем: от этой политики мы не отступим ни на шаг.

Совершенно ясно, товарищи, что успех дела сохранения и укрепления мира в значительной мере зависит от того, насколько велико будет влияние на мировой арене социалистических стран, насколько активны, целеустремленны и согласованны будут их действия. Наши страны кровно заинтересованы в мире. Во имя этой цели мы будем стремиться к расширению сотрудничества со всеми странами социализма. Всемерно развивая и углубляя сплоченность и сотрудничество со странами социалистического содружества — во всех сферах, включая, конечно, и такую важную сферу, как экономическая,— мы тем самым вносим большой вклад в дело мира, прогресса и безопасности народов.

Обращаясь к братским странам, мы говорим: в лице Советского Союза вы и впредь будете иметь надежного друга и верного союзника.

Одной из основ внешней политики нашей партии и Советского государства была и будет солидарность с народами, сбросившими ярмо колониальной зависимости и вступившими на путь самостоятельного развития. И особенно, конечно, с народами, которым приходится отражать атаки агрессивных сил империализма, создающего то в одном, то в другом районе мира опаснейшие очаги кровавого насилия и военных пожаров. Быть на стороне правого дела народов, выступать за устранение таких очагов — это сегодня тоже необходимое и важное направление борьбы за прочный мир на земле. Принципиальная позиция нашей партии в этих вопросах ясна, чиста и благородна, и ее мы будем придерживаться неуклонно.

Теперь об отношениях с капиталистическими странами. Великий Ленин завещал нам принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Мы этому принципу неизменно верны. Сейчас, в век ядерного оружия и сверхточных ракет, он необходим народам, как никогда ранее. К сожалению, некоторые руководители капиталистических стран, судя по всему, не отдают себе в этом ясного отчета. Или не хотят отдавать.

Мы хорошо видим угрозу, которую создают сегодня для человечества безрассудные, авантюристические действия агрессивных сил империализма,— и говорим об этом в полный голос, обращая на эту опасность внимание народов всей земли. Нам не требуется военное превосходство, мы не намерены диктовать другим свою волю, но сломать достигнутое военное равновесие мы не позволим. И пусть ни у кого не остается ни малейших сомнений: мы и впредь будем заботиться о том, чтобы крепить обороноспособность нашей страны, чтобы у нас было достаточно средств, с помощью которых можно охладить горячие головы воинствующих авантюристов. Это, товарищи, очень существенная предпосылка сохранения мира.

Советский Союз как великая социалистическая держава полностью сознает свою ответственность перед народами за сохранение и укрепление мира. Мы открыты для мирного взаимовыгодного сотрудничества с государствами всех континентов. Мы за мирное решение всех спорных международных проблем путем серьезных, равноправных, конструктивных переговоров. СССР будет в полной мере взаимодействовать со всеми государствами, которые готовы практическими делами помогать уменьшению международной напряженности, создавать в мире атмосферу доверия. Иными словами, с теми, кто действительно будет вести дело не к подготовке войны, а к укреплению устоев мира. И мы считаем, что в этих же целях должны быть в полной мере использованы все имеющиеся рычаги, включая, конечно, и такой, как Организация Объединенных Наций, которая и создана была для сохранения и укрепления мира.

Товарищи, нас, советских коммунистов, искренне радует, что в борьбе за мирное будущее и прогресс человечества мы идем рука об руку с миллионами братьев по классу, с многочисленными отрядами мирового коммунистического и рабочего движения. Неизменно верные принципу пролетарского интернационализма, мы с горячей симпатией и глубоким уважением относимся к борьбе наших зарубежных товарищей за интересы и права трудящихся и видим свой долг в том, чтобы всемерно крепить связывающие нас узы.

Вот что хотелось бы сказать сегодня о линии нашей партии в международных делах. И мы уверены, что ее всей душой горячо поддерживает советский народ.

Товарищи!

Все свои достижения советские люди неразрывно связывают с деятельностью партии. Беззаветно преданная массам, партия пользуется полным доверием масс.

Только что в партийных организациях завершилась отчетно-выборная кампания. Она вновь показала высокий уровень сознательности и активности коммунистов. На руководящие посты избраны авторитетные, опытные, знающие люди.

В работе Пленума участвуют первые секретари крайкомов и обкомов партии. К вам, товарищи, хотелось бы обратиться особо. Центральный Комитет хорошо знает, как широк круг ваших обязанностей, ваших забот. Знает, как много от вас зависит в решении и наших текущих, ближайших и стратегических задач. Политбюро ЦК уверено, что вы сделаете все необходимое для обеспечения устойчивых темпов роста промышленного производства, успешного выполнения Продовольственной программы, развития трудовой активности масс, для реализации мер, направленных на подъем народного благосостояния. И тем самым — для повышения авангардной роли партии.

Любой выборный пост в нашей партии — пост ответственный. Избрание в партийный комитет надо рассматривать как своего рода кредит доверия, выданный членами партии своим товарищам. И это доверие должно быть оправдано самоотверженным трудом. Таков наказ участни-

ков прошедших собраний и конференций. Сейчас, на пороге выборов в Верховный Совет СССР, этот требовательный наказ партия передает и тем коммунистам, которые выдвинуты кандидатами в депутаты, войдут в высший орган государственной власти.

Неисчерпаемая сила советских коммунистов — в сплоченности их рядов. В полной мере эта сила раскрывается, когда, говоря словами Ленина, «мы *все*, члены партии, *действуем как один человек*»[1]. Именно так дружно, сплоченно действует ленинский Центральный Комитет КПСС, его руководящее ядро — Политбюро ЦК. Это позволяет принимать выверенные, всесторонне взвешенные решения, ведущие к упрочению союза рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, братской дружбы народов Союза ССР.

Подлинно партийная, деловая и творческая атмосфера, в создание которой так много сил вложил Юрий Владимирович Андропов, была и будет обязательным условием работы Центрального Комитета партии. Это — залог дальнейшего роста авторитета КПСС, успешного решения стоящих перед нами больших и сложных задач коммунистического созидания.

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 14, с. 128.

Речь члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР товарища Н. А. ТИХОНОВА

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия, наш народ, мировое коммунистическое и рабочее движение понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь Юрия Владимировича Андропова — выдающегося деятеля нашей партии и Советского государства, пламенного патриота социалистической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм.

Короткий срок, год с небольшим, возглавлял Юрий Владимирович Центральный Комитет. Но как много за это время сделано. Следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, партия под руководством ЦК КПСС добилась уверенного продвижения страны на всех направлениях экономического и социального прогресса.

Многогранной была деятельность Юрия Владимировича, и на ответственных постах, которые доверяла ему партия, он отдавал все свои силы и знания служению интересам народа.

У каждого из нас свежи в памяти глубокие выступления Юрия Владимировича на ноябрьском (1982 г.) и последующих Пленумах ЦК, в которых дана четкая программа реализации преимуществ социализма, решения актуальных проблем коммунистического строительства.

Он умело и энергично направлял деятельность Центрального Комитета, Политбюро по мобилизации коммунистов, всех трудящихся на ускоренное развитие экономики, совершенствование управления народным хозяйством, укрепление организованности и дисциплины.

Опираясь на коллективный опыт, чутко улавливая потребности общественного развития, Юрий Владимирович внес большой личный вклад в работу партии по усилению могущества Советского государства, повышению благосостояния советских людей.

Он настойчиво боролся за последовательную реализацию миролюбивого внешнеполитического курса партии, курса на устранение угрозы термоядерной войны, на решительный отпор агрессивным происка империализма.

Мы все глубоко переживаем большое горе, которое постигло нашу партию, весь советский народ, но долг коммунистов-ленинцев состоит в том, чтобы еще теснее сплотить свои ряды, крепить единство партии и народа.

Политбюро ЦК выражает твердую убежденность в том, что Пленум Центрального Комитета продемонстрирует перед всей страной, перед всем миром непреклонную волю партии твердо и последовательно идти и дальше верным ленинским курсом.

Настойчиво и целеустремленно будет проводиться линия, выработанная историческим XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК, на интенсификацию производства, повышение эффективности экономики, ускорение научно-технического прогресса, реализацию Продовольственной программы, на все более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей советских людей.

Партия и впредь будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов нашей Родины.

КПСС и Советское государство всегда будут верны идеалам мира, дружбы и сотрудничества между народами всех стран, идеалам социального прогресса.

Дорогие товарищи!

Политбюро обсудило вопрос о Генеральном секретаре ЦК КПСС и единодушно поручило мне предложить Пленуму избрать Генеральным секретарем Центрального Комитета нашей партии товарища Черненко Константина Устиновича.

Константин Устинович прошел богатую жизненную школу. Знает он и нелегкий крестьянский труд, и солдатскую службу, и будни сельского райкома.

Многие годы он возглавлял ответственные участки партийной работы в Красноярской, Пензенской, Молдавской партийных организациях, в аппарате ЦК КПСС.

Где бы ни трудился Константин Устинович, он всегда проявлял себя как талантливый организатор масс, пламенный пропагандист марксистско-ленинских идей, непоколебимый борец за претворение в жизнь политики нашей великой партии.

Коммунистам, советским людям Константин Устинович хорошо известен как выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, верный соратник таких руководителей ленинского типа, какими были Леонид Ильич Брежнев и Юрий Владимирович Андропов.

Работая в Политбюро и Секретариате ЦК, Константин Устинович многое сделал для развития и утверждения ленинского стиля партийного и государственного руководства, для которого характерны глубокое понимание ключевых вопросов общественного развития, реалистический подход к оценке достигнутого и нерешенных проблем, высокая требовательность к кадрам и в то же время доброжелательное отношение к ним, опора на инициативу и опыт трудящихся.

Константина Устиновича отличает умение зажечь людей своей энергией, новаторским отношением к любому делу, сплотить товарищей на дружную коллективную работу.

Хотелось бы особо подчеркнуть его постоянную потребность в общении с массами, его внимание к каждой человеческой судьбе — будь то талантливый ученый или знатный металлург, солдатская мать или молодой писатель.

Константину Устиновичу принадлежит видная роль в разработке крупных теоретических проблем совершенствования развитого социалистического общества, в создании целостной концепции идеологической деятельности КПСС на длительную перспективу.

Константин Устинович принимает самое активное участие в формировании стратегических направлений нашей миролюбивой внешней политики, в деятельности КПСС по укреплению единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения.

Наши военные работники знают, как много занимается Константин Устинович вопросами укрепления обороноспособности страны, оснащения Вооруженных Сил современной техникой, идейной закалки личного состава армии и флота.

Политбюро уверено, что Константин Устинович Черненко на посту Генерального секретаря ЦК КПСС будет достойно возглавлять боевой штаб нашей партии.

Тесно сплотившись вокруг ленинского Центрального Комитета и его руководящего ядра, вооруженные ясной и четкой программой действий, выработанной XXVI съездом партии, последующими Пленумами ее Центрального Комитета, коммунисты, все советские люди с оптимизмом смотрят в будущее и полны решимости своим самоотверженным трудом обеспечить дальнейший расцвет нашей великой Родины.

Выступление члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС товарища М. С. ГОРБАЧЕВА

Товарищи! Мы завершаем наш внеочередной Пленум ЦК, собравшийся в ответственный момент жизни партии и народа. Пленум прошел в обстановке единства и сплоченности. На Пленуме с чувством огромной ответственности перед партией и народом решены вопросы преемственности руководства.

Пленум показал, что партия пойдет и дальше ленинским курсом, выработанным XXVI съездом КПСС, ноябрьским (1982 г.), июньским и декабрьским (1983 г.) Пленумами ЦК. С особой силой это проявилось в единодушном избрании товарища Черненко Константина Устиновича на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, в полной поддержке положений и выводов по проблемам внутренней политики и внешнеполитической деятельности партии и государства, высказанных в его выступлении на сегодняшнем Пленуме ЦК КПСС.

Позвольте от имени Политбюро выразить уверенность, что члены ЦК, все участники Пленума, возвратившись на места, в партийные организации, будут действовать в духе единства и сплоченности, высокой требовательности и ответственности, которые характеризуют настоящий Пленум Центрального Комитета партии.

Желаем вам всем успехов в работе.

Пленум объявляется закрытым.

Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

Константин Устинович Черненко родился 24 сентября 1911 года в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края, русский.

Член КПСС с 1931 года. Образование высшее — окончил педагогический институт и Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К. У. Черненко начал с ранних лет, работая по найму у кулаков. Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с руководящей работой в комсомольских, а затем в партийных органах. В 1929—1930 годах К. У. Черненко заведовал отделом пропаганды и агитации Новоселовского райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 году он пошел добровольцем в Красную Армию. До 1933 года служил в пограничных войсках, был секретарем партийной организации пограничной заставы.

После окончания службы в армии К. У. Черненко работал в Красноярском крае: заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселовского и Уярского райкомов партии, директором Красноярского краевого дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, секретарем Красноярского крайкома партии.

С 1943 года К. У. Черненко учится в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б). По окончании учебы с 1945 года работает секретарем Пензенского обкома партии. В 1948 году был направлен в Молдавскую ССР и утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии. Работая в этой должности, он много сил и знаний отдал экономическому и культурному строительству в республике, коммунистическому воспитанию трудящихся.

В 1956 году К. У. Черненко выдвигается на работу в аппарат ЦК КПСС, где он возглавил сектор в Отделе пропаганды, и одновременно был утвержден членом редакционной коллегии журнала «Агитатор». С 1960 года он работает начальником Секретариата Президиума Верховного Совета СССР. В 1965 году К. У. Черненко утверждается заведующим Общим отделом ЦК КПСС. В 1966—1971 годах он — кандидат в члены ЦК КПСС. На XXIV съезде партии (март 1971 г.) избирается членом Центрального Комитета КПСС, а в марте 1976 года на Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся после XXV съезда партии,— секретарем ЦК КПСС.

С 1977 года он — кандидат в члены Политбюро, а с 1978 года — член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7—10-го созывов. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. К. У. Черненко был членом советской делегации на международном Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.), участвовал в переговорах в Вене по вопросам разоружения (1979 г.).

Константин Устинович Черненко — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. На всех постах, которые поручала ему партия, он проявил высокие организаторские способности, партийную принципиальность, преданность великому делу Ленина, идеалам коммунизма. К. У. Черненко — автор ряда научных трудов по актуальным вопросам повышения руководящей роли партии в жизни советского общества, совершенствования стиля и методов партийной и государственной работы, развития социалистической демократии. На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К. У. Черненко выступил с докладом, в котором определены главные направления улучшения идеологической деятельности КПСС в современных условиях.

За большие заслуги перед Родиной Константин Устинович Черненко дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда и награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями Советского Союза. Он является лауреатом Ленинской премии.

К. У. Черненко награжден высшими наградами социалистических стран.

ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР

к Коммунистической партии, к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь выдающегося деятеля ленинской партии и Советского государства, пламенного патриота социалистической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм Юрия Владимировича Андропова.

Его жизнь — образец беззаветного служения интересам партии и народа, великому делу Ленина. На всех постах, где по воле партии трудился Юрий Владимирович Андропов, он отдавал свои силы, знания, огромный жизненный опыт неуклонному осуществлению политики партии, борьбе за торжество коммунистических идей. Качества крупного политического руководителя ярко проявились во всей многогранной деятельности Ю. В. Андропова — на комсомольской работе и в организации партизанского движения в Карелии в годы Великой Отечественной войны, на ответственнейших участках партийной и дипломатической деятельности. Много труда вложил он в укрепление безопасности нашего государства.

Со всей силой выдающиеся способности и организаторский талант товарища Андропова — руководителя ленинского типа — раскрылись в его работе на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Короткий срок довелось Ю. В. Андропову возглавлять Центральный Комитет КПСС. Но за это время партия, следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, обеспечила уверенное продвижение страны на всех направлениях экономического и социального прогресса.

Важными вехами в жизни партии и народа, в укреплении их нерушимого единства стали ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. В решениях Пленумов, в выступлениях Ю. В. Андропова была развита и конкретизирована современная стратегия партии — стратегия совершенствования зрелого социализма.

В этот период усилия партии и народа были сконцентрированы на ускорении развития экономики, на улучшении управления народным хозяйством, укреплении партийной, государственной и трудовой дисциплины, повышении ответственности кадров, на развитии творческой активности масс.

Принятые партией меры подчинены одной цели — росту благосостояния советских людей, усилению могущества Советского государства. Во всем этом велики заслуги Юрия Владимировича Андропова.

Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку борьбы народов за свободу и независимость.

Под его руководством ЦК КПСС и Советское государство последовательно и настойчиво осуществляли на международной арене ленинский внешнеполитический курс — курс на устранение угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным происках империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

В эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС. Трудящиеся Советского Союза видят в Коммунистической партии своего испытанного, коллективного вождя, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ее внутренней и внешней политики, выражающей коренные интересы народа. Ленинский курс партии непоколебим. Партия вооружена ясной и четкой программой действий, выработанной XXVI съездом КПСС, последующими Пленумами ее Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь настойчиво и целеустремленно проводить линию на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, усиление организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа. Она будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов СССР, развивать социалистическую демократию, воспитывать людей в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма, преданности великим идеалам коммунизма.

В нынешней сложной, опасно обострившейся международной обстановке КПСС, Советское государство считают своим первейшим долгом последовательно отстаивать дело мира, проявлять выдержку и бдительность, решительно срывать авантюристические замыслы империализма, укреплять оборонную мощь страны.

Советский народ — убежденный противник решения спорных международных вопросов силой. Мир без войн — наш идеал. В борьбе за прочный мир вместе с нами — братские страны социализма, коммунистические и рабочие партии, борцы за национальное и социальное освобождение, широкие народные массы, выступающие за предотвращение термоядерной катастрофы.

Наша партия и государство будут и впредь твердо и неуклонно проводить в жизнь принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Мы желаем жить в мире со всеми странами, активно сотрудничать с теми правительствами и организациями, кто готов честно и конструктивно работать во имя мира.

Советский народ твердо знает: партия, Центральный Комитет, его руководящее ядро непоколебимо верны ленинскому знамени, делу Великого Октября. Партия свято дорожит доверием народа и считает высшей целью своей деятельности заботу о благе и счастье советских людей. Единство партии и народа было, есть и будет источником нашей силы.

В памяти коммунистов, всех советских людей Юрий Владимирович Андропов навсегда останется как человек беспредельно преданный учению Маркса — Энгельса — Ленина, принципиальный и скромный, близкий к людям труда, чуткий к их нуждам и заботам, умеющий подчинить все интересам социалистической Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают глубокую уверенность в том, что коммунисты, все советские люди с новой силой проявят свою классовую сознательность и организованность, свои высокие коллективистские качества, целеустремленным самоотверженным трудом обеспечат выполнение народнохозяйственных планов и социалистических обязательств, дальнейший расцвет нашей великой Родины.